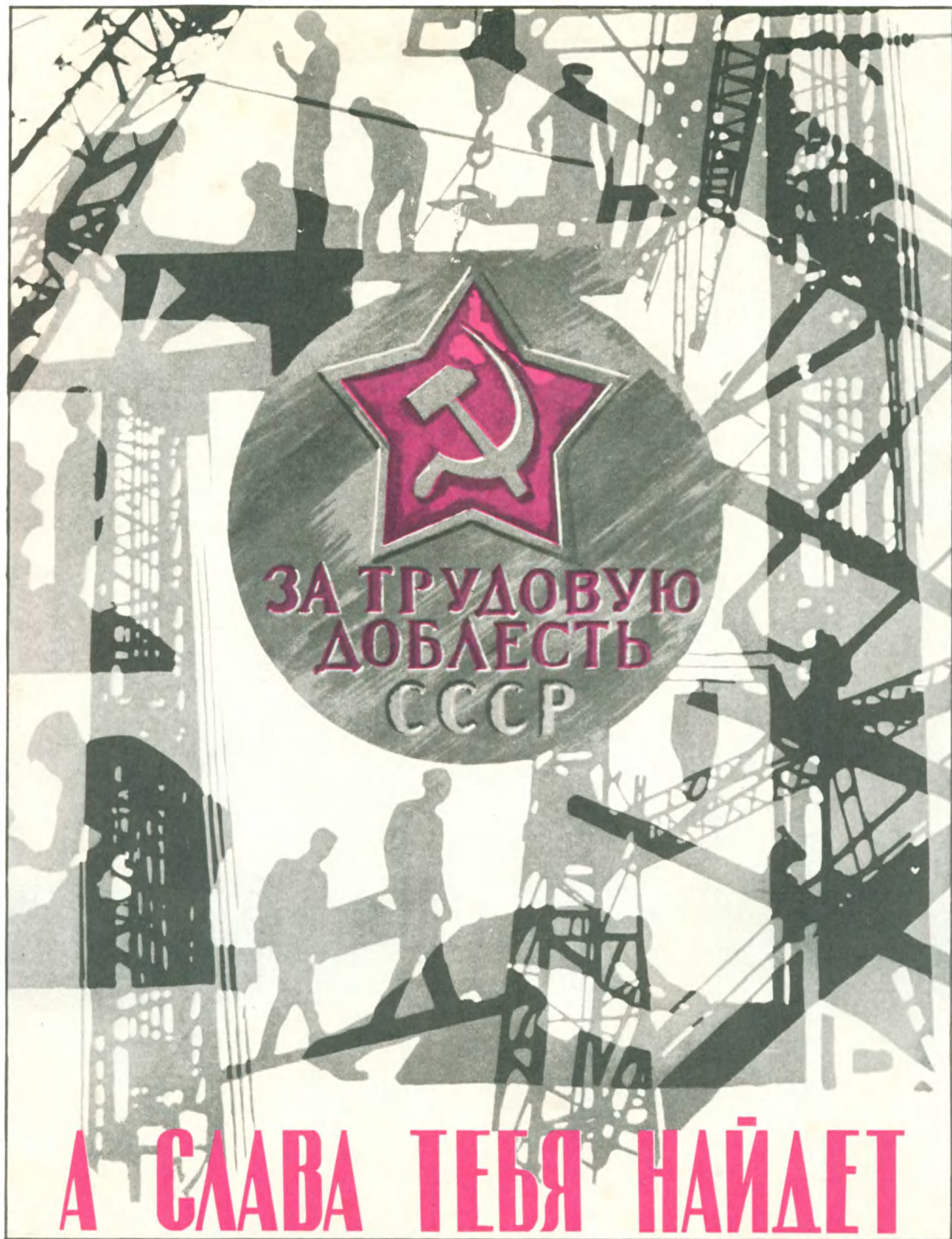




ЮНОСТЬ





Плакат художников Е. Абезгуса и С. Раева.
Издательство «Плакат».



ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

ЖУРНАЛ
ОСНОВАН
В 1955
ГОДУ

ЮНОСТЬ

10 / 1978

ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ПРАВДА“
МОСКВА

октябрь (281)

*Сердечно
поздравляем
наших читателей
со славным юбилеем —
60-летием
Всесоюзного
Ленинского
Коммунистического
Союза Молодежи!*

Главный редактор
Б. Н. ПОЛЕВОЙ

Редакционная коллегия:

А. Г. АЛЕКСИН
В. И. АМЛИНСКИЙ
Б. Л. ВАСИЛЬЕВ
В. Н. ГОРЯЕВ
А. Д. ДЕМЕНТЬЕВ
(зам. главного редактора)
Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ
К. В. КОВАЛЬДЖИ
К. Ш. КУЛИЕВ
Г. А. МЕДЫНСКИЙ
С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
А. С. ПЬЯНОВ
(ответственный секретарь)
В. А. ТИТОВ.

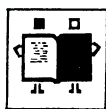


АДРЕС РЕДАКЦИИ:
101524, ГСП,
МОСКВА,
И-6,
УЛИЦА ГОРЬКОГО,
№ 32/1



ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ:
251 32 83

В НОМЕРЕ



ПРОЗА

Александр ВИНОГРАДОВ. Сабля без ножен. Повесть 9
Ф. НАСЕДКИН. Озарение. Роман. Окончание . . . 65



ПОЭЗИЯ

Григорий БЕЛЯКОВ 3
Марат ТАРАСОВ 8
Юрий ПОРОЙКОВ 46
Виктор ШИРОКОВ 47
Николай ЗИНОВЬЕВ 59
Наталья ГУРЕВИЧ 96
Николай ГЛАЗКОВ 107
Омирбай САУРБАЕВ 110



ПУБЛИЦИСТИКА

На анкету «Юности» «Самый счастливый день» отвечают
буровой мастер В. ГЛЕБОВ (стр. 5), механизатор Н. ГОДИН
(стр. 6), заслуженный мастер спорта В. ТРЕТЬЯК (стр. 7), сер-
жант А. ОГАРКОВ (стр. 48), студентка О. ЖЕРЕБКО (стр. 49),
рыбак У. Юллас (стр. 60), кинорежиссер Д. АСАНОВА
(стр. 61), кандидат технических наук Р. БОШЯН (стр. 103).
Юрий ЗЕРЧАНИНОВ. Куба — мой дом 50
Евгений ДВОРНИКОВ. Неутомимый Казаков 97

Оформление обложки
А. В. Сальникова.

Главный художник
Ю. А. Цишевский
Художественный редактор
О. С. Кокин
Технический редактор
Л. К. Зябкина

Рукописи не возвращаются.

Сдано в набор 17 08 78.
Подп. к печ. 13 09 78.
А 09449.
Формат 84×108^{1/16}.
Высокая печать
Усл. печ. л. 12,18
Учетно-изд. л. 17,62.
Тираж 2 650 000 экз.
Изд. № 2493
Заказ № 2705.

Ордена Ленина
и ордена Октябрьской
Революции
типография газеты «Правда»
имени В. И. Ленина
125865, Москва, А-47, ГСП,
ул. «Правды», 24.



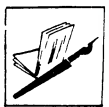
ПОЧТА «ЮНОСТИ»

Эта трудная семейная жизнь 56



ФАКТЫ И ПОИСКИ

Н. ШУРИНА. Бабушка и внучка 62



КРИТИКА

Олег КОМОВ. Со всех концов России... 64
Галина КОЛЕСНИКОВА. Борис Горбатов и его друзья 104
Л. БАХНОВ. Человек и его дело 108
М. ГРИГОРЬЕВ. Суровая правда войны 109



ЗЕЛЕНЫЙ ПОРТФЕЛЬ

Борис АМСТИСЛАВСКИЙ. Исповедь труса 111
Михаил ДЫМОВ. Роковой ножик 112



Фото 1919 г.

ГРИГОРИЙ БЕЛЯКОВ

Григорий Павлович Беляков — один из создателей комсомола в Пензе, человек яркой судьбы. В партию Гриша Беляков вступил в 1918 году, четырнадцати лет от роду. В годы гражданской войны работал в ЧК. Имеет восемь правительственных наград. Имя его записано в Книгу Вечной Славы Пензенской областной комсомольской организации.

Сад детей

Ты что остановился, дед?
Из-за узорчатой ограды
Ребята самых малых лет
И на тебя бросают взгляды.

А оглядев, бегут назад.
И мир ограды им не тесен.
Обыкновенный детский сад,
И ты для них неинтересен.

В столпотворении затей
И теплом климате ухода
Перед тобою сад детей,
Живые саженцы народа.

И ты, на палку опершись,
Глядишь с блуждающей улыбкой
На их мальчишескую рысь,
И гомон девочек под липкой.

А память, оставляя их,
Тебя в безвременье уносит,
И братьев и сестер твоих
Подняться на поверку просит.

Немногословен некролог:
Им даже корок не хватило,
И смерть переступить порог
Большого детства запретила.

Не вспоминай о том. Забудь.
Но если жгут воспоминанья,
Назначь, оглядывая путь,
Рассудку с будущим свиданье.

И глянь на паренька того,
Что на коне в тревоге бранной
Торопит шпорами его
И машет саблей деревянной.

Игра, но никакой артист
Не бился так самозабвенно.
И ты забыл, что воздух чист,
И тишина его священна.

...О память, как же ты стара,
Когда выходишь из закутка.
Сданы твои маузера,
Чекистская истерлась куртка.

А мимо мчатся дотемна
Авто с жужжанием мушиным.
И в каждом — сила табуна,
Но ржать запрещено машинам.

И все же это был не сон,
И мы, назло смертям и мукам,
Пробились, времени в обгон,
Навстречу сыновьям и внукам.

И свято верится душе,
Как под годами ни сутулься,
Ты слышишь в каждом малыше
Биенье собственного пульса.

Рукопожатие

Тому обычаю — века.
Его дорога далека,
Но понимать все так же нужно:
Товарищ! Вот моя рука —
Она чиста и безоружна.

И если грудь я распахну —
Входи! — В тепло и глубину
Ведет незапертая дверца.
И волен ты, а не в плену,
Но и свое открой мне сердце.

А если друг ошеломлен
Несчастьем или болен он
И распрямить не в силах спину,
У дружбы есть один закон —
Возьми на плечи половину.

Когда же одарит его
Судьба из рога своего
И снимет с имени заклатье,
Немую радость за него
Вложи в свое рукопожатье.

Ты чутко узнаешь в быту
Ума и сердца доброту
Не в изъявлениях и поклоне,
А ощущая теплоту
Тебе протянутой ладони.

Но если руку жмет иной
Тебе с улыбкой ледяной.
Таящей подлость и глумленье,
Взгляни в глаза ему и смой
Следы его прикосновенья!..



САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ

*Нынешний год прошел под знаком
смотря сил и достижений Ленинского комсомола.
Кажется, совсем недавно разъехались по домам делегаты
XVIII съезда ВЛКСМ,
и вот уже наступил новый праздник —
его 60-летний юбилей.*

*«Возраст у комсомола вполне зрелый,—
говорил на XVIII съезде ВЛКСМ Леонид Ильич Брежнев.—
Но дух его всегда молод. Ленинский комсомол —
боевой помощник и надежный резерв партии.
У партии вы черпаете огромный, выверенный опыт
для всей деятельности вашего союза. И это естественно.
Ведь у партии и комсомола одна цель — коммунизм,
и путь тоже один — это путь Ленина,
путь служения народу».*

*В канун комсомольского юбилея редакция провела
среди молодежи своеобразную анкету.*

— Самый счастливый день этого года?

— Ваши планы на будущее?

*На вопросы эти ответили представители
разных социальных групп советской молодежи.*

*Здесь и рабочий, и колхозник, и рыбак,
и военнослужащий, и учитель, и спортсмен...*

*Люди эти молоды, однако, несмотря на молодость,
они достигли больших успехов в деле,
в общественной работе, отмечены наградами Родины.
В их ответах — убеждения, интересы,
устремления всей советской молодежи.*



ВЛАДИМИР ГЛЕБОВ,

буровой мастер
Нижнеартловского
управления
буровых работ № 2,
член бюро ЦК ВЛКСМ



1. Есть минуты в жизни человека, когда особенно чувствуешь свою причастность к делам страны, к делам своего коллектива, в котором ты вырос, которому ты обязан своими успехами. Присуждение мне премии Ленинского комсомола, избрание членом бюро ЦК ВЛКСМ — самые памятные события года именно потому, что это заслуга всей нашей комсомольско-молодежной бригады, всех моих товарищей, с которыми вот уже больше пяти лет я работаю плечом к плечу на Самотлоре.

Вообще-то нам всем здорово повезло, повезло жить и работать на передовой. Сегодня передовая проходит здесь, на тюменской земле. Страна создает крупнейшую энергетическую базу — залог надежности экономики завтрашнего дня. И ради этого мы готовы пережить и бессонные ночи на вахте, и риск эксперимента, когда испытываешь новый инструмент, и тревогу ожидания, когда долото, вгрызаясь в последние метры породы, спешит навстречу нефтеносному пласту...

Я не склонен считать наши успехи заслугой только молодых энтузиастов. Сегодня с благодарностью хочу сказать о нашем наставнике — буровом мастере Анатолии Дмитриевиче Шакшине, Герое Социалистического Труда. В нелегкую для моей бригады пору он протянул руку помощи. Случилась однажды тяжелая авария: при спуске эксплуатационной колонны оборвалась труба. Правда, потом выяснилось, что не было в этом нашей вины: в резьбе оказался заводской брак. Однако авария есть авария. Мы старались, конечно, быстрее ее ликвидировать. Готовили новую буровую. Но год кончался, и все меньше оставалось шансов завершить его достойно. Тогда приехал к нам Анатолий Дмитриевич. Вместе съездили на новый «куст». Потом стали подсчитывать.

— Не потеряно, Володя, — обнадежил Шакшин. — Готовьте инструмент, и пусть ребята не падают духом.

«Кусты» скважин обеих бригад рядом, и вахты Шакшина, отработав смену у себя, спешили к нам. С ними мы чувствовали себя увереннее, и каждый совет опытных бурильщиков пригодился. В послед-

ний день декабря бригада завершила годовой план, скважина была сдана заказчику на «отлично».

А планы на будущее...

2. Чтобы определить их, надо заглянуть в недавнее прошлое. Три года назад на месторождениях Тюмени шла реконструкция: меняли оборудование, технологию проходки. На промыслы пришли грамотные, зрелые специалисты. А вот организация труда и его оплата оставались неизменными. Зарплату и премии буровикам выплачивали не за готовые скважины, а за количество пройденных метров — своеобразный «вал». Я был тогда еще совсем молодым буровым мастером. Собрал бригаду на совет.

Одно дело — отказаться от премии в фильме, другое — в жизни. Были споры, уговоры, словом, конфликты: многим моим коллегам, даже знатым мастерам, наша позиция пришлось явно не по душе. Но мы ее отстаивали.

Премию стало получить куда сложнее. Но ценность ее теперь неизмеримо выше, потому что зарабатывались эти деньги честно.

Новый принцип организации труда продиктовал и свои нравственные нормы: в основе отношения буровика к зарплате, соревнованию лежат теперь взаимовыручка и взаимопомощь. Когда шла лихорадочная погоня за метрами, от спешки и суеты страдало качество работы. Теперь же дела круто изменились. С точки зрения организации труда — это метод Злобина в условиях нефтяного промысла.

В январе на комсомольском собрании мы решили: добиваться активного внедрения бригадного хозрасчета — самой передовой, на наш взгляд, формы организации труда в бурении. Не простое это дело. Но стоящее. Уверен, это позволит приблизить рубеж двухмиллиардной тонны тюменской нефти не на дни — на месяцы. А в этом и есть наш генеральный план на будущее, смысл нашей работы.



НИКОЛАЙ ГОДИН,

механизатор
колхоза имени Горького
Московской области.



1. Дни этого года были у меня очень насыщенными, и выделить какой-либо один трудно. Поэтому, рассказывая о себе, о людях моего колхоза, я так или иначе вспоминаю те дни и события, которые привели меня к мысли, что нет занятия благороднее и возвышеннее на земле, чем наше хлеборобское дело. В дни юбилея Ленинского комсомола я вновь возвращаюсь мысленно к событиям тех лет, когда я твердо решил стать механизатором...

Деревня Орлово, в которой я родился и вырос и в которой живу до сих пор, раскинулась на самой макушке высокой горы. Отсюда хорошо видна Москва. Днем отчетливо просматриваются высотные здания, а ночью многомиллионный город наплывает океаном огней, необъяснимо волнует и манит к себе...

Разные были мечты у ребят перед демобилизацией. Одним хотелось работать на заводе, другие грезили гигантскими стройками Сибири, третьи планировали учиться... Куда податься мне, я особо и не гадал.

Вернулся я из армии в свое родное Подмосковье. И вот уже восемь лет работаю механизатором в нашем колхозе имени Горького. Что было в эти годы? Была шумная веселая свадьба, когда поздравить меня и мою жену Машу пришла вся деревня.

Были торжественно-радостные минуты, когда принимали в партию. Тогда вместе со мной членами КПСС стали и мои товарищи по звену Алексей Маркин, Виктор и Николай Фомины. От этого было радостнее вдвойне — знал, что теперь в коллективе будет больше доверия, слаженности, взаимовыручки, а это далеко не последнее дело в нашей работе. И был еще труд, каждодневный упорный труд над собой, по совершенствованию своих знаний, мастерства.

Помню, после армии мне сразу хотели дать новый трактор «Беларусь». Отец запротестовал, пошел к председателю, рано еще, говорит, пусть поработает со мной помощником. Вначале я обиделся: зачем позорить сына перед сверстниками, которые давно уже само-

стоятельно управлялись на тракторах? Потом обида прошла, решил, что с отцом работать будет легче. Да только куда там! Признаюсь, на первых порах я не помню дела, которое он не заставлял бы меня переделывать дважды, трижды... Только и слышал: «А вот здесь огрехи, а здесь мелко взял, ну-ка пройди еще разок. Себя не жалея, земля не любит нерадивых». Поверите, едва не плакал. Ну, что, думаю, за привередливый наставник мне попался!

Но когда начал работать самостоятельно, оценил по достоинству отцовскую школу.

2. Прошло немного времени, и мне было оказано большое доверие: меня назначили старшим в комсомольско-молодежное звено по выращиванию кукурузы на зеленую массу. Кроме меня, в коллектив входят, как я уже упоминал, Алексей Маркин, Виктор и Николай Фомины. За нами закрепили немалую площадь — 100 гектаров. Кукуруза — капризная культура. Многими приемами агротехники овладевали на практике, опытным путем. А там, где не получалось, шли за советом к специалистам, старшим товарищам. С нетерпением ждали жатвы, а когда она пришла, урожай нас порадовал: мы получили по 450 центнеров зеленой массы с гектара. Это был лучший результат в колхозе. И по итогам года, как выяснилось, и по району. Тогда же я был награжден орденом Трудовой Славы III степени.

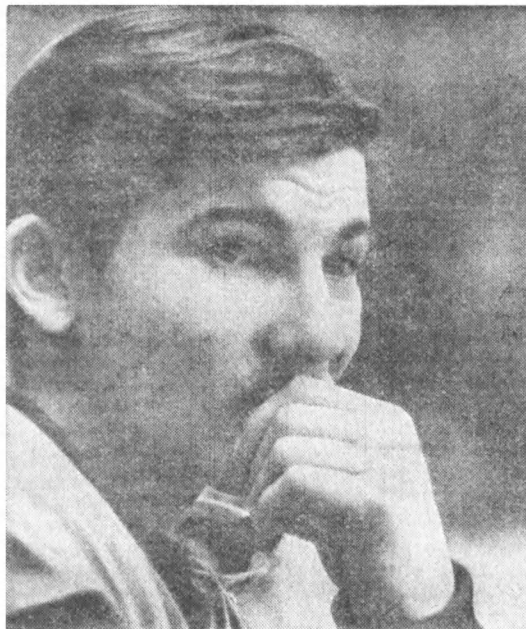
Сегодня по-прежнему основная моя забота — дела нашего звена. От нас во многом зависит, будет ли колхоз с прочной кормовой базой. Ведь на наших фермах размещено более 2500 голов скота. Вот почему в этом году мы обязались получить по 500 центнеров с гектара зеленой массы кукурузы. Мы решили, что наша главная задача сейчас — дальнейшее увеличение производства мяса и молока. И не ошиблись в своей стратегии. Подтверждением наших планов стали решения июльского (1978 г.) Пленума ЦК КПСС «О дальнейшем развитии сельского хозяйства СССР». Пленум дал нам большую программу работы.

Нам предстоит воплотить ее в жизнь.



ВЛАДИСЛАВ ТРЕТЬЯК,

вратарь ЦСКА
и сборной СССР по хоккею,
член ЦК ВЛКСМ,
заслуженный мастер спорта
шестикратный чемпион
мира,
двукратный олимпийский
чемпион,
кавалер ордена Ленина.



1. В воскресенье 14 мая я проснулся около девяти часов утра. Приведя себя в порядок, спустился на второй этаж, где в просторной комнате рядом с рестораном столовалась наша команда. Почти все уже были в сборе. Завтракали молча. Лица у ребят были отрешенные, замкнутые.

Позавтракав, каждый быстро вставал и спешил к дверям. Мне тоже хотелось поскорее остаться одному, избежать лишних разговоров. Проглотил яичницу с ветчиной и направился к себе в комнату. В коридоре меня догнал врач нашей сборной Борис Сапро-ненков. «Ты знаешь,— сказал он,— заболел Сережа Капустин. У него высокая температура».

О том, что Капустин не выйдет сегодня на лед, я старался не думать. Только констатировал этот факт — плохо, дескать, дело, и все. Что толку тер-зять себя перед матчем? Даже на раскатке я все де-лал как бы машинально, не думая о том, что вечером этот гигантский зал, похожий на разрезанную попо-лам бочку, содрогнется от призывного клича праж-ских болельщиков и на этом льду нам предстоит вы-играть у хозяев мирового чемпионата с перевесом не менее чем в две шайбы...

Перед обедом я позвал Сашу Пашкова на прогул-ку. В Праге было прохладно. Белые «свечи» церемон-но прятались в кронах каштанов. Над Влтавой пели дрозды. Я вдруг поймал себя на мысли, что совсем не испытываю волнения.

Пообедав, я, по своему обыкновению, крепко уснул и встал свежим и еще более спокойным.

«Ну, мальчишки, у вас есть шанс доказать, что вы самые сильные в мире!» — сказал Виктор Васильевич Тихонов на традиционной установке. — Главная за-дача — сразу показать сопернику: мы вышли побеж-дать. У них дома, в присутствии их болельщиков, не смущаясь их чемпионского титула,— побеждать!»

Когда мы шли к автобусу, чтобы ехать на матч, меня остановила женщина — администратор гости-ницы. «Владислав,— сказала она,— я всегда болею за вас, вы мой любимый хоккеист, но как мне быть сегодня?» «Болейте за своих», — улыбнулся я. Вместе со всеми, кстати, шел к автобусу, намереваясь уча-ствовать в матче, и Сережа Капустин!..

И вот мы вышли на лед. Рев трибун только разза-дорил нас, заставил предельно мобилизоваться. Не буду пересказывать ход этого счастливого матча, скажу только о том, чего вы не могли видеть по те-левизору. За четыре минуты до конца, когда чехо-словацкие хоккеисты предприняли последний ярост-ный штурм и судьба золотых наград висела на во-лоске, у нас почти не осталось игроков. С тяжелой травмой покинул каток Мальцев. Шайба едва не вы-садила глаз Лутченко, и он тоже выбыл из строя. Сердечный приступ свалил здесь же, на скамейке, Васильева... Доктор метался от одного к другому. Билялетдинов получил двухминутный штраф. Кому же играть? А соперники атакуют...

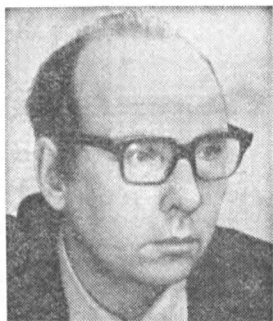
Я никогда не смотрю на табло во время матча, не считаю оставшегося времени. А тут, каюсь, не вы-держал, поднял голову: надо было продержаться пятнадцать секунд. И все. И мы чемпионы! Я осязал каждую из этих секунд. Считал про себя: «Три, две, одна». Когда прозвучала сирена, не знаю, что на ме-ня нашло: разнес клюшку об лед, что-то кричал, и мне что-то кричали. А на скамейке, не стыдясь, плакал Тихонов...

Мы ехали в автобусе по вечерней Праге и во весь голос распевали «Катюшу». Всей командой. Еще ни-когда такого не было, чтобы мы хором пели песни!

2. Я еще долго хочу играть в хоккей и должен за-ботиться о том, чтобы все время повышать мастер-ство. Современный хоккей не дает соскучиться нам, вратарям. Форварды придумывают какие-то изощренные, страшной силы броски. А теперь вот и правила изменились. Площадка станет меньше. Значит, вратарю еще ра-боты прибавится: бросать-то бу-дут чаще...

Я мечтаю поступить в Военно-политическую академию. А как член ЦК ВЛКСМ буду по-преж-нему всемерно способствовать пропаганде и развитию хоккея в нашей стране.





МАРАТ ТАРАСОВ

Лодка

Бросили ее без спросу
Кверху днищем у затона,
И забытый отголосок
В ней очнулся тихим звоном.
С краем душу ей наполнил
И помог забыть недуги,
Живо дрогнули, опомнясь,
Вересковые опруги.
Всею чувствует обшивкой
В пробудившейся надежде,
Что все это не ошибка,
Что плывет она, как прежде.
И напрасно, словно улей,
Хор ветров жужжит печально,
Что волну в хмельном разгуле
Не заменит ей песчанник.
Опрокинутой на землю,
Ей хороший сон приснился,
Будто киль, от тины зелен,
В голубой зенит вонзился!
И своей ребристой грудью
Горячо она припала
К белой облачной запруде,
Наливающейся ало.
И блеснуло светом молний
В ней сознание, как небыль,
Что всю жизнь плыла не морем,
А по отраженью неба!
И когда она тонула,
Ведь недаром ей казалось,
Что она с волны вспорхнула,
Птицей в небо подымалась.
В пустоту ее пробоин
Пусть же хлынет освеженно
Белым облаком прибоа
Жизнь, исполненная звона.
Пусть душою прикоснется
К выси той, какая снится,
Ну, а если и проснется,
Пусть со снами не простится.

☆☆☆

За прибрежными ивами,
Где простор для души,
Белопенными гривами
Разлинованна ширь.
Вот уж ветры, играючи,
Веселы и хмельны,

Расстилают на гравии
Первый свиток волны.
И с полуночи до света
И опять допоздна
От разбойного посвиста
Ни покоя, ни сна.
Ой, вольготно же вольнице
На песчаной косе!
Скоро свитки заполнятся
До последнего все.
Как смеялись и плакали,
Как неслись по волнам,
Будет рябью каракулей
Все рассказано нам.
Так зачем загораживать
Тучам те письма,
Пусть-ка оком оранжевым
В них заглянет луна.
Гребни строчками на берег
Нагоняя с утра,
Свои грамоты набело
Перепишут ветра.
И потом урезонятся,
Схоронясь в камыши,
Чтобы в дреме бессонницу
Поминать от души.

☆☆☆

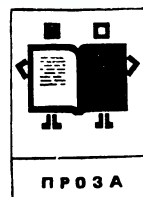
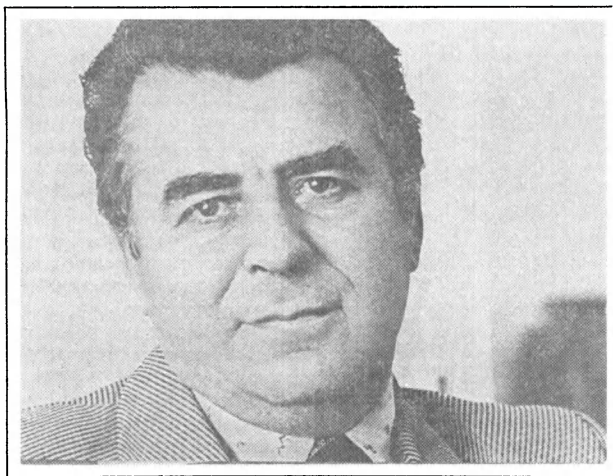
Перепополненный радостью звонкой,
Накренился стремительный борт,
И, вцепившись в корму дьяволенком,
За спиной тараторил мотор.
Нарастающим вихрем веселья,
Огибая причудливый мыс,
Мы в зеркальную заводь влетели,
И опешили, и осеклись.
Там деревья в последнем усилии
На ветвях без листьев и хвои
Высоко в синеву возносили
Отлетевшие души свои.
Мне казалось: по вещему знаку
В незапамятно давние дни,
Как фанатики веры иной,
Были загнаны в воду они.
Их подружки, курчавясь на кручах
И ликуя, их звали с собой,
Но застыла в изломанных сучьях
Отлучения тайная боль.
Не случайно, отсюда навеки
Уплывая в иные края,
Жизнь оставила странные вехи
Да затопленных пней якоря.
Не затем ли, что разом очнулись
Мы на миг от счастливого сна
И на дальний предел оглянулись,
Где печальная гавань видна.
Где на срезе березовом скользком,
Не колебля болотной куги,
Разбежались годичные кольца,
Как от рыбьего всплеска круги.

☆☆☆

Пришла пора — из дому выйдешь
И на просторах снеговых
Стволов березовых не видишь,
А только крапинки на них.
Пора и в сердце не из ранних,
Но в полудетской простоте
Не зря с годами все желанней
Тоска по снежной чистоте.

САБЛЯ БЕЗ НОЖЕН

АЛЕКСАНДР
ВИНОГРАДОВ



ПОВЕСТЬ

Старый маршал умирал. Смерть не пугала его, он прожил долгий век, чтобы страшиться неизбежного. За длинные ратные годы солдат дослужился до маршала и много задолжал смерти. Она щадила его на поле брани и теперь пришла за своим. Подкараулив солдата в постели, неторопливо рушила могучий некогда организм. Она не терзала рвущей, нестерпимой болью, не накатывалась мучительными приступами — смерть обрекла его на осознанное и беспомощное угасание. На страшном пороге в ничто она дала отступного и позволила разуму обрести печальную ясность, разрешила старому солдату побывать в невозвратном прошлом.

Воспоминания наплывали из такого далека, что порой маршалу казалось — он перехитрил годы и слишком надолго задержался в чужом времени. Отрешенный, смилившийся с приговором, не подлежащим обжалованию, не докучая ближним капризами, блуждал он по закоулкам просветленной памяти.

Картины выстраивались хаотично, наталкивались друг на друга, словно чья-то злая прихоть сплетала их в неуправляемый алогичный ряд. И от этой мучительной мешанины поднимался томящий звон в ушах, пронзительно и протяжно стыл на самой высокой ноте, а потом разлетался на тысячи осколков — и комната заполнялась фанфарным пением, посвистом невидимых пуль, конским ржанием.

А по размытым сумерками стенам шли живые и близкие картины и чудились такими осязаемыми, предметными, что хотелось дотронуться до лиц, пощупать вещи, чтобы хоть на секунду удержать дорогие видения.

Старый солдат пытался пружинить безвольные, уже непослушные руки, но онемевшие пальцы бастовали, не двигались. Жгучая обида на свою немощ разлива-

Рисунки
Е. МАЦИЕВСКОГО.

лась в зыбком сознании, туманила мозг, ступеньки вала приметы сегодняшнего дня.

Тогда маршал плохо узнавал домашние предметы и проваливался в топкие границы яви и забытья. Тихие разговоры близких казались ему голосами давно ушедших из жизни друзей, оконная рама плющилась в амбразуру командного пункта, а на дачный домик напротив напознала черепичная па- паха — и он вдруг оборачивался скособоленным родным куренем.

...В носу щиплет от кизячного дыма. Резко цвиркают струйки молока о дно подойника. Он ссыпает на старую мешковину пахучие пупырчатые огурцы и ловит на себе тихий и благодарный взгляд матери. Ее лицо выплыло из каких-то немеренных глубин и обласкало давно забытыми глазами. Они искрятся счастьем, но скорбные морщинки побеждают радость и вычерчивают на лице острую тревогу и грусть. Что-то доброе шепчет она Степану, а ему смешно и щекотно от okayмленных невесомым пушком теплых губ, от ее заботливого и горячего дыхания. Он зарывається головой в материнский сарафан, стараясь уйти от насмешливых ухмылок своих однолеток, которые гроздьями повисли на плетне и нахально разглядывают их двор. Чтобы тут же обо всем разглагольствовать по хутору. Степан рванулся, сиганул через плетень и ловко поймал Петькино запястье. Вымещая на приятеле свою досаду, до боли стиснул его руку...

— Герой, ей-богу, герой. Не руки, а тиски слесарные. Неизбывная в тебе силища, Степан Иванович, — откуда-то из провальной тишины рождался мягкий, как вата, голосок, успокаивающий и по-докторски покровительственный. — Выходит, на поправку пошел, подниматься пора!

Маршал подосадовал, что доктор со своим профессиональным оптимизмом таким бодрячком вторгся в его детство и катил, катил округлые и такие ненужные сейчас слова. Он не мог простить ему непрошеного вторжения и силится подольше удерживать лицо матери. Но оно уходило в лиловую пелену, дробилось на несколько лиц, принимая образы жены и каких-то других запомнившихся ему женщин, сливаясь в иконописный и скорбный девичий лик. Он бессильно осознавал, что мать уходит навсегда и он видит ее в последний раз. Беспомощная ярость кипела в нем: зачем прервали его сон и не дали отдубасить приятеля?

Степан Иванович долго не размыкал веки, и его сознание холодно фильтровало докторскую скороговорку. Ему даже стало забавно послушать, как сумеет его давний друг выдать черное за белое, обернуть неумолимость в надежду, немощь в силу.

— Выкарабкался, вылез, дружище. Кровь по жилам загудела, сила в руки пошла. Нет, вы поглядите на мою руку... Сравните! — Это уже для успокоения домашних. — Синий круг, что кандальная меча. Видите? — И для больного, увеличив дозу бодрости в голосе: — Оклемался, Иваныч, кризис перешагнул.

Маршал открыл глаза. И, натолкнувшись на его тихий, не протестующий взгляд, осекся, враз замолчал доктор.

Он многое повидал, состарившийся в борьбе за чужие жизни, наукой не титулованный врач. На его веку в медицину пришли умные и мудреные приемы, которые изнутри лучше любого глаза высматривали пациента, чутко выслушивали охи и вздохи занедужившего организма. И доктор охотно принимал рукотворных помощников, видя в разноцветных индикаторах всплывающих хороших для себя подспорье. Но по старинке он больше доверял своей

интуиции и тому диагнозу, который диктовало ему неуловимое докторское чутье. Он и себе не мог толком объяснить — откуда приходила такая уверенность. Но порой одного взгляда было достаточно, чтобы суждение стало окончательным и ясным. Глаза больного говорили старому доктору больше, чем все показания приборов; он чутко слышал, как дышит кожа, и мгновенно замечал, не подкрадывается ли к ней предательский, чуждый жизни цвет. По наклону головы и походке безошибочно определял, каков запас сил в организме и сумеет ли он отстоять себя.

Правда, в этот дом старого доктора теперь приглашали не часто. С тех пор как его давний друг достиг всенародной славы, служебные перегорожки отделили их, утвердили на определенных житейских орбитах. Сюда уже стеснялись звать безвестного доктора. Здоровье маршала было отдано в руки именитых докторов, а перечень его хворей и недугов хранился в регистратуре специальной поликлиники. И доктор стеснялся попусту объявляться в доме, озаренном сиянием золотых звезд хозяина, которые заслужил он честно и справедливо — заслужил героической жизнью советского солдата.

Но хозяин дома иногда «бунтовал» и одним махом рассыпал регламентированный серпантин казенного жизнеустройства. Неугомонная горячая кровь взвихривала его и на восьмом десятке, когда озорно стряхивал он с себя годами копившуюся чинность, становился лукавым и бесшабашным, приводя в испуг и недоумение приставленных к нему адъютантов и помощников. Он враз забывал о короткономерном служебном телефоне и по обычному аппарату начинал торопливо обзванивать своих приятелей. Маршал был нетерпелив и требователен, он сразу хотел видеть всех, забывая, что и сверстники прибрели к закатной черте, что и к ним намертво прилепились старческие хвори и недуги. Тогда носилась маршальская машина по заветным адресам, выдергивала из семейного уюта его верных приятелей и свозила их на непритворное и широкое хлебосольство.

Молодился хозяин, по-мальчишески бахвалился, выискивал в себе ушедшую статью, нерасчетливо наливал полные чарки. И первая же рюмка рождала удаль, путала годы, горячила его голос, так уставший от команд и жизни. В минуты хмельного забытья казалось, что все вернулось на круги своя, а впереди не считано и не мерено, — что еще ликуют мышцы от взыгравших прежних сил... Но хмельное возбуждение было кратким — оно источалось оцепившими старческими голосами, тяжелыми придыханиями, напоминало о себе слинявшими зрачками боевых друзей. И снижал гомон, утихомиривался хозяин, а разговор входил в берега умудренной, много повидавшей старости, которая ничего не боится, а покорно ждет, для которой мало осталось житейских секретов и новизны, которая выверила все нормы доброты и подлости.

Старых друзей осталось очень мало, и каждому из приезжавших к маршалу ничего от него не требовалось — служение великой идее было главным смыслом их жизни. Хозяин пристально всматривался в оробевших после застольного всплеска друзей. Честные, притомленные длинным временем глаза в ответ любовно оглядывали его — общую гордость и веру, олицетворение их ушедшей в историю юности. Так и хотелось крикнуть этим бескорыстным немцам: ну, попросите же что-нибудь, потребуйте в конце концов! Но слов таких маршал не произносил. Знал, что кровно обидит дружбу. И насупленно замолкал...



У Граната стойло в дальнем углу теплой конюшни. Здесь круглые сутки полумрак и устойчиво держатся вкусные запахи овса и сена, сюда редко забегает травяной ветерок воли, так остро тревожащий старую лошадь. Всем своим конским существом Гранат признает справедливость людских решений: и то, что у открытых ворот квартируют молодые лошади, в ком играет неизбывная сила и кто при настоящем деле, и то, что он, самый давний постоялец, определен сюда, в сумрачную окраину конюшни, и то, что по доброте человеческой получает даровой корм. Жеребцу трудно посчитать все ночи и дни, проведенные в этом покойном и теплом уголке, где всегда пахнет влажной сыростью. Бог весть когда досталось ему это стойло, и с тех пор время течет нудно и тоскливо. Мутная лампочка смыкает сутки, и Гранату кажется, что на дворе нескончаемый блеклый день, в который уложилась вся его жизнь.

Хотя иногда это монотонное течение нарушалось, и перемены волновали жеребца. В щели конюшни врываются вестники весны: щекотало ноздри дыхание талой земли, звали ароматы проклюнувшейся молодой травы, дурманили голову, расплаляли коня дразнящие запахи молодых кобылиц. Тогда, помимо его воли, выстукивали нетерпение копыта, судороги морщили начищенную шерсть. Напрягался могучий некогда круп Граната, и весь он заходил в призывном, угарном ржании. Он видел себя на зеленом кругу, среди благосклонных подруг и ревнивых, фыркающих жеребцов, которые все-таки не решаются оспаривать его первенство,— он видел себя во главе молодого и преданного ему табуна. И, забыв о реальности, начинал метаться по тесному стойлу, пробовать зубами переклады, раскачивать грудью стенку. Казалось, что вот-вот скрытая в нем сила порушит все эти перегородки, вынесет его за стены опустыленной конюшни и во всю мощь своих легких протрубит он о долгожданной свободе.

— Не балуй! — возвращал его на место незлобивый голос. — Имущество казенное не порть, — ворчливо втолковывал конюх опьяненному Гранату.

И так же не с сердца, с притворной строгостью стегал жеребца веревочной, разлохматившейся плеткой. Тогда остро досадовал Гранат на конюха, хотя вообще-то любил Тихона, потому что на себе ощущал его доброе сердце, его кроткий нрав. И еще примечал Гранат, что стар Тихон и немощен. Рядом важничали нарядные, заносчивые люди, удачливые, всегда смеющиеся, вокруг них роились услужливые, верткие человечки, а Тихон в дальнем углу был всегда один. Потому и прощал Гранат ему плетку, понимая, что она так, для острастки... Лошадиная обида была мимолетной и не памятной.

Тихон по всем статьям превосходил этих красавиц парней, которые иногда заглядывали и сюда, в сумрачный угол конюшни. Гранат безошибочно определял человечески интонации, то чувство, которое вкладывали в голос люди. На Граната глядели как на дикушку, на какое-то необъяснимое чудо, а вернее, чудачество. Трудно было разберись, о чем говорил Тихон, но в его голосе были уважительная нежность, тихое поклонение, недоговоренное восхищение. Те, подходившие к стойлу, тоже оживлялись, размашисто жестикулировали, цокали языками, рассыпались каким-то обидным для Тихона и Граната снисходительным смешком. Раздражающий сигаретный дым, громко шелестевшие рубахи были чужими, надменными и малопонятными. При таких посещениях весь сжимался Гранат,

норовил повернуться к людям крупом, беспокойно всхрапывал и менялся прямо на глазах. Кровь прилиwała к сердцу жеребца, и шерсть становилась матовой. Он же не мог сказать конюху: пусть никогда не подходят эти говорливые и недобрые посетители, от которых Тихон должен почем-то защищать его. Пусть они хоят своих награжденных, именитых лошадей. Но не понимал Тихон своим человеческим разумением, что в тягость Гранату незваные визитеры, что обижают они его своим присутствием, сочувственными ухмылками, оживленными, но не искренними разговорами.

В эти постылые минуты дичал, замыкался и весь уходил в свои думы Гранат. В памяти старого коня что-то еще удерживалось, и в такие тягостные мгновения воспоминания спасительно приходили на помощь.

...Где-то в немыслимой дали, в пахучем степном безбрежье вставал старенький конезавод. Взгорбившаяся земля вокруг него, рослые, особо сладкие на утренней зорьке, сочные травы. И видел Гранат себя в родном, беспокойном табуне, уже отлученным от матери и позабывшим ее. Видел себя среди шаловливых сверстников — стригунков, игривых, бестолковых, озорных. Среди самых бесшабашных жеребцов Гранат выделялся какой-то суматошной неугомонностью. Он не мог пасти спокойно — жизнь была такой загадочной и прекрасной, что и к двум годам не мог остепениться породистый, крутобокий красавец. Объезжали и ставили его лошадиный характер долго и мучительно. Играючи выбивал он стальные грызла, сбрасывал недоуздок и в два счета разделялся с седоками. Наездники летели с него один за другим, пока не объявился на конезаводе всадник с крепкой рукой и таким же упрямым характером.

Гранат наводрил уши, мощно и гордо изогнул шею, настороженным глазом косясь на подходящего мужчину. И чем ближе подступал он, тем сильнее захотелось Гранату выкинуть с незнакомцем испробованную и коварную шутку — дать оседлать себя, а на первом же круге стремительного аллюра выкинуть поверившего в укрощение седока.

Жесткая рука легла на холку и чуть сдавила ее. Жеребец не почувствовал пота на человеческой ладони и враз насторожился. Властным и мягким движением пальцы незнакомца разжали губы, и холодная сталь стукнула по зубам. Напрягшийся в томительном предчувствии жеребец впервые пропустил самое важное — он не заметил, когда тело седока стремительно взметнулось вверх. По-жокейски, не касаясь стремян, мужчина прыгнул в седло. И взбунтовался свободолюбивый нрав Граната. Он несколько раз завис свечой, взбрыкнулся мощным крупом, но злые шенкеля диктовали жеребцу неуступчивую волю человека, его хладнокровное главенство и неоспоримую власть. Жеребец птицей летел по лугу, выкидывал свои номера. Но тяжесть со спины не исчезала, и с каждым кругом Гранат яснее понимал всю бессмысленность своего лошадиного бунта.

А когда, весь взмыленный, роняя пышную пену с разгоряченных губ, остановился у конюшни, как-то сразу уразумел, что и он наконец нашел своего хозяина. Седок, так легко скользнувший на землю, любовно оглаживал ховившие, словно кузнечные мехи, пенистые бока, сильными пальцами продирался сквозь буйную и нечесаную гриву и что-то ласковое говорил Гранату. У жеребца ушла кровь из глаз, и горевшая доселе ненависть погасла в них. Озноб, несколько раз пробежавший от холки до хвоста, уже не был угрожающим и непокорным. Гранат в эту минуту осознал по-лошадиному преданно и бесспоротно, что уж никогда не будет у

него запаха роднее и ладоней ласковее. Незлобно фыркнув, покорно склонив шею, жеребец бархатно подобрал с теплой ладони заслуженную награду и благодарно захрупал сахаром...

А потом замелькали в его конской жизни разные местечки и города — и уже не часто он виделся со своим хозяином. Но по отношению к себе, по конскому своему довольствию Гранат примечал, что не простой человек его хозяин, что смирил он свой гордый нрав перед сильным и всеми уважаемым всадником.

В этой сытой и почетной жизни праздники редко приходили к Гранату. Но как встряхивался он, когда начинали беспокойно бегать люди по денникам, запоздало наводить порядок, выскребать, проветривать, вычищать. По этим суматошным приготовлениям Гранат безошибочно определял: минет одна ночь, и поутру он увидит хозяина. И снова музыка, строй застывших людей. И опять он гордо понесет своего хозяина на какое-то праздничное людское действо...



Доктору-пенсционеру, одному из самых близких друзей — Петровичу, — маршал позвонил вчера. Куда-то отлучились домашние, на время отступила слабость.

Он украдкой накрутил диск и, услышав глуховатый голос друга, принялся ворчливо выговаривать:

— И не совестно? Куда запропастился, почему не был на последней поверке, отвечаешь? Ну, что сопишь? Оправдывайся, ссылайся на что-нибудь, ну, соври в конце концов...

Трубка не отвечала на балагурство, трубка вострожено молчала. И, только подкараулив паузу, озабоченно спросил Петрович:

— Что, Степушка, плохо?

Маршал кашлянул, поймал ровное дыхание и, все-таки остерегаясь домашних, зашептал, как на исповеди:

— Плохо, Петрович, плохо, друг. Вчера каких только не наехало. Перекрутили всего, вконец извели расспросами. Улыбались. Столько мне утешительного наговорили, что в пору пускаться в пляс. А глаза у всех озабоченные, тревожные, и все полатыни шпарили. Видно, каюк — отжил свое.

Петрович врезался в грустный монолог Степана и, овладев инициативой, начал отчитывать его:

— И враз расквасился, обмяк? А доктора всегда улыбаются. Это у Чехова они задумчивые и хмурят брови. Не к новобранцу приехали, а к преклонному. И случай, думается, нелегкий. Но к чему сразу руки по швам? Ты разве мало с ней встречался? Или не заносила она косу над твоей головой? Увернемся и сейчас, поведем костлявую за нос.

Но чувствовал Петрович, что грубо фальшивит, вроде бы гарцует на заезженном одре. Понимал, совестился, хотел порушить этот проклятый игривый тон. Но как назло веские и нужные слова куда-то сгинули, а в телефонную трубку ползла и ползла словесная шелуха. Степан Иванович не перебивал его, не принимал шутовского тона. Сам помог Петровичу избавиться от затянувшейся лжи. Будто сабель полоснул трубку:

— Завтра приезжай. Чему быть, тому не миновать. От тебя хочу слышать.

Высоко и печально запел отбой.

...Сейчас, поймав тихий, не протестующий, а покойно-смирившийся взгляд маршала, ссутулился и стыдливо замолчал Петрович. Горькая правда слыла на побелевших губах,

Степан Иванович по согбенной, враз усохшей спине доктора понял горькую правду. И сразу же провалился в мутную пучину. Оранжевые круги мельтешились тошнотными хороводами, иплыли,плыли по телу тревожные переозвонки.

...Частые разрывы взмывали султаны серой земли, шрапнель выбивала всадников расчетливо и точно, как фанерные мишени на учебном стрельбище. Снаряды жалили самый центр атакующего эскадрона, отжимая красных бойцов к краю топкого болота. Под Степаном бесновался струсивший жеребец. Крутился юлой, с храпом вскидывался на дыбы и не шел вперед. Еще мгновение — и гибельная паника скрутит сабельные ряды, утопит в крови неуправляемый аллюр конницы. Как насכוили на засаду и кто виноват — это потом, это не уйдет. А сейчас на счету секунды. Надо враз сломить растерянность и бросить конников на траншеи белых.

Холодные шпоры Степана больно куснули жеребца. Захрапел, передернулся конь, уронил шапку розовой пены. Желтыми зубами попытался выбить колкие грызла. Скосил одичавший глаз на кричащего седока, завис свечой, резко рухнул вниз. Но сбросить всадника не смог и от безумного ужаса зашелся звонким степным ржанием. Стальные удила рванули замшевые губы, и жеребец, презрев звериный страх, в настильном прыжке завис над траншеей. Стукнул подковами о каменистый бруствер и, почувствовав земную твердь, рванулся в дикий, неистовый скачок. Жеребец не видел яростной сечи, он одичало носился среди смешавшихся конников и только краем глаза улавливал высверки молнии — разгоряченный хозяин рубил фуражки, мундиры, погоны. У самой гривы свистели пули, остро тенькала сталь схлестнувшихся клинков. Но жеребец не прятал ушами и не вздрагивал вспененными боками — он уже обстрелялся в боях, да и вольный норов прибавлял смелости. Он радостно ощутил рядом дыхание эскадронных, по запахам знакомых лошадей — красные конники, перемахнувшие завесу огня, левой обрушились на позиции белых.

Они полетели в тартарары, в темную и бездонную пропасть — ужаленный пулей жеребец и оглушенный Степан. Последнее, что услышалось сброшенному в траву командиру, — это сотнеголосое, победное и протяжное — ура, ура-ура!!!



Через стены Гранат слышит зеленые и веселые праздники, когда взрывается конезавод человеческой разноголосицей, когда будит призывный звон колокола что-то затаенное, улегшееся на самое дно его конской памяти. Он наново переживает азарт давних дней, когда стелется под летящими копытами зеленый круг и кажется, что еще миг, еще одно властное понукание всадника — и ты птицей влептишь к финишной отмашке... а впереди цветы, музыка. И ласковое похлопывание теплой руки по взмыленной, гордо изогнутой шее. Все это накачивается на его лошадиную память так явственно и реально, что начинают беспокойно подрагивать старческие бока и будто новые силы вливаются в непослушные и усталые ноги. Так трудно отрешиться от волнующей картины, так тяжело примириться с удручающим волю унылым и тесным стойлом. Как всегда, выручает Тихон. Он любовно расчесывает свалявшуюся за ночь гриву, вытирает насухо просевшую от старости спину Граната. Неторопливо толковывает жеребцу:

— Нашел чему завидовать. Ну, ставят рекорды, ну, хлопают им. — И старик недружелюбно поглядывает на денники-люксы. — Ну и что с того? Сбрось

с тебя два десятка годков — хвоста бы им не видеть. Кишка тонка твою резвость иметь. Ну, хоч Пальму возьми. Скажем так: кобыла что надо. А понятие к ней когда пришло? — Изломил бровь в каверзном вопросе. Помолчал. Не дождался ответа. — То-то и оно, сказать нечего. Два года в сбой срывалась, а уж какие наездники ставили бе! Едва затолкали в лошадиную дисциплину.

Гранат беспокойно всхрапнул, и Тихон, учуяв меняющееся настроение жеребца, заговорил тише и лыстивее:

— Да не хаю я ее, не ругаю. Видная кобыла, что и говорить. Грива волнистая и глаза чистые. И наград и валюты навезла. Портретов хоч отбавляй. И все ж не ровня она тебе, ежли по годам честность соблоти. Да и биография ее пожиже будет. Ну, продержится сезон, другой — и прощай кобыла! А время минет — и совсем забудут. А ты калибра другого, ты особ статья! Ты, можно сказать, государственный жеребец, славой меченный. Не каждый геройского маршала на себе возил, не каждого определяют сюда на почетную пенсию.

Гранат хорошо понимал лыстивую хитрость конюха — Тихон извинительно оправдывался за ту весну, которую так бурно и ранимо пережил Гранат. Тогда в конюшню пришло много новых запахов, на конезавод прибыли новобранцы-трехлетки. По-ребячьи неуравновешенные, не по рангу здешнего завода игривые, они заполнили денники непривычным и шумным конским весельем. Тогда последняя весна пришла к Гранату, и уж потом никогда не волновало его весеннее пробуждение.

Рядом с Гранатом поселилась, вся в рыжем сиянии, с крутой холкой, вычищенная до полированного блеска, с белой звездочкой на лбу, кобылица Пальма. Жеребец скосил глаз на соседку. Она прижимала к изящной голове тонкие, красиво обрезанные уши и серыми губами ощупывала перекладину. Приветливо окликнула соседа и втянула ноздрями воздух. Гранат ждущими губами потерся о ее шею, и таким степным привольем пахнуло на него, так резко ударили в голову давно забытые ароматы тамошних трав, что враз нахлынули на жеребца ответные чувства. Он заявочно прикусил ее холку. Дернулась, всхрапнула Пальма, уставилась на Граната удивленным глазом. И жеребец чутьем угадал, что нерасчетливо переступил черту, враз обнажив свою нежность, что не приняла его ухаживаний рыжая красавица. Изогнула дразнящую шею, взметнула золотой каскад хвоста, оскорбленно отошла к дальней стенке. Гранат оправдался тихим и ласковым ржанием и снова просунул голову в ее стойло. Милостиво и прощающе Пальма шагнула к нему и благосклонно позволила вылизать себя. Старательно и уже без каких-то заявок чистил он свою последнюю избранницу.

...И снова видел себя молодым. Зеленая, пахучая луговина. Свежесть близкой воды и надоедливое гудение слепней. Он лениво отмахивается от назойливых насекомых. Хрупок подрезает острыми зубами сочную траву и весь нежится в покойном, лошадином счастье. Нет-нет да и скидывает голову, чтобы победно оглядеть все вокруг. Чутко вострит уши, шумно затягивается пахучим ветром, но ничто не грозит мирной луговине. Совсем рядом, разморенная материнством и молчаливым сердечным согласием, неторопливо пасется Пальма. Она в счастливой поре, когда может любоваться на шаловливого, еще неуклюжего своего жеребенка, который взбрыкивает и прыгает вокруг нее. То дотягивая свою головенку до загадочного травяного мира, то шараясь в сторону от испугавшего его жука, то резко тыкаясь в ее набухшие и теплые соски.

Пальма пасется без опаски и привычной настороженности — она видит, как чутко прядет ушами и зорко посматривает окрест могучий и ласковый Гранат...

Он недолго пребывал в сладких мечтаниях — пришел нарядный верткий конюх и, взнуздав кобылицу, повел ее на волю. До самых ворот провожал ее взглядом Гранат, а она, упруго-неудержимая, грациозно-красивая, заставляла поднимать головы степенных и совсем нелегкомысленных жеребцов.

Гранат впервые не почуял приближения Тихона. А тот, будто разобравшись в душевных волнениях жеребца, отыскал в своем голосе какие-то особые, прочувствованные нотки:

— Все понятно, старый. Зверь ведь по сути, а по-ди ж ты, тоже сердечные привязанности. Ишь как встряхнулся на молодую, что жених в хороводе девок. — Тяжко вздохнул: — Не по чину берешь, не по возрасту, стало быть. Она куражится перед стариком, а ты и хвост трубой. Глянь на себя-то! — Тихон дружелюбно кнул ему плеткой в бок. — Кожа обвислая да кости гремучие. Вот и вся в тебе краса. — И совсем успокоил жеребца, прилаживая торбу с овсом: — Жуи, пока жуется. Мы с тобой отбедокурили свое, нагулялись! — И, ласково огладив подрагивающий круп коня, тщательно притворил дощатую дверцу.

Лишь к вечеру вернулась Пальма, дыша усталостью и вольной свежестью, еще не осып от азарта бегов, вся отчужденно-новая и вызывающе молодая. Гранат было сунулся к ней с нежной радостью. Но кобылица еще строже отмерила дистанцию близости: она позволила лизнуть себя разок-другой и уткнулась в кормушку.



И только через неделю разомкнулась черная тишина. Степан очнулся ранним утром, когда косые лучи отдохнувшего за ночь солнца начали расчерчивать земляной пол чистенькой мазанки. Он силился вспомнить, где он и что с ним. В тяжелой и будто чужой голове не было мыслей, стопудовая тяжесть вновь тянула в темную пропасть. Нет, только не туда! Скатись вниз и не выкарабкаться больше.

Он трудно повернул голову и увидел сиделку. Тщедушная девочка, заботливо укрытая пуховым платком, посапывала на табурете. Скрипнула расхожая кровать, видно, он грузно повернулся. Встрепенулись ресницы, беспокойно заметались, розовое личико вмиг обрело пугливую красоту. Глаза обдали его такой синевой и влажной свежестью, что с головы до пят буйной радостью прошло Степана и так легко ему стало, будто до этого была и жизнь не в жизнь. А синева залилась слезами, торопливыми, крупными, по-детски несчитанными. Запричитала, зашлась в скороговорке:

— Господи, жив, жив. Отступилась, проклятая.

И стремглав рванулась за дверь.

Она за руку втащила в горницу молодого хлопца, и он неуклюже и растерянно плюхнулся на табурет. Парень конфузился, краснел. Оглаживал крупную пятерней патлатые вихры и торопливо расстегивал сумку. Что-то, а сумка была у парня настоящая, медицинская, с которыми ходили демократичные и строгие земские врачи. Не поддавался замок. Оробевший лекарь растерянно оправдывался:

— Выдумала тоже! Какой я доктор, где уж мне? Посмотреть посмотри, а что толку? Сто раз говорил: не был я доктором — в помощниках у фельд-

шера числился. Вот и вся медицина. Банки там, кость вправить, а тут дело серьезное.

Но уже начал успокаиваться. Когда высчитывал у Степана пульс, обрел взгляд спокойный и строгий. Видно, в обращении с больными подражал своему фельдшеру. Собрал морщины на гладком лбу, властно изогнул бровь:

— Одним словом, покой. Растирание назначу. Попариться разок-другой покруче

Степан усмехнулся открыто, добро — уж больно по нутру пришелся ему этот лечащий паренек. В лазаретах он навидался всяких докторов и сестер милосердия. В золотых пенсне, с труднопроизносимыми фамилиями, с елейными придыханиями, твердивших одно и то же: «Крепись, солдатик, терпи, соколик». И бескорыстных подвижников, не боявшихся гноя и солдатских увечий

Лечащий паренек был весь нараспашку — курносый, неумелый, щедро веснушчатый.

— Давно в коннице? — спросил Степан.

— Неделью, — торопливо, как первогодок, отчеканил лекарь.

— Зовут-величают как?

— Петром И по батюшке Петрович.

Они подружились крепко и надолго. Обстрелянный, не раз отмеченный за храбрость красный командир Степан и робкий, не хлебнувший еще военного лиха деревенский паренек Петька. Свою привязанность к молодому лекарю не умел объяснить Степан — нравится, да и все тут! Новичков, похожих на Петра, к их отряду прибывало немало — искренних и неумелых, жаждавших защитить Революцию. По-всякому складывались их судьбы: десятками гибли в первых же боях или становились обстрелянными, заговоренными от пуль и шашек красными конниками. Вырастали в смелых командиров и сами водили бойцов в дерзкие атаки или при первых же неудачах бросали товарищей и растворялись в степном безбрежье.

Молоденького лекаря с легкой руки Степана стали звать-величать только по батюшке. Действовала потерявшая сумка земского врача даже на самых языкастых, кому лучше на зуб не попадать. И пока не вырос отряд в большое, регулярное соединение Красной Армии, пока не объявились в нем настоящие доктора, медицинский авторитет Петровича был непререкаем и высок. Пусть немудреными знаниями обладал сердобольный парень и нехитрые диагнозы ставил — вера в его могущество не колебалась. Завзятый зубоскал, попадая в лазаретную палатку, сматывал с себя браваду и бахвальство, как ненужный бинт, курносый, щедро-веснушчатый лекарь озорство и усмешливость мигом обращал в послушание и покладистость. Не ропща пили микстуры и разные отвары, без стонов выносили неотложные операции. А если падали от боли в обмороки, то потом стыдились этой неизбежной и мимолетной слабости.

И совсем зауважали в отряде Петровича после нелепого и короткого боя в одном из хуторов. Новобранцы были в секретах, они и проморгали белых. На улицах плавал разморенный, сонливый полдень. Бойцы, спасаясь от нещадного солнца, нежились в хатах, лужгали семечки в тенистых дворах, заигрывали с лукавыми казачками.

Вихревым смерчем накрыла улицы конница белых. Внезапность была такой ошеломляющей и столь сокрушительной, что запоздалые команды раздала роковая паника. Уже было трудно разобраться в этой смертельной круговерти, где свои и где чужие. Завихрилось, померкло белый день... Где-то успели организовать красные бойцы, во-

круг какого-то дома завязалась осмысленная оборона.

У крайней хаты, где помещался лазарет, была пулеметная точка. На диком скаку врываясь в хутор, беляки искрошили расчет и ринулись в схватку, которая кипела у пожарной каланчи. Петрович так ничего и не успел понять. Он выпрыгнул из хаты и увидел жуткую картину: изрубленные пулеметчики, замолкнувший, так и не успевший выплеснуть смертельный свинец «Максим». В центре хутора крутился обреченный, неравный бой. Но самое опасное было за хутором. Уверенной рысью, уже ничего не страшась, к околице шли основные силы белых. Петрович рванулся в дом за подмогой, что-то дикое прокричал раненому и метнулся к пулемету. Руки были чужими и неуправляемо плясали на кожухе пулемета, а в голове проносились обрывки инструкции. Перекошенная лента никак не подавалась в прорезь приемника.

Внезапная тень накрыла его, всхрипнула резко осаженная лошадь, и Петрович зажмурился, ожидая сабельного удара. Кто-то жажнул рядом с ним, властно отодвинул его сильным бедром. Петрович в страхе открыл глаза. Степан уже разворачивал тупое и грозное рыло «Максима» навстречу стройной и, как на параде, уверенной белогвардейской коннице.

Петрович плохо помнил тот бой, хотя шла молва по отряду, что не сплеховал он, молодцом показал себя в скоротечной трагической схватке. Смутился и с гордостью посматривал на Степана: вот уж герой так герой! Он тогда с хладнокровной яростью прицельно скашивал заметавшихся на узкой улочке самоуверенных беляков, да отрывисто отдавал команды Петровичу.

Потом разводила и связывала их жизнь. Степан уходил все выше и выше по командирским ступенькам. Он и родился, видимо, для того, чтобы повелевать, водить в бой тысячи людей. О бесстрашном отряде Степана уже слагали песни и стихи молоденькие бойцы, ставшие потом известными композиторами и поэтами. Но знаки различия, так стремительно менявшиеся на Степане, казалось, еще более скрепляли дружбу. Не раз глядели изумленные бойцы, как тискал в своих объятиях легендарный полководец безвестного полкового доктора.

А Петрович после гражданской, осилив рабфак, так и пошел по медицинской части. В профессии и в чувствах он остался однолюбом — синеглазая сиделка стала женой военного врача. Перекатная какая-то жизнь складывалась у Петровича — хоть и не распаковывай чемоданы. Кочевал по дальним и ближним гарнизонам, трудно ладил с начальством, но к высокому заступничеству не обращался. Скручивал свой нехитрый цыганский скарб, легко снимался из казенных комнатенок. В этом суетном передвижении как-то не заметил, что застенчивая Оля расцвела и превратилась в статную и красивую Ольгу Федоровну. Проглядел Петрович, как ухаживания гарнизонных сердцеедов разгрызли их брачные узы, а когда хватился и начал спешно латать семейную обшивку, то осознал, что давно уже опоздал — не было душевного созвучия. Сгорело все, истончилось, померкло — перекатная жизнь разворовала их брак.

В одном из городков Поволжья незлобно расстался, как-то враз устыдясь друг друга. Он — понурый и в последние годы постаревший, она — сжигаемая новым счастьем: на улице ее ждал избранник со шпалой в петлице. Петрович выхлопотал себе перевод и в канун Отечественной обосновался в столице.

В эту ночь Гранат спал прерывисто и беспокойно. И видел день, который уже начал стираться в стариковской, ускользающей памяти. День хлопотный, беспокойный, который нельзя даже сравнить с обычным днем, когда приезжал хозяин. Гранат примечал озабоченность на лицах конюшенного начальства, какие-то бесконечные перетасовки в денниках. И особую атмосферу серьезной праздничности. Его немислимо долго и с особой предосторожностью чистили скребницей, конюх заботливо поправлял торбу с овсом, растирал стройные ноги. Вверх по жилам, против шерсти, и мягко вниз. Гриву заплетали тщательно, не торопясь. Враз посерьезневший ветеринар дотошно искал какие-то изъязвы в подковах, замывал и зачищал ноги, тщательно перерубивая их. Кузнец извинительно разводил руками и в чем-то оправдывался перед дотошным фельдшером. Наконец конюшенные мучения кончились, и Граната вывели на круг. Он привык к ежедневным пробежкам и приблизительно знал их продолжительность. Сегодня, по его конскому разумению, все шло шиворот-навыворот. Разминка была затяжной, но в очень медленном темпе, и парадный шаг ему ставил другой человек.

Поначалу он резко не понравился Гранату. Жеребца оттолкнул острый, сласавый запах его увлажненных, тщательно причесанных волос. От нового человека не исходило ни одного привычного конюшенного запаха. И это отчуждало Граната.

Но уже на круге он потерял свое раздражение против новоявленного воспитателя. Гранат сразу же взял нужный шаг, уловил требуемый ритм и, мощно изогнув шею, начал бросать под копыта зеленые метры, сотню за сотней, сотню за сотней... Неуловимым и ласковым прикосновением человек выправлял стать жеребца. Тонко понимал, когда горделивая осанка может перейти в гордое конское чванство. Граната быстро захватила эта игра-учеба, и, оттого, что все так складно у него получалось, он почувствовал невесомость своего упругого тела, обрел состояние свободного полета.

А потом его привезли в большой и шумный город. Вся торжественность говорила о том, что у людей вернется какой-то значительный и великий праздник. Гранат нес на себе почетного всадника, он нес самого родного человека — своего хозяина. Точные ноги жеребца украшали белые чулки, седло было мягким, грива разобрана и заплетена, волосок к волоску. Волнение людей передалось и Гранату. Жеребец весь подтянулся и все боялся что-нибудь напутать в четком человеческом ритуале...

Когда над площадью растаял последний удар больших часов, седок чуть тронул поводья. Гранат понес его строго и плавно, витанцовывая на скользкой брусчатке. По малейшему приказу замирал, не роняя головы и стати, и тугие шоловизные кобылицы, не ломая строй, но явно нарушая людские приказы, слали ему любовные неслышные призывы. Но ответствен и горд был Гранат. Всем нутром сознавал свою избранность и потому не отвечал на легкомысленные посулы игривых кобылиц. Он ни разу не сбил ритуального шага, не подвел своего легендарного хозяина, не посрамил его высоких наград.

И в этот сладкий сон, спутав годы, вдруг вторглась Пальма. Притаившись в четком строю, она лукавила глаз на статного жеребца, так красиво и важно вышагивающего по застывшей торжественной площади. И здесь сорвался Гранат — подал голос вмиг примеченной рыжей красавице. От испуга,

что сорвал немой протокольный выезд, открыл глаза...

Тихон выскребал деревянный настил и все так же философствовал о жизни:

— Ну, человек говорит во сне — это куда ни шло. А уж лошади... Ох, и времена настали, не дай те господи...

Гранат скосил глаз на соседнее стойло и тревожно потянулся к перекладине. Пальмы не было, а с ней ушли и все ее запахи. Грустно и ласково успокоил жеребца Тихон:

— Теперь не жди. В другую конюшню перевели. К рекордам готовить будут. Да и какой резон ее здесь держать, с инвалидами в соседстве? Перебилась с вами недельку, а теперь в хоромы ушла. Молодых к молодым выстраивать надо. Они силы друг от дружки набираются. И как в башку че зобешь — не пара ты ей! Ох, что люди, что звери — все едино, в возрасте заблуждаются.

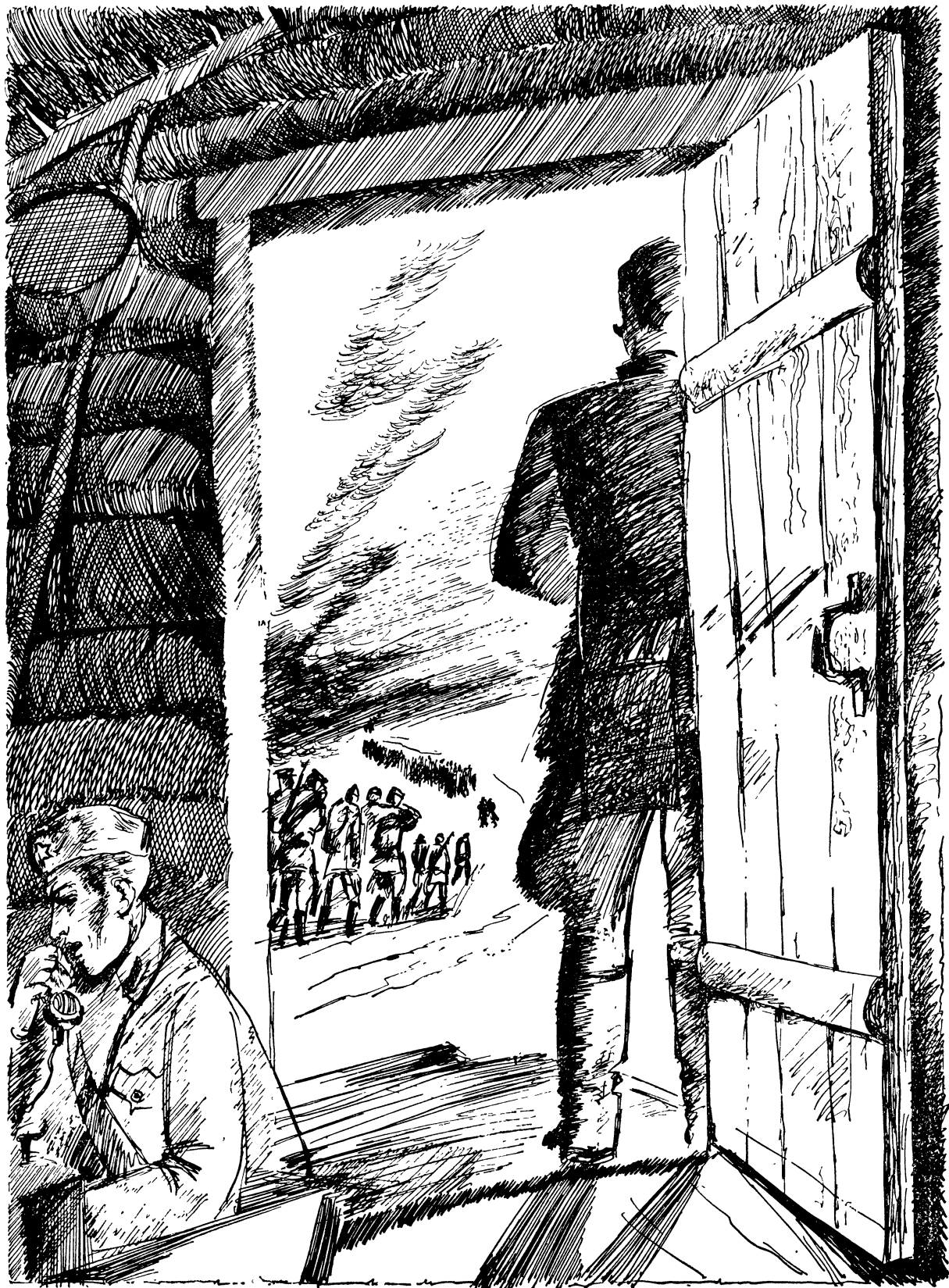
И еще ожесточеннее заработал метлой.



К утру изба выстудилась, и колкий озноб прервал скоротечный и беспокойный сон маршала. Он так и не отдохнул в короткий час затишья. За дощатой переборкой молоденький связист заклинал отозваться затерявшуюся «Двину». В чутком забытьи маршал горько понимал, что, попавшая в окружение, героически дерется часть Поливанова и невероятно тяжело этому храброму командиру биться в отрыве от своих войск. И некому деблокировать вражеское кольцо, чтобы помочь вырваться Поливанову на оперативный простор, — все соединения ведут кровопролитные бои с фашистскими дивизиями, иступленно рвущимися к столице.

Маршал резко поднялся и, проскрипев хромовыми сапогами, вышел на крыльцо. Занимался непроглядный, унылый рассвет. И, хотя маршал уже давно вел изнурительные бои, сполна познал горечь затяжного отступления, все вновь показалось ему чем-то кошмарным, шагнущим из нереальной жизни. Глухая канонада за дальними лесами, слепой посвист снарядов, летевших за деревню. Ломаные колонны отходящих красноармейцев... Понурые, измотанные тяжелыми боями, они стучали стылкими ботинками, ломая заусеницы разъезженной колеи. Эта притихшая поступь солдатских шагов печалила и без того невеселые думы маршала. Завидев его, подтягивались командиры. Осипшие сержанты торопливо выравнивали сбивавшиеся ряды, челноками сновали вдоль строя, понукая пожилых и нерасторопных ездоных.

Угрюмо смотрел маршал на отступающих бойцов. Но теплилась в нем надежда, что еще зацепятся солдаты за подходящий рубеж. Что не последняя земля в этой деревне, а люди с оружием в руках еще развернутся на запад и дадут фашистам сокрушительный бой. Тревожило и огорчало другое — вся улица была запружена скорбными изгнанниками войны — испуганными и беспомощными в своей незащищенности беженцами. Они обреченно катили самодельные тачки с нехитрым, наспех собранным скарбом. Ловили отбившуюся скотину, робко просились на постой и неумело меняли на хлеб свои немудреные пожитки. Беженцы, ночевавшие в деревне вчера, прослышали, что под Можайском выброшен десант и пути туда отрезаны. Люди заматались, запричитали и потянулись в сторону Калинина. Но и оттуда катился встречный поток — фашисты



прорвались к Ржеву, и на большаках орудуют диверсанты.

Политработники сбились с ног, выискивая паникеров и слишком болтливых. Но слухи множились, разбухали преувеличенными, искаженными подробностями. Тут были правда и отсебятина, надорванные нервы и простой страх перед самолетами, которые гонялись за беженцами даже на глухих проселках и убивали всех без разбора.

Что делать с этими растерянными людьми, как уберечь их от бандитских налетов, как внести хоть какую-то стройность в эвакуацию мирного населения? Прорывная сила противника не ослабевала, он вводил в сражения целые корпуса танков, поднимал в воздух сотни самолетов и фланговыми охватами разрезал, дезорганизовывал тылы. Люди срывались с родных мест и беспорядочным половодьем затопляли дороги. Большаки и проселки перемешивались, в армейские соединения вкраплялись тысячи беженцев с плачущими детьми, хилыми стариками, и бойцы помогали страдальцам. Маршал жалел людей, которых его армии пока не смогли защитить, но все же пытался властно вмешаться в дорожное столпотворение. Обособить потоки гражданского населения, пустить их на малохоженные проселки, укрыть лесами и бездорожьем... Ему искренне казалось, что слабеют духом красноармейцы, глядя на выплеснутое человеческое горе, падает боеспособность воинских соединений.

Он как-то поделился своими думами с начальником штаба. Но тот, к его большому удивлению, возразил командующему. Не отвел глаза, сердито боднул седой головой и запальчиво бросил:

— В одном ты прав: маневренность теряем. А то, что видят бойцы,— им на пользу. Вот закрепимся на подходящем рубеже, тогда обернутся все эмоции в бесстрашие и отвагу.— Сочувственно и мягко продолжил: — Терзаешься напрасно, себя зря изводишь. В технике пока превосходят нас фашисты. А мы что— ключи от городов сдаем? Разве прогулочка у них получается? Бойцы стоят насмерть! Только мертвыми отдают свою землю.— И, сузив усталые, покрасневшие от многодневной бессонницы глаза, убежденно закончил: — Выдыхаются, запал уже не тот. Это не по Европе с музыкой шагать. Скоро споткнутся, и уж тогда придет наш черед! Брось ты казнить себя. Поверь, я со многими работал. Да поставь на твое место самого что ни на есть молодого, хоть с тремя академиями Генштаба за плечами,— ну и что будет? Каким чудом он остановит эту бронированную машину, по какому волшебству сегодня же найдет крупные резервы?

Сейчас, совсем озябнув на стылой улице, наблюдая безрадостную картину, маршал обдумывал недавний разговор с начальником штаба. Он храбрый человек, этот уже многое переживший генерал, он все логично и вроде бы правильно анализирует. Но есть и непреложное — личная ответственность командующего за дела на фронте. А они?

Из беспомощного, навалившегося невыносимым грузом оцепенения его вывел щеголеватый, каким-то чудом державший довоенный форс, безусый порученец. Он заботливо укрыв острые плечи маршала овчинным полушубком и тихо позвал командующего в избу.

Воспаленные глаза радиста уставились на маршала — в разворошенном эфире отыскался Поливанов.словно из преисподней, вынырнул на несколько минут и вновь сгинул в пучинах адских боев, гремевших по всему изломанному и разорванному фронту. Радист торопливо протянул командующему бланк донесения.

Поливанов уже не просил помощи. Опытный,

боевой командир, он осознал драматизм своего положения. Знал, что все резервы брошены в бой, а в чудеса он не верил. Поливанов докладывал, что оседлал дорогу на Можайск и пока сдерживает танки противника. Стоит насмерть, несет большие потери. Пока живы, флангового удара по дивизиям Зайцева не допустят. «Вот и еще один...», — гордо и горько подумал маршал.

Сколько таких донесений, скупых и мужественных, прочитал он в последние недели! Закрыв глаза и попытался представить, что делается сейчас там, у Поливанова. Идут и идут фашистские танки, просачиваются в наши тылы настырные и храбрые при броневом прикрытии вражеские автоматчики.

По цепям сторожайшей приказ — беречь боеприпасы. И последнее — рукопашная. Он уже не раз видел эти неравные и ожесточенные схватки. Когда схлестывались броня и мужество, когда вставали навстречу стальным громадам презревшие смерть советские солдаты. Они успевали метнуть зажигалку в ненавистное чудовище и рухнуть замертво на родную землю. Безвестные и вчера еще мирные храбрые не раз потрясали сердце маршала отвагой, когда бросали на весы боя последнее — русский штык! И столько святой ненависти взрывалось в рукопашной схватке, такая ошеломляющая смелость несла цепь атакующих, что скручивало фашистов ледяным страхом — и уж тогда отводил душу советский солдат!

Наверное, и Поливанов, расстреляв боезапас, поднимет людей в штыковую. На последний и такой нужный сейчас бой. Он грамотный и самоотверженный командир. Поливанов знает, что только под его прикрытием и сможет развернуть свои дивизии Зайцев.

Начальник штаба расстелил карту, растерзанную жирными синими стрелами. Охваты, мешки, глубокие обходы. Зло подумалось маршалу. поди, ликут фашистские штабисты, оперативным искусством кичатся. Будто и впрямь их генералы — творцы всех этих смертельных обхватов и мешков, вроде бы наши полководцы не знают всего этого. С такой техникой охваты — дело нехитрое. Повоевали бы с трехлинейкой образца бог знает какого года...

«Ну, ничего, — яростно подумал маршал, — скоро соьем спесь, научим и окапываться».

Он верил и ждал, что со дня на день начнет подходить могучая и грозная техника и тогда, ох, как огрызнутся моторами и скорострельными пушками его основательно потрепанные части!

Маршал резко отключился от пустых пока мечтаний — начальник штаба требовал его внимания. Пристально взгляделся на карту.

— На какой час обстановка?

— На шесть ноль-ноль, — смутился генерал, — но приблизительная.

— Со связью как?

— Кроме Поливанова, в эфир не вышел никто...

— Где офицеры связи?

— Вернулся только один.

— Зови.

Лейтенант Бережных, тучный для своих двадцати пяти лет, с конопатым мальчишеским лицом, истомленными, пригасшими глазами, растерялся при виде высокого начальства. Рапортовал не по-уставному цветисто:

— Туда я мчался нормально. Потом, это самое, попал под огонь, хотели потешиться фрицы... В гражданке я мотогонщиком был и всякие фокусы вытворял на машине...

Маршал резко перебил очерковый доклад и, придвинув карту к лейтенанту, сухо спросил:

— Где вас обстреляли?

Палец офицера неуверенно елозил по бумаге и наконец остановился на голубой ниточке лесной речушки. В той точке, где она пересекала малоприметную полевую дорогу.

Выходило, что и дивизия Кондратюка не свободна в маневре, ее фланги атакуют неизвестно откуда прорвавшиеся танковые группы. Если им удастся вклиниться на стыке Зайцева и Кондратюка, ни о каком контрнаступлении не может быть и речи. Что делается сейчас у Кондратюка, какими реальными силами он располагает, в какой мере сможет поддержать встречный удар в незащищенное подбрюшье растянувшихся дивизий Дейница? Маршал оценивающе взглянул в робовещего лейтенанта:

— Вот что, лихой мотогонщик. Пешком ли, ползком ли, а к Кондратюку пробейся. И назад живым вернись! Струсишь, повернешь назад — помни: не одобровать. Все!

Подшел адъютант, подтянутый, озабоченный. Благоговейным шепотом позвал маршала — звонил высокочастотный аппарат. Маршала требовал к проходу Верховный Главнокомандующий.



То давнее забылось, отошло вглубь, в старческих сумерках поблекла и размылась Пальма. И только когда Тихон ненароком поминал ее кличку, что-то тревожилось у Граната внутри, и эта присохшая печаль заставляла жеребца беспокойно перебирать ногами и напрягать слабеющую память.

В целом-то он сытно и обласканно доживал свой уходивший век. Раз в неделю Тихон выводил его на круг, тайком от всех. Когда разъезжалось заводское начальство по домам и разводили по конюшням молодых лошадей. И уже никто из конского племени не видел рыси жеребца, которую и рысью-то не назовешь, никто не был свидетелем неуверенного, расхлябанного шага, кричавшего о глубокой старости коня.

Гранат любил конюха преданно и тихо. Но даже ему не мог поведать, как он скучает о сильном и ловком своем хозяине. С его образом сливалось все радостное и яркое, что грезилось в долгих ночных видениях, в полузабытых картинах, которые проплывали теперь нескончаемой чередой. Гранату не под силу одолеть логику людских поступков, и ему трудно понять, почему же хозяин постоянно не бывает с ним, что удерживает все годы любимого человека где-то вдали, откуда он появляется редкими наездами. И еще одно недоступно конскому разумению — почему-то в последние годы властный наездник не взлетает так пружинисто в седло и не толкает его в хороший, свистящий бег. Время в конюшне течет уныло и однообразно. Сколько же дней прошло с тех пор, когда он видел хозяина в последний раз?

Гранат помнит только, что на дворе дразняще пахло свежей травой и недавно прошедшим дождем. Что где-то в стороне стоял гул и колыхалась людская толчея, а здесь, на окраинных владениях конзавода, было тихо и привольно. Булькала о чем-то вода в студеном ручье, басовыми струнами звенели слепни, и Гранат лениво отмахивался хвостом. Видно, Тихон обо всем знал, и спозаранку они приковыляли сюда, подальше от насмешливых глаз и пустопорожних разговоров.

Хозяин, а это сразу заметил Гранат, вышел из машины не один. Какой-то молодой мужчина поддерживал его под руку, и они двигались к жеребцу, не торопясь, осторожно ставя ступни в траву,

будто под ногами у них была перепаханная земля. Тихон прытко кинулся навстречу, а по коже Граната прокатилась мелкая дрожь. И от неожиданной и радостной встречи ему захотелось сильно изогнуть шею и окликнуть дорогого человека звонким ржанием. Но опущенная, склоненная долгими годами голова не послушалась, да и голос сорвался, так и не издав трубного приветствия. Хозяин подошел к Гранату и устало припал к его редкой, посеребренной гриве. Долго и сокрушенно молчал. Гранат притих и мелко подрагивал, как на утреннем морозце в ночном. Он терся о рукав родного человека и неосознанно понимал, что стар и беспомощен его хозяин. Рука его была такой же теплой, но не чувствовалась в ней былой силы. Да и голос, заставлявший с одного слова подтягиваться Граната и готовно выполнять любую команду, смазывался острой хрипотцой и тяжелым, неровным дыханием. Тихон и другой человек отошли в сторонку. Не мешали хозяину и ему, Гранату, вдосталь помолчать...

Время бежало быстрее, чем в опостылевшей конюшне. Хозяин вскоре начал собираться обратно. И как ни тыкался Гранат своей мордой в плечи человека, как ни волновалось у него все внутри, — видно, постаревший хозяин так и не понял лошадиную думу. А думалось Гранату, что никогда они больше не свидятся. И потому так не хотелось ему отпускать своего друга...



Колючий ветер просачивался в салон машины, и маршал зябко ежился от пронизывающего холода. Потертая шинель плохо держала тепло, и он корил себя, что впопыхах забыл овчинный полушубок. Степан Иванович сумрачно поглядывал по сторонам, и на душе у него было мутно, сиротливо. Он понимал, что встреча с Верховным не сулит ему радостей, — докладывать было нечего, оправдываться трудно. Он слишком долго работал рядом с ним и хорошо изучил характер этого самобытного и всегда неожиданного человека. Перед усталыми глазами Степана Ивановича встало лицо Верховного с доброй, но снисходительной усмешкой в седеющих прокуренных усах, его спокойный, вопрошающий взгляд.

Маршал звал Верховного Главнокомандующего всяким. Лукаво-открытым, когда его шутило настроение невидимыми импульсами передавалось окружающим. Беззаботно смеющимся, увлекавшим всех в безотчетное веселье. Они не часто выдавались, эти мгновения, когда, казалось, рушилась воздвигнутая годами стена между ним и его сподвижниками, и за дружеским столом он шутил колко, но не обидно, и если тонкая ирония достигала цели и воспринималась всеми, то смеялся азартно, забыв на время о всех своих высоких обязанностях...

Но и в товарищеском застолье каждый, а этому научил многолетний опыт, мысленно проводил ту демаркационную и незримую линию, которую переступить могли только немногие. Беззаботное веселье никогда не переходило в не знающую границ фамильярность.

...Пулевая стежка прошла дорогу. Стальными заклепками ударила по кузову. Споткнувшийся автомобиль пополз в кювет. Удивленно ойкнул порученец, враз обмяк и съехал с сиденья. Маршал каблучком вышиб дверь и скатился на землю. Шофер короткими очередями поливал замороженный кустарник. Оттуда били длинными, прицельными порциями. Машина охраны волчком крутилась на дороге, высыпая из себя бойцов, которые занимали круговую оборону.

Нападавшие были в красноармейской форме, но команды неслись чужие.

«Диверсанты,— мелькнуло в голове маршала.— Глупее трудно придумать смерть».

Кто-то из бойцов протянул ему автомат. Маршал высматривал набегавшие фигурки, экономно стрелял. Встрел огонь по людям, одетым в советскую форму, было жутковато. Но чужие, гортанные команды... Маршал беспощадно нажимал на спуск.

...Некстати вспомнилось, как в гражданскую вот так же нелепо угодили в засаду. Ну, тогда азартен был и горяч... Слишком увлекся погоней и залетал в тыл беляков. Один-единешек. От изумления золотопогонники даже сабли опустили. Он вздыбил жеребца, перекинул шашку в левую руку и пошел крушить направо и налево. Прорвал кольцо, на свистящем скаку рванулся за околицу. Когда офицеры опомнились, он был уже далеко. Повизгивали пули, храпел жеребец. Какая-нибудь шальная и могла достать на излете.. Но выручил конь, унес седока от смерти... Тогда молод был и горяч...

А теперь...

«Вот тебе и проселок, вот и выиграл время»,— остервенело распекал себя маршал.

Диверсанты обрадованно сообразили, какая удача ждет их. Они стали осмотрительнее, не лезли под реденький огонь маршальской охраны... Неумолимо и хладнокровно затягивали петлю.

«Еще полчаса, и все будет кончено»,— безнадежно подытожил маршал. Он крикнул, чтобы берегли патроны. Фашисты змейками извивались на терне, ползли, ползли...

И, как назло, дорога была пустыня. Нервную перестрелку наши не слышали.

Слева в ложбинке скопилась группка диверсантов. Готовилась к последнему броску. Шофер вопросительно посмотрел на маршала. Понимающе кивнул. Угрюмо вставил капсюль в гранату.

«Как он ползает по-пластунски! — восхищенно оценил маршал.— Не знал. Да и что я вообще знал о нем?»

Парень, слившись с мерзлой землей, неумолимо подвигался вперед. Навстречу смерти. Впечатался в стерню... Выждал... Диверсанты проморгали роковое мгновение. Шофер взметнулся сгустком напряженных мышц. Ненавистно, с крестьянским гаканьем, швырнул гранату. Огневой, дымный всплеск накрыл ложбинку...

Маршал тревожно глядел вперед: неужели не встанет? Нет, слишком близко подполз отчаянный шофер — осколки уложили на землю парня. Он раскинул усталые руки рабочего человека и навечно лег на свою землю.

«Запоминай, запоминай,— молоточки били в виски маршала.— Разве с такими парнями можно дальше отступать?»

Дерзкая вылазка шофера на какое-то время охладила диверсантов, отодвинула развязку. Вокруг маршала теснее сбились бойцы охраны. Степан Иванович понимал, что надо сжечь документы и карты, но времени, не решался на крайний шаг. Теплилась надежда: подойдут свои, выручат. Он растегнул планшетку, глазами приказал начальнику охраны: «Что случится со мной — сделаете вы». Тот готовно поднялся к маршалу, с излишней бодростью пропел: «Продержимся, не погибнем, товарищ маршал!»

«В Ставке, поди, недоумевают, почему не явился,— размышлял маршал.— Да разве там можно представить, что в пятидесяти километрах от столицы такая катавасия заварилась. И объяснять будет нелегко... Словно необстрелянный мальчишка, угодил в капкан...»

Но что это? За ближним лесочком раскатилась глухая дробь выстрелов. Вспыхнула надежда — а вдруг свои? Диверсанты огрызнулись огнем. Винтовочные залпы в лесу густели, приближались к дороге. Кто-то спешил на выручку — фашисты увязали в нежданно вспыхнувшей перестрелке. Но неоправданно рано поднялся маршал — автоматная очередь вновь бросила его на землю. Каким-то чудом пули промчались выше головы.

«Не пори горячку, остепенись,— успокаивал себя маршал.— Подмога идет, теперь минуты не решают дела».

Из-за леска вытягивался интендантский обоз. Вооруженные кое-как, пожилые ездовые смело атаковали диверсантов. Укрыв в кустах повозки, они расчетливо заползали в тыл врагу. Стреляли основательно, не спеша. Усилили огонь и бойцы охраны, смелее выдвинулись вперед. Командир диверсантов резко и повелительно заорал на своих солдат. Он требовал уничтожить штабные машины. Отчаянными перебежками «красноармейцы» ринулись вперед. В руках маршала вновь задержался автомат. Диверсанты падали, но безрассудно бежали к машинам. Семь, пять, три, один...

Он прыгнул к маршалу, выхватил «парабеллум». Но выстрелить не успел. Сзади вырос немолодой красноармеец. Размахисто и грузно всадил штык в спину фашиста. Тот подломился, но развернуться успел, щелкнул двумя выстрелами. Подоспевший на выручку ездовой кряжисто осел на землю. Предсмертно выдохнул:

— Должок возвернул вам, товарищ маршал... Спокойным теперь помру.— И завалился к колесу машины...

Бой стих, и оглохшая тишина застыла на дороге. Маршал устало поднялся, нагнулся к ездовому. Адьютант вытащил документы, протянул красноармейскую книжку.

«Рядовой Скобелев, 1900 года рождения»,— прочитал маршал.

— К ордену, посмертно,— приказал адъютанту.

Из бойцов охраны осталось трое. Среди ездовых нашелся шофер. Покопдовал, повозился с машиной. На руках вытащили ее из кювета. Выстрелил синий дымок, заколотился мотор. Не остывший еще от боя и страха интендант выделил ездовых для охраны маршала. Машина выбралась на дорогу...

...Стылое, настороженное Подмосковье плыло за окном, а мысли маршала шли по одному тревожащему кругу: каким сейчас он увидит Верховного, что выслушает, какую надежду обретет, что получит для своего фронта? Загадывать было трудно. Голос помощника, как всегда, звучал ровно, и нелегко было по этой службой выработанной интонации определить настроение Верховного. Помощник был лаконичен и вежлив. вас хочет видеть Главнокомандующий...

☆☆☆

Два раза в год на конзаводе устраивались шумные, разноязыкие аукционы. Покупатели, ценители и знатоки породистых лошадей, съезжались со всего света. За несколько месяцев до коммерческого и зрелищного мероприятия со всей страны свозили сюда разнопородных и показавших себя на первичных просмотрах перспективными лошадей. И несусветное столпотворение начиналось тогда в конюшнях! Нет, помещений хватало всем, и каждую лошадь определяли на приличествующее ей место — просто чужаки вносили в устоявшийся быт суматоху, неведомые доселе запахи, прихваченные из разных мест большой страны, разлетались по

денникам, заставляя старых лошадей заново переживать свою юность, вспоминать давно забытое. Эти новые ароматы, чужое ржание будоражили кровь, поднимали из самых глубин примирившегося сознания тоску по воле, по степным просторам. По забытым и навсегда потерянным родным табунам...

Задолго до аукциона преображались и люди, все их поступки наполнялись каким-то нервным ожиданием, чрезмерным усердием, они делались хлопотливыми и особо внимательными к своим лошадям. В обычные дни конюх мог пропустить утреннюю чистку, чуть припоздать с кормом. Но теперь людская дисциплина отличалась безукоризненной четкостью, слаженностью. Конскому уму не дано уловить причины человеческих метаморфоз, но каждый конюх тайне верил, что на его лошадей падет выбор привередливых покупателей, и потому старался вовсю. Случись такое — и пойдут благодарности, вырастут премиальные, заметят и продвигнут по службе...

В этой людской суете совсем одиноким и никому не нужным чувствовал себя Гранат. По долгому опыту он знал, что лихорадочная возня пройдет от него в стороне. Наоборот, в этом оживлении он лишняя гиря на заботах конюшенного начальства. Поэтому веселые праздники печально отзывались на его стариковской доле. Видно, так распорядились люди, что Тихон в эти дни появлялся у него редко, его куда-то посылали, он все время кому-то помогал и только урывками навещал Граната. Как всегда ворчливый и по-своему оценивающий все события в людском мире, он присаживался на перекладину и в обычной ироническо-вопросительной манере начинал просвещать жеребца:

— Ну, хочь так скажем... На шестнадцать процентов больше приехало, ну и что с того? Еще кошельки их не знаем — раз, цены какие встанут — два. — Выразительно загибал корявые, прокопченные дымом пальцы. — Как ни крути, а базар есть базар, хочь укционом его назови, и от закоперщика все идет... Рехнется какой-нибудь толстосум, спанталыку назовет кругленькую сумму — и пойдет, покатится губерния... Кураж начнут держать, чтоб, значит, свою державу не уронить. А за фасон раскошеляться надо... Вот тут самое время в цене не сдавать. — Закатился прокуренным смехом, прокашлялся и убежденно закончил: — А на их кураж — наш принцип. Товар пригож — бери, а нос воротить, так и катись в свою державу фунты-марки считать.

Гранат во время полемических монологов Тихона проникался к нему каким-то особенным сочувствием, жеребец косил теплый глаз на петушившегося конюха, которому в людском мире, видимо, так не хватало внимающего и все понимающего собеседника...

Покупатели расхаживали по кругу, все цепко примечали, прицельно прикидывали шансы лошадей, восхищенно и расчетливо взвешивали, а в день аукциона остервенело торговались за каждую копейку.

Тихон и в этот раз вывел Граната на шумливое коммерческое торжество. Они робко пристроились за кругом. Жеребец устало разглядывал малопонятное и яркое веселье. Носились по кругу жеребцы и кобылы, опыненные волей и людским азартом, лонились упругими, играющими мышцами, а липкие взгляды покупателей выхватывали из этого парада то одну, то другую лошадь...

Только раз взволновался Гранат — его последнюю избранницу, его Пальму, вел под уздцы невысокий, чернявый и раскосенный человек. На чужом языке что-то говорил и говорил неостывшей, трепещущей лошади...

Приемная Верховного Главнокомандующего встретила маршала скраденным зеленым светом — горели только настольные лампы. Пустая, властная тишина, стывшая в этой строгой и всемогущей комнате, да и сам помощник, как всегда, поздоровавшийся учтиво и ровно, — все это показалось маршалу нетронутым островком вчерашней, еще не избранной жизни. Помощник извинительно придвинул кресло и всем своим обликом радушного, но подчиненного человека пояснил: просит подождать...

Маршал принаравливался к успокаивающему свету, к врачующей тишине. Но мысли вихрились вокруг Поливанова; он думал о командире и его людях в прошедшем времени, и мерный ход маятника больших старинных часов, казалось, уже отсчитал их время... Нельзя сказать, что с годами маршал научился думать о жизни отдельного человека, ценить и беречь ее; просто сама его доля, вручившая ему сотни тысяч человеческих судеб, дисциплинировала мозг, обязывала маршала рассуждать и думать неохватными, глобальными величинами. И только что родившаяся жалость была мигмом подавлена масштабами и критериями командующего фронтом. Все его думы сейчас пресовались в одном: удастся ли Кондратьюку развернуться для сильного встречного удара? Это единственный тактический шанс, о котором можно доложить Верховному Главнокомандующему.

Он что-то долго не приглашал к себе. Степан Иванович понимал, что это не нарочно, что дел и забот у Верховного выше всяких сил, но все-таки выразительно поглядел на помощника. Тот мгновенно уловил нетерпение маршала, резко оторвался от бумаг и доверительно, весь внимание и сочувствие, поделился:

— Все там. Уже давно. — И как человек, посвященный в дела государства, скупко сообщил: — Тревожные дела... Голод душит Ленинград...

Отмерив допустимую дозу информации, не подчеркнув ни голосом, ни позой никакой своей исключительности, деловито и привычно вернулся к бумагам.

Степан Иванович глубже втиснулся в кресло и еще раз заставил себя настроиться на долгое ожидание.

...Мысли маршала неожиданно споткнулись на больших и тяжких раздумьях и вернули его в далекий день робкого московского предлетья. Когда первое тепло только примерялось к столичным бульварам, пробно обдувало кривые переулочки и уже спрямленные улицы. Мягкий ветерок заигрывал с девичьими платьями и вихрил мальчишеские стрижки.

Он вышел на улицу после тревожно-острого соображения. В вопросах военной стратегии вдруг бескомпромиссно схлестнулись две разные точки зрения. Одни, а их оказалось большинство, веровали только в победоносное наступление. Другие не отвергали и возможные оборонительные бои. Защитникам первой концепции было легче и выигрышнее — их доктрина дышала оптимизмом и патристической уверенностью. У вторых аргументы были не привлекательные, и некоторые выступающие ставили перед ними каверзный вопрос: а к лицу ли пролетарскому Отечеству обороняться? И срывали шквальные аплодисменты...

Он брел по улице и неуютно, пакостно было у него на душе: по строгой совести, маршал не чувствовал себя окончательно правым, критикуя приверженцев второй доктрины. Злился на себя, что, не будучи уверенным до конца, все же бросил свой авторитетный голос на весы первой группы. Эти ду-

мы растравляли душу, размысливали убежденность в позиции, только что занятой им на высоком совещании...

Ему так остро захотелось увидеть кого-то из близких друзей, сбросить с себя давящий груз непокойных забот, что, лихо обманув адъютанта, он неожиданно позвонил Петровичу...

Они сидели на открытой веранде Парка культуры, не спеша шелушили ломкие рацы хвосты, прогоняли жажду прохладным и пенистым пивом. Малолюдная в этот час веранда позволяла друзьям побыть одним — любопытные зеваки не разглядывали маршала в упор, а к заведующему, который всю тарачил глаза, друзья привыкли быстро. Старались не замечать этого, смешного в своем нерасторопном усердии руководителя торговой точки. Говорили о том, о сем. Вспоминали молодость и тех, кто прошел рядом. Кого уже нет... Несколько раз пытал Петровича маршал — и так и сяк подкатывался, — не нужно ли чем помочь, но все время наталкивался на дружеский, но непреклонный отказ. Уразумев бесплодность филантропических порывов, перевел разговор в другое русло:

— Что поговаривают? Будет война?

— Так вам наверху виднее...

— Ну, а если?

— Что если? — Петрович резко поставил кружку на стол, вытер с губ пену и уверенно пробасил: — Сунутся — и разобьем всех, как в гражданскую!

Маршал не отступался, обострял разговор:

— А ну как прорвут да рванутся в глубь страны?

Протер очки Петрович, согнал с лица добродушную усмешку:

— Кто они? Что-то много у тебя «если» да «ну». Загадками говоришь, душу тревожишь. Какой-то беспокорный, сумятильный ты. Уж не слышно ли чего? — Вопросительно оглядел собеседника, но не уловил тревоги на лице друга. Убежденно изрек: — Дальше границы им пути нет. Так встретим, что и костей не соберут. Это, брат, не гражданская, теперь с нами шутки плохи...

— Так у них танков и самолетов тьма. По всей Европе с музыкой прошлись.

— По Европе? Там дороги хорошие... А здесь Россия... С таким форсом не прокатишься. Мы же летаем быстрее всех и дальше всех. — Лукаво посмотрел на маршала... Враз повернул разговор: — Лучше о другом скажи. Что это за непонятная дружба с Берлином началась? Вам виднее, конечно, кого на званые обеды приглашать. Для того вам и власть дана. Только мое соображение другое.

— Так поделись, не тай в себе, — угрюмо огрызнулся Степан Иванович.

— Какие уж тут тайны! К большой войне вступление сыграли. А с кем война-то? Куда они ринутся, кто поперек горла фашизму встал?

Петрович разошелся вовсю, и маршал не мог подобрать нужные аргументы, чтобы сбить запальчивость друга. Обычные слова говорить не хотелось — их каждый день читал в газетах Петрович. Рассказывать же о большой, вынужденной гибкости, о бесплодных переговорах с представителями западных держав не имело сейчас смысла...

Помнится, ушел тогда Петрович насупленным и недовольным. На свои ясные и бесхитростные вопросы он не получил прямых ответов и, конечно, обиделся. Добрый, но легкоранимый, он несколько месяцев не давал о себе знать. Не отвечал на телефонные звонки, избегал даже случайных встреч. И только спустя неделю после начала войны из санитарного поезда бросил открытку. Не преминув уколоть в постскрипуме: я был прав на сто процентов...

И теперь, в затянувшемся ожидании, в этой настороженной приемной, в висках телеграфно стучало: «прав», «прав», «прав». Маршал так углубился в тревожную задумчивость, что не сразу сообразил, — предупредительный и неслышный помощник приглашал его в главный кабинет страны...

Верховный чуть быстрее обычного прохаживался по комнате, и сидевшие за столом поворачивали головы по ходу его движения. Зеленое сукно стола закрывала крупномасштабная карта. Энергичным кивком поздоровался с маршалом. Резко остановился напротив. Вприщур посмотрел на серо-землистое, изнуренное лицо маршала, на его погрубевшую и усталую фигуру. Как-то сочувственно ухмыльнулся в зажелтевшие от табака усы, несколько раз покачал головой. Ничего не сказав, зашагал к маленькому столику. Зашелест бумагами, нашел нужную среди них и глуховатым, монотонным голосом начал:

— Вот инспектора пишут... Что на фронте хромает оперативное руководство войсками, штаб допускает много промахов, не справляется с директивными указаниями Ставки. Отмечают, что падает дисциплина в войсках, отдельные командиры много отсебятины допускают, какими-то атаманами себя чувствуют...

Грустно опустил на стул. Неторопливо, одну за другой ломал папиросы «Герцеговина Флор», сосредоточенно уминал большим пальцем табак в трубке. Маршал так и не понял, что это — вопрос к нему и должно отвечать или просто констатация фактов... Потому насупленно молчал. Тишина застыла в кабинете, стала густой, чреватой взрывом. Маршал, скользнув взглядом по лицу Верховного, тоже заметил, что сильно осунулся тот за последний месяц... Нервный румянец держится на щеках и оттого оспинки, малоприметные в спокойной обстановке, сейчас выступают рельефными точками, обнажая болезненность и усталость этого человека.

Наконец трубка раскурилась, и, пыхнув сизое облачко дыма в густую, опасно затянувшуюся тишину, Главнокомандующий вновь зашагал по кабинету. На одном из поворотов бесстрастным голосом спросил:

— Так все и есть на самом деле?

Маршал тяжело вздохнул, одернул китель, устало ответил:

— Во многом правда. Указаний Ставки не выполняем — отступаем. А раз отходим, то и оперативное искусство не на высоте. Хотя... Но, видимо, прежде чем возражать, рубанул ладонью вязкую тишину.

Скрип сапог по паркету и ровный, требовательный голос:

— Продолжайте, продолжайте. Обо всем хотим услышать от вас.

Маршал поймал оборвавшуюся нить рассуждений, выровнял голос, продолжил:

— Хотя.. в основном горькая правда, но насчет отсебятины и атаманства... Обидно за командиров. Это и хорошо, что самостоятельны, головой думают. А что в окружении прикажете делать? Да если связь с вышестоящим начальником потеряна? — Помедлил, собираясь с духом, обрел смелость. — Буквоеды писали бумагу...

Напряженно замолчал. Неслышный ропот прошел за столом. Но скрип сапог был таким же ровным. Только из-за спины услышал маршал голос, в котором росло раздражение:

— Допустим, параграф, а не суть обстановки увидели. Но скажите нам, — протянул ладонь в сторону молчаливого стола, — ответьте, где же остановиться думаете? Этак и Москву ненароком проскочите.

— За любую складку цепляемся, каждая высотка кровью полита.

— Много крови — плохое утешение. Жизней положили — не счесть, а результаты?

— Танки житья не дают. Рвут оборону, дезорганизуют тылы, рушат армейские выдвиги.

— Вы раньше танков не видели? Истребителей вперед выдвигайте, в ударные кулаки части сводите. Контратаковать надо смелее, встречные удары наносить.

— Да нечем... Резервов бы фронту...

Ровный доселе голос сейчас раскатился нервным и злым смешком. Верховный подошел к столу, пристально взгляделся в карту:

— Ишь чего захотел... Резервы! Будь они у нас... Тогда с делами фронта и пехотный капитан управится... На то вы и маршал, чтобы не только количеством воевать, но и умением. Стратегической грамотностью побеждать.

Холодный рассудок не успел удержать обиду и сгоряча огрызнулся маршал:

— Значит, нет у меня этой оперативной грамотности.

— А вы на похвалу не набивайтесь. И обиду при себе оставьте. Это уж нам решать... — И опять энергичная ладонь в сторону стола. — Есть или нет... — Уняв нечаянную вспышку, Верховный подсел к большому столу. — Мы тут не барышни в дворянском собрании. Вопрос идет о жизни и смерти пролетарского государства. И собрались не для того, чтобы нервы друг у друга щекотать. Ваш фронт сейчас — общая наша забота. За ним ведь только Москва. А положение на фронте тяжелейшее. И объективные трудности берем в расчет и про героические сражения отдельных подразделений знаем... Но речь идет о фронте. Вы командующий, вам и ответ держать...

Опять не дождался маршал конца монолога Верховного, опять нетерпеливо и обидчиво вклинился:

— Раз вопрос стоит так, я готов написать рапорт!

— А вы бумажкой не размахивайте, только что сами нелестно о буквоедах говорили. Нам не рапорт нужен, а немедленная стабилизация на фронте. Решим отстранить от командования — никакая бумажка не поможет. Возвращайтесь к войскам и держите Ставку в курсе событий. Мне звоните в любой час, кроме... — Споткнулся, но сразу же продолжил: — Да что кроме, если перелом какой — поднимайте с постели.

В приемной помощник Верховного предупредительно протянул маршалу голубой листок. Начальник штаба доносил, что Кондратьюку все-таки удалось выйти на оперативный простор и он наносит встречный удар в незащищенное подбрюшье дивизий Дейнича. Перед глазами Степана Ивановича во всей пугливой растерянности встало лицо лейтенанта Бережных. Тепло и благодарно подумалось о мальчишке: жив ли ты теперь, лихой мотгонщик?



Долго не было нового квартиранта в стойле Пальмы, и совсем выветрились, навсегда ушли ее запахи. Лишь изредка поглядывал Гранат на знакомую перекладину, на которую любил он класть голову, когда любовался рыжей красавицей. После того коммерческого торжества, когда раскосый чернявый человек увел кобылицу и Гранат окончательно понял, что не видеть ему больше Пальму, пустота вокруг и щемящее одиночество стали особенно тяжкими.

В последние дни куда-то запропастился Тихон, и без его привычных разговоров и неуклюжих, но душевных ласк было совсем сиротливо. Гранат тоскливо поглядывал в сторону открытых дверей, с надеждой ожидая каких-то резких перемен. Но все было привычным, неизменчивым, и его лошадиное предчувствие не сулило чего-нибудь значительного, неожиданного.

Как-то накоротке заскочил Тихон. Нервный, всклокоченный, красный лицом и говорливый. Он дохнул на коня отталкивающим и таким нелюбимым запахом. Жеребцу стало еще тоскливее. Когда так перегарно и неприятно пахло от Тихона, это значило, что не жди его несколько дней. Такое случалось с конюхом, и Гранат наперед знал, что будет потом. Притихший и виноватый, придет Тихон в стойло, станет извинительно и жалостливо плакаться на свою судьбу. Из большого черпака беспрестанно пить студеную воду, подолгу и путано оправдываться перед начальством. Так или почти так проходила явка Тихона с повинной. Денек-другой начальство воспитывало конюха и даже заглядывало в сумрачный угол, а потом про него вновь забывали, и все входило в привычное русло.

На этот раз свою виноватость Тихон выложил сразу. Не перед начальством, а перед ним, Гранатом. Он уткнулся в конскую гриву, дрожжущие руки кинул на шею жеребца и сбивчиво запричитал:

— Ну, не вороти морду, скотина разлюбезная. Ну, выпил чуть, ну, не любишь пьяных! Но и понятие должен иметь, в положение войти. Пью не я, а пьет наше с тобой горе. Хозяину уж больно плохо, помирает он. Такой казак, такой человечик! Ты чуюшь это, аль нет, скотина бессловесная?

Гранат косился на плачущего, мигом съежившегося Тихона и уже не бунтовал против ненавистного запаха — он всем существом своим ощутил глубокую тревогу. Что-то страшное надвигалось на них с Тихоном. Из уст конюха он никогда не слышал такого печального рассказа о хозяине. Наоборот, когда он сообщал о скором приезде их общего любимца, его голос становился уверенным, шумливо-хвастливым. Он специально повышал его, чтобы обо всем слышало начальство и разная конюшенная челядь.

— Сколько войн прошел, какую храбрость выказал. Наград, героизма, а душа какая? Да и по здоровью кремень, а вот поди ж ты, слег... — Боясь, что не осознал Гранат, какая беда надвигается на них, стал торопливее, резче в словах и жестах: — Думаешь, грипп какой или простуда сезонная? Да таких-то болезней не звал маршал. От пуля загворенный, он зазя не ложился в постель. Это другие чуть что, стекляшку под мышку — да под перину. От работы отлынивать. Таких людей, как твой хозяин, по пустякам жизнь не уложит, таких она рушит сразу...

От тревожности и беспокойства Гранат начал переставлять ноги. Пол в стойле заскрипел, доски задвигались. Тихон по-своему истолковал поведение жеребца и схватился за спасительную мысль:

— Иль думаешь, выдюжит, не уломает его проклятая, а? Может, ты и прав, а вдруг чудо? Ведь заслужил его маршал, всей жизнью своей заслужил. Да что далеко ходить. Возьму кума своего... Хоть и родня, а так, дрянь человечиска. Все тишком, все в стороночку. Бельесые глазки свои закатит и бубнит: моя хата с краю. мы люди маленькие... А за дрянной свой век столько в хату натаскал, что и черту на печку не вскинуть. И вот слег куманек на троицу, вся сила вышла. Да и годков-то восемь десятков стукнуло. Доктора приходили, больничные и повыше. И все бабке его одно толкуют — от силы житья неделю. Рак, стало быть, признали. Стару-

ха, по чести, не так уж изводилась: попил он ее кровушки, кулак проклятый. Всю жизнь в забитых ходила... Да и куманек вроде смирился с гордыней. У бабки прощенья даже просил, иконку затребовал. Ну, пошагала она на троицу к заутрене. А супостат-то ее поднялся, первач отыскал. Почитай литру и выжрал под огурчики да свининку. Она, дура старая, домой семенит, торопится — уж не преставился ли ее супруг? Глядит и глазам не верит. Лежит он розовый да богатырским храпом стены сотрясает. С тех пор рак как рукой сняло. Ходит теперь голем по деревне. Что ему делается-то? Так, потреблять поменьше стал да бабушку бросил поколачивать. — Тихон приосанился, одернул рубаху и требовательно спросил у Гранаты: — А теперь скажи: есть она, справедливость? От плюгавенького человечешки смерть отступилась. А здесь... Всегда в строю, всегда за власть народную. Всю жизнь сабля наголо!

Крепко прижал лошадиную морду к своей впалой груди. Расцепил объятия и, пошатываясь, продолжая разговаривать сам с собой, вышел на улицу...



Разномастный состав лязгнув буферами, жалобно заскрипел разошедшимся деревом. Старенький паровоз задохнулся в дымной гриве, нутужно засипел и потянул вагоны в зеленеющий кустарник. Маршал остался на прогнувшейся, источенной дождями, вытертой тысячами ног платформе. Оглядел почерневшее от непогоды, покосившееся от ветхости зданье полустанка...

Подумалось: какая же глухомань, как все бедно и сиротливо, а до Москвы всего триста километров.

У коновязи месил грязь гнедой мерин. Он мокрым глазом покосился на человека, настроженно фыркнул и потянулся к охалке пахучего клевера. На плоской телеге лежали мешки, стоял фанерный чемодан, прикрытый цветастым бабьим платком. Маршал потоптался, высматривая хозяйку и, не увидев ее, деловито оглядел телегу. Сапогом постучал по колесам, пощупал на мерине сбрую. Ступицы рассохлись и щелясто глядели на мир, оси вытерлись. Вожжи, шлея, чересседельник были из веревок. Мерин жадно глядел на клевер, и давно не мазанная дегтем телега отсылавалась скрипучим пением. Маршал закурил и только сейчас увидел, что лошадь взнуздана — стальные грызла мешали мерину жевать. Он шершавыми губами гонял их, но вытолкнуть не мог, а только ронял пыльную пену и скалил желтые, истертые временем зубы. Потрепал мерина по теплой шее, снял недоуздок, ослабил подпругу, развязал супонь и пододвинул клевер к лошадиной морде. Влажный глаз снова покосился на человека, но уже не опасно, а благодарно. Жеребец потянулся губами и обнюхивал рукав макинтоша. Маршал ласково хлопнул мерина по запотевшему крупу, погладил его подведенные бока. Острая жалость к этому неухоженному одру, с заваливающейся, давно нечесанной гривой враз охватила его. Резко кинул рюкзак на телегу и пошел искать хозяйку подводы...

За багажным сараем ругались. Резкий голос женщины срывался на крик. В ее злости не было пауз. Прокуренный, сиплый, с пьяной ленцой, отбихивался мужской бас:

— Ну, будет, Кузьминична. Телеграфист услышит. Не позорь ты, язви ты в душу. Эка невидаль — фляжка первача. Креста на тебе нету. Да я за вас...

— Чего за нас? Благодетель выискался, бабьих вспомогатель... Да твои зенки, окромя грудей, ничего не видят. А если и поможешь кому, так телом уб-

лажай кобеля ненасытного. Хоть бы мужик-то был путевый, а то так, гриб заваливший...

— Ты это брось, Кузьминична. О мужиком достатке не суди — тебе это неведомо... Своих баб поспрошай лучше. Да и то скажу — зря артачишься. С тебя не убудет, говорят, два ведра нагнала. Начальству сунуть надо, да самому с устатку лампадка-другая впрок пойдет. Служба, она, Кузьминична, порядок любит... На нашем полустанке багаж не берут — разуместь надо. Дежурному сунешь скляночку первача — и покатыся вещички за милу душу.

— Вымогатель окаянный! Еще про крест распинаешься. Да на эту бутылку я ребятишкам кусок мяса выменяю. Хоть оскоромятся в честь Победы. А у тебя глотка луженая, ты и ведро выжрешь...

— Ну, прямо ведро... Многого не просим, а законное отдай. Такой нынче штат вышел. Пользительная эта вещь, нутренности прочищает, дух дает.

— На, ирод, лакай. Мужики с войны возвращаются, скоро запоешь по-другому.

— Грозишь, стращаешь? Пужаные мы, Кузьминична, пужаные... И на германской бывали и другие фугасы видели. А мужики, что мужики? Окромя помощи бабам, худого не делал. Разве которая приласкала? Так это ж ее воля... Подол не мой, каждая распоряжается сама. Вон тебя не разжалобишь, симпатии не получишь.

— Ну, распелся бабий сторож. Давай квитанцию пиши. Настоящие мужики на фронтах кровь лили, а ты руками загребущими все к себе, все к себе...

— Это ты зря. К примеру, Кузьминична, каждому свой штат вышел. Кому воевать, а кому и вас стеречь. Белобилетник я и к службе непригодный.

— Как же, стерег волк кобылу...

— Заладила, как балаболка, одно, а без меня... — И вдруг увидел маршала. Враз осекся, сробел. Оттого, что мужик при двух руках да вдобавок еще чужой. Торопливо нахлобучил шапку и приткно скрылся за багажным сараем.

Маршал усмехнулся, перебрал с руки на руку плащ, гневно спросил:

— И так всю войну?

— А куда денешься? Какой-никакой, а мужик. Вот и отбиваешь кобелю поклон...

Спохватившись, что так легкомысленно заговорила с незнакомым мужчиной, и натурально, по-деревенски застыдись, быстро поправила сбившийся платок. Застенчиво, но заинтересованно бросила:

— Что-то не видела я вас раньше. Чужие вроде... Куда путь-то держите?

— В Коркино надо, а дороги не знаю. Пешком-то далековато?

— А зачем мерить версты ногами? За войну, поди, находились досыта. Все равно туда еду. Подвези, если компания устраивает...

Сноровисто и не по-женски уверенно правила лошадью ставшая говорливой, сразу помолодевшая Катерина. Через полчаса маршал знал о ее жизни почти все. Что измоталась она за войну: как-никак, трое на руках. А работы выполняет разные... и что старость пришла к ней: на Петров день тридцать пять стукнуло...

Он слушал открытую и бесхитростную женщину. Все ее слова были теплыми и понятными — о многотрудной жизни большого, терпеливого и смелого народа, который только что вышел из ужасной, невиданной войны.

Перед глазами плыла неброская, бедная земля пострадавшего за войну Нечерноземья, шли навстречу посеревшие, совсем сникшие в лихолетье деревеньки. И хоть летним разнотравьем природа принарядила поля и перелески, нищета и неустроенность глядели отовсюду.

Обложные дожди шли третьи сутки. Парные капли струились торжественно и тихо, неслышно гасли в траве, драгоценными переливами искрились на изумрудных, трепещущих листьях. Гром гремел вполсилы, приглушенно и не зло, он не раздирал небеса, словно ситец, а погромывал траурно, умиротворенно — видно, небо устало от военных раскатов. Мягкие зарницы обнимали далекий горизонт, но уже не вытягивали боязливо головы бабы. Их заботило другое — под сполохами зарниц созревали травы, поспевали хлеба, а мужики все еще не шли из далекой Германии. Вытянувшиеся, не помеченные крепкой костью взрослости, basiли ломкими голосам и мужичились их сыновья. Неумело отбивали по утрам косы, на манер отцов громко хлопали калитками, накуривались самосадам до хрипоты, дерзили матерям.

Всю войну бабы как-то не замечали невозмужавшей их взрослости. Но послевоенное лето, теплые дожди, щемящая истома в женских молодых телах, травы в пояс — все это заставляло их острее вздыхать и глубже сокрушаться: боже, рядом совсем дети, не сыгравшие свои игры, не доспавшие на зорьке сладких снов. И каждая вдруг чувствовала, что смертельно устала за войну, с удивлением спохватывалась, что нет ей еще и сорока и что тяжелое изнурение военных лет заставило ее забыть о женской своей сущности.

Те, кому ждть было некого, сатанели на работе, непомерным трудом глушили в себе волнуемое, плотское. Острое сознание того, что кто-то скоро встретит «своего», делало их тоску мучительной и безысходной. Пока шла война, одиночество было равным, терпимым и потому не таким обидным. Нынешнее лето навсегда узаконило вдовство, и эта неотвратимость прибавила им слез и мучительных ночных вздохов.

Счастливые молодухи, к кому шли письма и после Победы, сделались мнительными и ревнивыми. Их угловатые, примелькавшиеся в довоенном быте мужики слали фотографии из чужих стран и гляделись на них молодцеватыми, все в орденах и медалях. И, что совсем страшило жен, чуточку чужими, отвыкшими, вроде отбившимися от супружеских обязанностей. Бабы корили, стыдили себя, гнали сомнения прочь — не на гулянке были их мужики все четыре кровавые года. Но что ни передумаешь короткой летней ночью, когда томительно и жарко в одинокой постели, когда из самых глубин памяти плывут такие давние ночи, когда бередают душу осмелевшие этим летом соловьи.

Под этот искренний рассказ Катерины о многом подумалось маршалу. О том, что тяжкая плата за Победу была, пожалуй, равной — и на фронте и в тылу. Совсем или почти ничего не знали мы о нечеловеческих мучениях, выпавших на долю русских баб и подростков. Конечно, все мысли были о кровопролитных сражениях и неисчислимых потерях; раз отдал врагу столько родной земли, значит, надо ее возвращать. Но, говоря по совести, не часто обращали взор сюда, в самую сердцевину родной страны, где без героизма, а с привычной безропотной самоотверженностью работали на совесть миллионы людей. Не выпячивая себя и каждодневные свои подвиги, довольствуясь малым, радея только о главном — о всеобщей Победе...

Что ждет в мирной жизни Катерину? Молодая и овдовевшая, она, может, и поправит свои житейские дела. Добрые люди помогут подновить развалившуюся избу, да и ребятня ее скоро наестся досыта, выйдет в люди. Но самой-то всего тридцать пять... И доведется ли ей познать вновь женскую радость, встретит ли когда-нибудь свою любовь среди

таких же одиноких горемык? Раненых и контуженых, у которых война порушила очаги и разбила семьи...

Вон как жадно поглядывает на него, целого, неврежденного... Заинтересованно все выпытывает: к кому же возвращается такой пригожий и здоровый мужик? В этом ее внимании нет ни грана от копеечных зазывов штатных вертихвосток, которых с избытком расплодила проклятая война. Ее честная тяга и любопытство идут от целомудренной земной чистоты, от неистребимого влечения слабой к сильному.

И, узнав, что по случайной оказии он здесь, что нет у него намерения в одной из деревень свить свое гнездо, с тем же открытым прямотушием начала рассказывать о Коркино, о тамошнем председателе Винокурове:

— Серьезный мужик, стоящий. Вернулся на маслоу. На станции его Пелагея первой увидела и обомлела: как сказать, что пришел к разбитому корыту, что кругло осиротел? А Лукич ни о чем не ведает. Увечный, без правой руки, налетел с расспросами: что да как? Как ни крутился Пелагея, а пришлось жуткую новость выкладывать. — Веревоными вожжами подстегнула задремавшего мерина: — Это уж к Илье, почитай было, в сорок втором. Фашисты долго верстах в десяти от Коркино болтались. Как остановили их в сорок первом, так уж дальше ни шагу. Да и наши их выбить не смогли. Крепко окопались, намертво вросли в землю. И жили так: вроде тыл, а вроде и фронт. Каждую ночь в избах новые бойцы, и все туда, все подо Ржев. Больше года работала эта ненасытная мясорубка. Пообвыклись мы, приладились к такой прифронтовой жизни, к снарядам притерпелись. На деревню их мало падало. В тот день, как обычно, прогудели самолеты ихние, на Торжок пошли. Фашисты крутились поодиночке, от наших истребителей увертывались и бомбы куда попало сбрасывали... — Уголком платка вытерла глаза: — Если б знать... Одна и накрыла избу. Как раз Маргарита обед собирала. И всех разом. Ни бревнышка, ни вещицы какой. Начисто дом разметало. Воронка — пятистенник встанет. Поплакали, погоревали, а к осени ямина-могила крапивой да лопухами заросла...

Отрешилась от жутких подробностей и строже, теплее заговорила:

— Думали, не выдержит Лукич, рехнется. И так и саяк к нему — застыл, что истукан. Ночами простаивал у этой воронки. Самогоном заливал горе. Уж мы на деда Семена напускались: не давай зелья, до белой горячки дойдет. Черт старый отбредивался — не бабьего, мол, ума дело. Он, видишь ли, душу Лукичу размягчает. Всем миром пошли к Винокурову, на колени упали. Мертвых не вернешь, а живым жить надо. В председатели просили его от всех разуверившихся баб. Прежний-то — да вы видели на станции кобеля паскудного — размотал весь колхоз, неделями по доступным вдовам шляется. Слезно просили Лукича. И согласился мужик. Пить перестал — как ножом отрезал. За дела сразу люто взялся. Тракторишко откуда-то пригнал. И первым делом засыпал страшную воронку. Какую-то рухлядь собрал на пепелище и все по-людски, в настоящую могилу закопал. Оградку поставил, березки посадил, цветы посеял — все чин по чину. И с тех пор о Маргарите и детях ни с кем ни слова. Да и мы помалкиваем, не берем его рану...

— Где живет-то Лукич, отошел хоть от горя? — потрясенный, так и не справившийся с предательскими спазмами, прерывисто спросил Степан Иванович.

Катерина тяжело и мечтательно вздохнула:

— Живым о жизни загадывать, а умерших не во-

ротишь. Да из нас любая пригрела бы... Приветила его. Да не отзывается сердце у Лукича. Вроде и лечит время, будто и помягчал душой, а сердечные тропки не прокладываются. Баловать-то, знамо, он не будет, на другом тесте замешен, а душа будто могильным штакетником огородилась. Так и квартирует у деда Семена. В рот рюмки не берет, да и вдовьи взгляды стороной обходит.— Повеселев, закончила:— А до работы хват. Всю шваль, крутившуюся вокруг колхоза, расщивая, хищения пресек. Теперь хоть какие тузы из района наезжают, но, брат, все, не обламываются им больше баранчики да поросята. В порядок мы поверили.

Спохватившись, что заговорила да слишком многое выложила малознакомому человеку, так и не узнав ничего о нем самом, подступилась с другой стороны:

— А вы родственник Лукичу или воевали вместе?

— Да вроде бы,— неопределенно ответил маршал. Заметив, что вспыхнувшее любопытство женщины не удовлетворил такой лаконичный ответ, раздумчиво протянул:— Наверное, родственник, если от смерти спас. И мужик он настоящий — пулям не кланялся, товарищей выручал.

— Что верно, то верно,— растерянно отозвалась Катерина.— Только невезучий Лукич. Вон до войны в председателях исполкома ходил, в область забрать хотели. А потом стряслось что-то и в деревню конюхом вернулся...

«Знают. Значит, у всех на глазах изломалась судьба Винокурова»,— подумалось Степану. И здесь никто ему тогда не смог помочь. А он сам?

Степан вновь задумался о столь скоропалительной поездке к Лукичу, поездке странной и даже для себя малообъяснимой. Зачем вдруг сорвался и помчался в эту глухомань? Оправдываться перед Лукичом, получить у него прощение или залатать какую-то прореху на своей совести?

...Все вновь вспомнилось и колющим душу видением прошло перед ним... Молодой, шумливый Александр Лукич, прибывший к его частям за Северным Донцом. Небольшой, но спаянный железной дисциплиной, дерзкий отряд Лукича сразу вписался в соединение. Да и сам командир — бесшабашно-храбрый, прямой и честный до болезненности — прикипел к сердцу. Бывший офицер, он бросил своих коллег-золотопогонников и перешел на сторону красных. Безропотно и уважительно принял Лукич эскадрон. И скоро слава о его безумной отваге, безукоризненном тактическом расчете и хладнокровии пошла гулять по всей армии. Он был предан слову и товарищам. Не задира л нос, когда все складывалось победоносно, но и не распускал себя в минуты трудные, роковые.

Когда запыхавшийся, будто в чем-то виноватый вестовой бухнулся на пол и очумело, лязгая зубами, в неуправляемом испуге выкрикнул на всю штабную избу: «Взбунтовался полк, товарищ командир! Митингуют, командиров повязали»,— они помчались торопливой рысью в станицу. Молчаливый, осунувшийся Лукич понимал, что такое разоружить вышедший из подчинения, подогретый белогвардейскими прихвостнями, нетрезвый полк. Могло статься, что придется стрелять по своим, с кем вчера седло в седло рубился с белой сволочью и кто сегодня, предав революционный порядок, стал опасным и потому нетерпимым врагом.

Но, слава богу, все обошлось без кровопролития. Терзаемые дурными предчувствиями, они с Лукичом медленно подъезжали к настороженному, взбужденному строю. Холодные зрачки винтовочных стволов неотступно следовали за их гимнастерками. Словись сейчас кто шальным выстрелом, сдай чьи-

нибудь нервы — и начнется кровавая кутерьма. И пока часть Лукича, взявшая мятежный полк в кольцо, подоспел на помощь, от них самих и мокренького места не останется. Опасная тишина. Повзвильный, резкий голос Лукича:

— Оружие сложить, зачинщиков связать!

Столько лет прошло, а разве забудешь клацканье винтовок о сухую землю, раскаянное дыхание сотен враз опомнившихся людей, ненавидящие, взбешенные глаза уже повязанных смутьянов, алое знамя полка, которое скручивал Лукич,— свершалось уничительное, но справедливое над бойцами-клятвоотступниками: их опозорившая себя часть расформировывалась. И тут какая-то запоздавшая сволочь щелкнула затвором... Выстрела Степан не успел услышать — Лукич выбил его из седла мгновенным и грубым ударом. Потом сухой pistolетный щелчок, и кирзовые сапоги, в предсмертных судорогах царапающие пыльную землю. Пьяный верзила, лежащий в центре каре... побелевшие, испуганные лица бойцов разоруженного полка.

Сведенными губами прошептал Лукичу.

— Зачем ты его так? Могли бы начать резню.

— /Огли бы завтра с почестями хоронить командира, — зло отрезал Лукич.

...Деревушка серыми домиками разбежалась по песчаному взгорью, стекая огородами и садами к петлявшей в густом, непролазном ивняке узенькой речушке с удивительным и таким неожиданным названием — Тараторка.

«Ну, надо же так называть»,— про себя усмехнулся маршал. Не сдержав изумления чудным и метким словом, обратился к умолившей и ушедшей в свои думы Катерине:

— Это кто же ее так обозвал?

— Речку-то? — охотно откликнулась женщина — Поди узнай, кому на ум взбрело. Да только верно сказано. Выберется времечко, постоите на берегу. Занятно так станет. День и ночь заговаривает она с камнями. Вылизала и обкатала гальку, как пасхальные яички, да все не наговорится с ними. А ветерок подует — втроем болтают. Тут такие омуты да налимые усатые под корягами... — Она кнутовищем махнула в сторону обихоженого, обшитого крашеным тесом пятистенника: — Вот здесь и квартирует Лукич.

На крыльце дымил едким самосадом взерошенный, расчерченный солнечными бликами, сухонький старичок. Вызывающе поблескивала вспотевшая лысина, озорно торчавший клинышек седоватой бородачки придавал ему воинственный, колющий, но очень свойский вид. Из-под очков, сползших на самый кончик красного и мясистого носа, высверкнули неожиданно синие, по-детски любопытные глаза.

— Председателя? — строгим голосом человека, близкого к начальству, спросил старик. Часто-часто поморгал и вдруг вперил в Степана свои добрые синие глаза.

«Только бы не узнал да народ скликать не стал, — устало подумалось маршалу — Тогда и собрания не миновать. И пойдет, поедет. Районному начальству сообщат, митинг организуют... А старик-то, видно, приметливый цепкий».

Но интерес деда Семена погас быстро. Он разочарованно отвернулся и сизым дымом выдохнул.

— Занятная штука. По-первости чуть во фронт не вытянулся — вылитый маршал с портрета. Да обмислился по старости. Похож, да не тот. Кишка тонка, брат, до него. У маршала одна выправка, что тебе гвардия. Да и глаз боевой, напористый. А так схожи, калибр твой поменьше только.

Степан пропустил мимо ушей колкие словечки разговарившегося деда. Нетерпеливо поджидал

Лукича, который, по словам Семена, вот-вот придет с фермы. А старик, точно и не замечая насупленной неразговорчивости гостя, стремительно менял темы, плел причудливую словесную вязь. Будто до этого годы молчал и теперь должен был непременно высказаться до конца:

— До войны не деревня была, а загляденье. Почитай в каждой избе по два мужика было. Да и бабы у нас первостатейные — на масляной от сватов отбою не было. Вон хоть мою Ефросинью возьми, царствие ей небесное! Уж какие зажиточные из Поречи подкатывались! Ан нет, пошла за меня. Правда, недолюбливал меня ее отец, мужик богатый, сурьезный. Да и он сломался. А куда повернешь-то? И лицом и статью я был хоть куда. Да и по машинной части во всей округе не было мне ровни. Домашко обиходили, детей народили, и все честь по чести пошло. Четыре парня вымахали один к одному. И тут война проклятая... — И, поймав заинтересованные, отзывчивые глаза маршала, сбился с хвастливого тона. Глухо, враз севшим голосом стал допытываться: — Ты объясни, мил человек, «пропал без вести» — это что, насовсем? Бумажка какая-то тревожная, сумятица. Что значит «пропал»? Мои не пропадут, мои ребята орлы и на подлость не способные. С Михаилом и Яшей — тут все ясно. — Начал вытирать слезы глаза. — Казенные извещения... А вот что с Николаем и Сашкою? Ефросинья до самой смерти верила — вот-вот придут. Меня теперь сумление берет. Ежели в плену, то убегут мои сыновья. Тогда стоит мне позвать и ребят дожидаться. Или обмен пленными начнут, или как будет-то, мил человек?

Ну, что мог ответить маршал этому обкраденному со всех сторон жестокой войной старику, чем утешить его, сиротливого и одинокого? Когда сам только-только разбирался в послевоенных делах и заботах. И толком не знал, сколько же пленено наших солдат и какая судьба ждет их в дальнейшем?

Но сумел оторваться от больших категорий, сосредоточился на заботе деда Семена, который хотел знать о своих детях и кому неведомы были сейчас всеохватные государственные проблемы.

— Во всем разберутся, отец. Невинные скоро домой вернутся. А раз твои ребята — орлы, присяге верные, печалиться нечего. Мало ли как случилось в войну? Проверят, порасспросят очевидцев... Накажут только виноватых, а к честным грязь не пристанет.

— Так-то оно так... Хоть бы весточку подали, отзывались отцу. Какая ж жизнь без веры...

Лукич подошел неслышно. Постаревший, севший в плечах до мальчишеской угловатости. С пустым рукавом гимнастерки, заправленным под ремень, с белесым, известкованным тяжелыми годами бобриком редких волос. Этот мужчина ничего общего не имел со статным, цыганисто-красивым комзесом Александром Винокуровым. Боже, как проутюжила его жизнь, что с человеком сделала! И сразу же подумалось о себе, видно, годы и его не помиловали, а старательно прошлись по лицу, если Лукич рассеянно скользит по нему усталыми глазами...

Привычно, будто к надоевшим уполномоченным:

— Слушаю вас, товарищ.

— Лукич! Да ты что? — И растерянно, огорченно: — Не признал, значит... Саша, Лукич! Тыфу, наваждение какое-то...

— Степан Иваныч... Степан Иваныч.. Да не сон ли вижу?! Да и что за цирк? Без парада, в кепчонке... В избу, к столу. Дедушка, давай припасы. Гость дорогой пожаловал.

Они вгрызались в бело-розовую свинину, хрупали крепкими огурцами.

В один миг, со сноровистостью тридцатилетнего дед Семен преобразился рубаху новую напялил, «Георгия» нацепил, да и сказочный стол спроворил. Он сновал из кухни на чистую половину суетливо и радостно. Потому как уж очень хотелось принять гостя честь по чести, повеселить первачом, все обиходить гостеприимно и хлебосольно. Опрокидывая стопку, не задерживался за столом. Понимал, что он при этой беседе лишний. Выставив все тарелки, что были в доме, и завалив стол закусками и питьем, потихоньку притворил дверь и выскользнул на крыльцо...

Лукич говорил не торопясь, возвращая память в уже ушедшие и нерадостные годы, надолго задумывался, припоминая детали, имена и даты.

— Последний выстрел я сделал в Средней Азии, когда Курбан-бея брали. Ну, а потом — в родные края. Вернулся к своему безлошадному дому. Мать в девятнадцатом померла, а отец в бобылях совсем одичал. При сельсовате ячейка образовалась, от кулаков бедноту защищали. В двадцать втором я женился. Ну да, на той самой, о которой рассказывал тебе. Когда на действительную отправлялся, так она провожала меня до расстанного камня. Девчушка совсем нескладная, ей тогда четырнадцать шел... Вернулся домой — невеста на выданье. Правда, в возрасте разница, да и отец ее восстал: не отдам за гольтыбу — и все тут! Поддерживала и родня — у них мельница, тройка лошадей, скотины полон двор. А я что? Бесштаный, по их понятиям. Да только с характером оказалась Маргарита: уперлась на своем — и баста! Или он, или никто! Отец ее — крутоватый мужик, но отходчивый и сметливый — понимал, куда жизнь поворачивает. Поартачился для фасона, повиламывался, сколь деревенские порядки требуют. Потом шепнул моей родне: дескать, засылайте сватов. — Чокнулся с маршалом, извинительно заглянул в глаза. — Может, длинно все это, а? Ты скажи: неинтересно встряхивать прошлое, так я враз закружусь...

— Да будет, Лукич, полно...

— Ну, а дальше что? В сельсовет двинули. Деревня к объединению шла. Кулаков да зажиточных прищучивать начали, хотя в нашей округе крупных мироедов и не было. Сам видишь, земля бедная, край неухоженный — разжиреть вроде и не на чем. Мой тесть — мужик дальновидный. Все дал добровольно, да и в колхоз сразу записался. Работал справно и хоть ворчливым стал, так иногда и по делу — сколько бесхозяйственности на первых порах в артелях было! А в тридцать пятом район мне дали. Как угорелый носился по деревням. Из конца в конец больше сотни километров, район-то... Но и заботы радостными стали. Колхозы силу набирали, жить стали веселее, и бедных убавилось. Техника пошла на деревню, люди грамотные подрастали... Теперь о главном, Степан Иванович. Повиниться хочу и разъяснить тебе, что к чему. Если бы не серьезно, разве дал бы я тебе телеграмму?

— Да что ты, Лукич, виниться вздумал. Это мне горько, что не успел активно вмешаться. Бумажку твою подают, а я через час на маневры улетаю... Прочитал тревожные строки, а толком не пойму: что стряслось? Чую — плохо тебе, но что конкретно делать, ума не приложу. И отъезд поджимает. Приказал адъютанту связаться с областью, нужные рекомендации дать. А потом, уж прости ты меня, Лукич, такая круговерть началась, что и не хватилась проверить. Как оно у тебя все обернулось?

— Да, обернулось лучше, чем началось. На чем это я остановился? Вроде обычный вызов в область. Поздоровались, как всегда, но холодком от всех сквозит, будто инфекционный я. Что да к чему,

допытываюсь, а все глаза отводят да о пустяках расспрашивают. Потом позвали в кабинет. Вхожу. За столом трое. И будто ледяной водой в лицо: «Гражданин Винокуров?» Усадили на стул и перекрестно так: «В царской армии служили?» «Так это известно всем. В каждой анкете писал». «А как в Красной Армии очутились?» «Не очутился, а пришел. Об этом тоже написано». «Два «Георгия» у царя заслужили. За что?» «Тут царь ни при чем. И кресты за храбрость давали. За то же и Боевым Знаменем награжден». Смекаю, что худо дела складываются. Я им про Фому, а они про Ерему...

— Простить себе не могу, Лукич,— маршал в раскаянии гонял дольку огурца по опустевшей тарелке и все норовил встретиться взглядом с потемневшими, заходевшими от гнева глазами товарища,— что не плюнул на командировку и не примчался сюда, в область. Со мной бы они посчитались, я бы проверил, что за комиссия оскорбляла заслуженно-го человека...

— А они и посчитались. Не будь твоего запроса — несладко бы мне пришлось. Ко всему еще анонимку на меня подбросили. Кто-то из раскулаченных, кому не по нутру пришелся... Через неделю снова побеседовали. И баста. С исполкома освободили. Вернулись мы с женой в деревню. Маргарита, дело ясное, успокаивает: черт с ними, с чинами, главное — при семье. Председатель здешний, пьянь перекатная, обид прежних мне не забыл, поиздеваться радешенек. Покуражился власть, как малое дитя, и в конюхи определил. А к лошадям — что ж, дело привычное. Да и люблю я эту скотину...

Маршал задумчиво покусывал пропахший табак провислый ус, горько, понимая кивал. Никак не мог подобрать такие нужные сейчас, проникновенные, но не дежурные слова. Как назло, ускользали они: не шли на язык. Дотронулся до пустого рукава Лукича:

— Где это тебя так?

Лукич глуховато кашлянул, поперхнулся словами, резко переключаясь на другое. Отрешился от неприятных воспоминаний, веселее и по-фронтовому дружелюбно пояснил:

— На Днепре. На самой быстрине... В соседний плот прямое попадание. Нас тоже сильно зацепило. Боль адская, стоны кругом. Уж и не помню, как удержался на плаву. А после госпиталя комиссовали. Домой вот вернулся... — Каменно, отчужденно замолчал.

Маршал положил ладонь на угловатое, вздрагивающее плечо и тихо попросил:

— Не надо дальше. Я все знаю...

— Ну, раз знаешь, то и разговору конец. — Тяжело и жадно опрокинул стопку первача, насупил, захрупал огурцом...



Жеребца привели к вечеру, и Тихон, никем не предупрежденный, встретил неожиданного постояльца настроенно и ворчливо. Жеребца определяли на место Пальмы основательно и надолго. Люди, которые привели коня, что-то долго говорили Тихону и все требовали от него внимания. Конюх слушал рассеянно их рекомендации, вяло кивал головой, соглашаясь с приказной дисциплиной. Когда гости удалились, он ввел жеребца в стойло. Насупленно задал ему овса и, отыскав молоток с гвоздями, стал неторопливо прибавить табличку с короткой и красивой кличкой — Гусар. Лениво заколачивал гвозди, бунтарски выговаривал в конюшенную пустоту:

— Все Тихон да Тихон... Как в богадельню опреде-

лять, так Тихон подсоби. А что ж красавцы-то ихние? Медали да призы огребать — они первые! А выдохлась лошадь — все на Тихона норовят спихнуть. А она, что ль, без сердца, скотина? Этот Гусар, положим... Разве хозяин ему не дорог, разве скучать лошадь не будет? Хотя бы проводил жеребца, на пенсионный постой определил...

Но уже теплел в своем брюзжании Тихон, в стариковское ворчание вплетались нотки сочувствия — за долгие годы Гранат безошибочно определял перелом в настроении конюха. Вот и сейчас, еще по инерции, он не мог остановиться, но в слова уже вплетал заботу и сострадательное понимание несладкой конской жизни. Он оглаживал волновавшегося от незнакомого помещения Гусара, перемешивал в кормушке пахучее сено:

— Твой-то, небось, уж другого присмотрел. Конных заводов хватает — выбирай, какого хочешь. Ну, объездит, сердцем привяжет лошадь. Наградные сливки снимает, скорость всю выберет с коня и без грусти расстанется. Все они один к одному, вертопрахи ипподромные. — Повернулся к Гранату, искательно проговорил: — А ты не фырчи, что памятное стойло занял другой. Уж давно надо дурацкие мысли из головы выкинуть. Да и что теперь кручиниться? Такого же ветерана подсадили. Введи его в курс здешней жизни, освоиться помоги. Вдвоем-то веселее время коротать. По-стариковски...

Покряхтел, поохал, проверил задвижки и самым последним покинул конюшню.

Гранат втянул воздух, знакомая с новичком, просунул морду в его стойло. Тот готовно потянулся к старожилу и дружелюбно фыркнул. От Гусара исходили токи, которые совсем не говорили о его старости. От таких запахов, несущих в себе силу и обещание новой жизни, еще вздрагивают и волнуются кобылицы, уступчиво подаются навстречу, если партнер пригласит их разборчивому глазу. Гранат недоумевал, почему всем своим тоном Тихон уравнивал их в годах и о Гусаре говорил тоже грустно и безнадежно. На деле выходило совсем иное: Гранат уже был опытным, преклонных лет жеребцом, когда этот Гусар еще неуклюжим жеребенком тыкался в материнские соски. Попробуй пойми людские решения — взяли да и определили на постоянный отдых.

К полуночи они уже хорошо обнюхались и могли о многом поведать друг другу, о своих таких непохожих судьбах. Гусар помнил себя в азартной атмосфере ярких бегов. В его ушах до сих пор стыл волнующий звон ипподромного колокола, гремели обвалы аплодисменты, волновалась причудливыми звуками человеческая разноголосица. Он привык к похвалам и слащавому людскому славословию, его все время окружали фанатичные поклонники и какие-то плутоватые и увертливые люди. Чего только не нависало он за свою яркую, но короткую, словен феерверк, сценическую жизнь! Его ласкали и холили, лихорадочно заботились о нем — вез жеребца со всего света ценные награды и немалую валюту. В лучах его славы купался удачливый наездник, красовавшийся вместе с Гусаром на телевизионных экранах и страницах журналов. Гранат внимал соседу и не мог себе представить ту цветную и суетную жизнь, оставленную Гусаром за стенами этой конюшни. Ему были неведомы самолеты и корабли, в которых Гусар пересекал материки и океаны. Да и вообще было трудно поверить в реальность этого сказочного мира, где страсти разгораются до невообразимого накала, где уравновешенные и всезнающие люди теряют голову и в плену азарта вытворяют что-то несурзное и смешное.

...Это случилось в заокеанской стране. Привыкший к самолетному гулу, Гусар очередной перелет перенес все-таки тяжело и беспокойно. Над океаном машина вибрировала, скользила в провальные воздушные ямы — и жеребец тревожно напрягался, чуя разбушевавшуюся непогоду и опасность полета. За два дня отдыха жеребец, казалось, успокоился и вновь обрел отличную предстартовую форму. Хозяин никуда не отлучался: и на разминках и в денниках он вселял в Гусара человеческое спокойствие, разжигал в нем готовность к трудной и азартной борьбе.

Гусар напрягся, готовно подобрался, вытанул струной в ожидании старта. Чужие лошади нетерпеливо вздрагивали по обоим бокам, готовые ринуться в бой. На какую-то секунду человек прозевал старт, и морды соперников настильным рывком зависли впереди. Гусар размашисто и мощно резал воздух, волнение подстегивало его. Опыренный борьбой, оскорбленный дерзким вызовом конкурентов, он стался над землей, пытаясь уже на первых метрах достать лошадей, наверстать упущенное. Но не тут-то было — рядом шли испытанные, удивительной резвоты соперники. Хозяин, созная свой промах, не беспокоил Гусара, его заботило одно: как бы в отчаянном полете лошади не сбился с ноги. Но его волнения были излишними — Гусар отлично знал беговую дисциплину и наращивал размашистую рысь. В бешеном кручении замелькали спицы чужих колес, и тележка соперника начала выжимать их с подромной дорожки, выталкивать к ухоженной щетке зеленеющей травы. Что-то резкое выкрикнул его хозяин конкуренту, дернул правой вожжей. Гусар взял чуть правее, но чужое колесо все так же угрожающе плыло на них, грозя сбить ритм и опрокинуть тележку. Рыжий жеребец прерывисто и часто выдыхал, Гусар шерстью ощущал горячее и мощное тело лошади. Казалось, беды не миновать. И было обидно, догнав ушедших вперед лошадей, допустить на середине дистанции такой срыв.

Какая-то бесовская сила влилась в Гусара после команды человека — он неимоверным напряжением бросал свое могучее тело. И чудо свершилось! Чужое колесо вдруг потускнело и затерялось где-то сзади, а под копыта победными метрами стлалась черная шлаковая дорожка. На прямой, перед финишем, полет Гусара поверг в неописуемый восторг вскопавшие трибуны. Всегдашние бегов, выдавшие на своем веку разное, не могли сдержать страсти. Они штурмовали окошки касс и, сметая на пути жиденький заслон полицейских, ринулись на зеленую траву... Чтобы вблизи разглядеть это чудо, эту невиданную птицу, запорхнувшую сюда из далеких, чужих земель...

Ходуном ходили взмыленные бока, екала селезенка победителя. К нему тянулись десятки рук, чтобы пощупать, погладить... Убедиться, что нет крыльев на атласной коже жеребца. Его хозяин пожимал и пожимал чужие ладони, тонул в букетах цветов. Как только выдерживал он эту обрушившуюся на него лавину поздравлений, приветствий и одобрений! Порывистые, практичные люди затеяли кустарный аукцион, и Гусар с удивлением слушал разгоряченные голоса.

Обрадованный и уставший, жеребец мелко подрагивал ногами и благодарно косился на своего хозяина. Как преданно и самозабвенно любил он его! Хладнокровие человека удержало от сбоя Гусара, распленного вероломством соперника, — это он легким рывком вожжи удержал жеребца в дисциплине и дал ему новые силы. Радостная легкость вливалась в тело, и в порыве признательности он лизнул камзол хозяина...

Но это было давно, и яркость воспоминаний чуть

поблекла. То были светлые, победные картины, память о которых бодрит кровь, приятными мгновениями озаряет жизнь. Ноющими и обидными напыивают другие бега, совсем недавние. Гусар по всему предчувствовал, что в забеге у него не будет сильных соперников. Признанный фаворит, так привычный к первенству и главенству, он свысока оглядел лошадей, и никто не вызвал в нем тревоги и неуверенности. Вот разве что кобылица с мягкой челкой, разделенной на две прядки, идущая по соседней дорожке. Она вострила уши, в предстартовом волнении конвульсивно вздрагивала, и шли от нее кзкие-то горделивые и властные токи. Человек приглушенно и ласково успокаивал вороную красавицу, а сам пристально разглядывал Гусара. Хозяин кобылицы, видимо, знал, кто поведет бег, и потому таким изучающим и пристрастным был его взгляд.

Они сорвались ровно, бок в бок, и первые минуты синхронного бега не испугали Гусара: он понимал, что сейчас поднимет скорость и оставит соперницу за хвостом. Он ускорял бег, но, словно связанная с ним, кобылица не отставала. Приказ вожжей — наращивать, взвинчивать темп — он выполнял беспрекословно. Мощные взмахи передних ног гасли, вроде мешал жеребцу спрессованный воздух. Бунтовавшая кровь толкала его вперед, но кобылица не отставала. Наоборот, и тут безразличие растеклось по телу, вихрем пронеслась мимо резвая кобылица, мелькнула торжествующая улыбка ее хозяина, а потом замельтешили разноцветные камзолы, спины, тележки, лица... Конкуренты уходили от него к повороту, а чужунные, враз затяжелевшие ноги прижимали жеребца к земле, и уже не было речи о вольном победном полете. Порыв вожжей стал оскорбительным и резким, а голос хозяина — раздраженным и злым. Чего никогда не случилось раньше — человек в сердцах стегнул его по спине и сорвался на крик. Гусар стал сбиваться от неуверенности хозяина...

На финише они были последними. Никто не бежал к ним, и хозяин не гладил его по шерсти. Он бросил вожжи подбежавшему конюху, смачно сплюнул на землю, выругался и зашагал в конюшню.

Но разве виноват был Гусар, что отслужил свое, что время и несчитанные награды выкачали из него резвость? Что так враз и бесповоротно потерял он спортивную форму?

После того горького дня Гусар больше не видел своего хозяина. Скучал и все время ждал родного человека. Но коня передавали людям незнакомым и озабоченным чем-то своим, человеческим... И побывал он в разных местах, пока не привезли его сюда...



В тот год очень жарким, а для сердечников и просто невыносимым выдалось лето в Подмоскowie. Припекать начало в мае, и тогда же пролился на землю последний дождь. Поначалу ведренная погода радовала — после прошлогоднего слякотного и простудного лета так соскучились по теплу, — но потом безоблачное небо начало настораживать, внушать тревогу. Изумрудная, доверчиво выклюнувшаяся зелень под нестерпимым, жгучим солнцем начала сникать, терять сочность. Первыми свернулись, зажелтели кустарники. Они загорались непривычными для этого времени осенними пожарами, пожухлыми пунктирами очерчивали бульварное кольцо, ядовитыми проплешинами вписывались в зеленые массивы только что освоенных микрорайонов. Усохшая, гудевшая от пропеченной твердости земля трескалась, змеилась шрамами, и

влажные шланги не могли утолить ее кричащую жажду.

Говорливые ручейки и замутненные речушки пригородов боязливо замолкали на обмелевших перекалах, отдыхали в затененных омухах и встревоженно пробирались своими тысячелетними дорогами. Сухой зной обезвоживал траву, камни, деревья, выжимал топки луговины, а подпочвенные воды, хорнясь от немилосердных лучей, струились вниз, под защиту глубинной прохлады земли. Лесная подстилка стала горючей, как лен, она опасливо шуршала под ногами, готовая в любой момент заняться всепожирающим лесным огнем. Встревоженные лесники следили за своими квадратами, помогали страдающей живности, но особенно зорко приглядывали за людьми — тут до греха один шаг. Увлеченные туристским бумом, тысячи горожан сновали по лесам, организованные или празднующиеся. От них лесные стражи больше всего ждали беды. Опасность стучалась в двери каждый день, и люди не смогли предотвратить ее приход.

Вокруг столицы загорелись леса, потянуло удушливой гарью. Но что было всего страшнее — огонь полез в глубь земли и разбудил спрессованные, высохшие торфяники. Пожары охватили большим кольцом гигантский город. Сизый устойчивый дым зависал над ним с самого раннего утра и накидывал свои угарные сети на улицы. Языки огня лизали обширные территории, и нечего было думать, что удастся сразу, таким лихим наскоком, раздавить огонь, остановить его неумолимое расползание. Беда приобрела широкую поступь, и люди готовились к массовому и планомерному отпору. Теперь поздно было выяснять: что это — самовозгорание, как утверждали некоторые газеты, или беспечно брошенный окурок, или непотушенный костер халатных туристов? Теперь требовалось мужество в борьбе с неучтенной стихией и дисциплинированное спокойствие всех жителей столицы. Наступление на бушевавший пламень лесов и на коварно тлевшие торфяники повели размашисто и основательно.

В эти иссушающие, затянутые горьким дымом дни в столице было невмоготу. И хотя так нужен был сейчас маршалу городской кабинет, где под рукой материалы и справочники, давние записи и наброски, все-таки в Москве оставаться было трудно. Учащалось сердцебиение, резало глаза, першило в горле и тяжело, с натугой дышалось. Он собрал бумаги и решительно переехал на дачу.

Книга рождалась медленно и трудно. Наедине с чистым, пугающим листом маршала охватывала робость. Слова выстраивались ломано и неуклюже, как неопытные новобранцы на первой переключке, и говорили ватным, не волновавшим ум и сердце, бесформенным языком. Рассказать хотелось о многом — душевно и честно. И в уме все выговаривалось легко и сочно. А на бумаге рассказ становился косноязычным — он не передавал и сотой доли того, о чем необходимо поведать людям.

Маршал мучительно мерил веранду, подсаживался к опустылевшему столу, набрасывал несколько предложений, но, прочтя написанное, ужасался и остервенело рвал листы. Оказывалось, что и многотрудную жизнь легче прожить, чем изложить все ее события на бумаге. Маршала мало утешало, что черновые наброски доведет до литературной нормы и отшлифует уважительно и готовно ждущий своего часа способный литографик. В который раз Степан Иванович зарывался в глубины слабеющей памяти и невероятным напряжением воли старался воскресить дорогие образы и памятные события.

С далекого хуторского заолухства ниточка воспоминаний вела его в стремительную, полную перепав-

дов и взлетов взрослую жизнь, которая такой крутой пружиной раскрутилась после Великого Октября. Он удивленно осознал, что невероятную жизнь уготовила ему судьба: подумать только, сельскому хлопцу новый строй доверил в командирских рангах защищать правоту народного дела. И надо рассказать об этом просто и убедительно, как и сама правда жизни. Где найти точные изначальные слова, определяющие народную суть социалистической революции, как угледеть те закономерности, по которым народный строй открыл необозримый творческий простор для каждого человека?

События и годы скользили перед ним, как ускользнутая лента кинематографа. С той лишь разницей, что здесь трудно было застопорить отдельный кадр и всласть, досыта насмотреться на бесконечно дорогое, уже минувшее, ушедшее в книги и хрестоматию, а то и в обидное забвение.

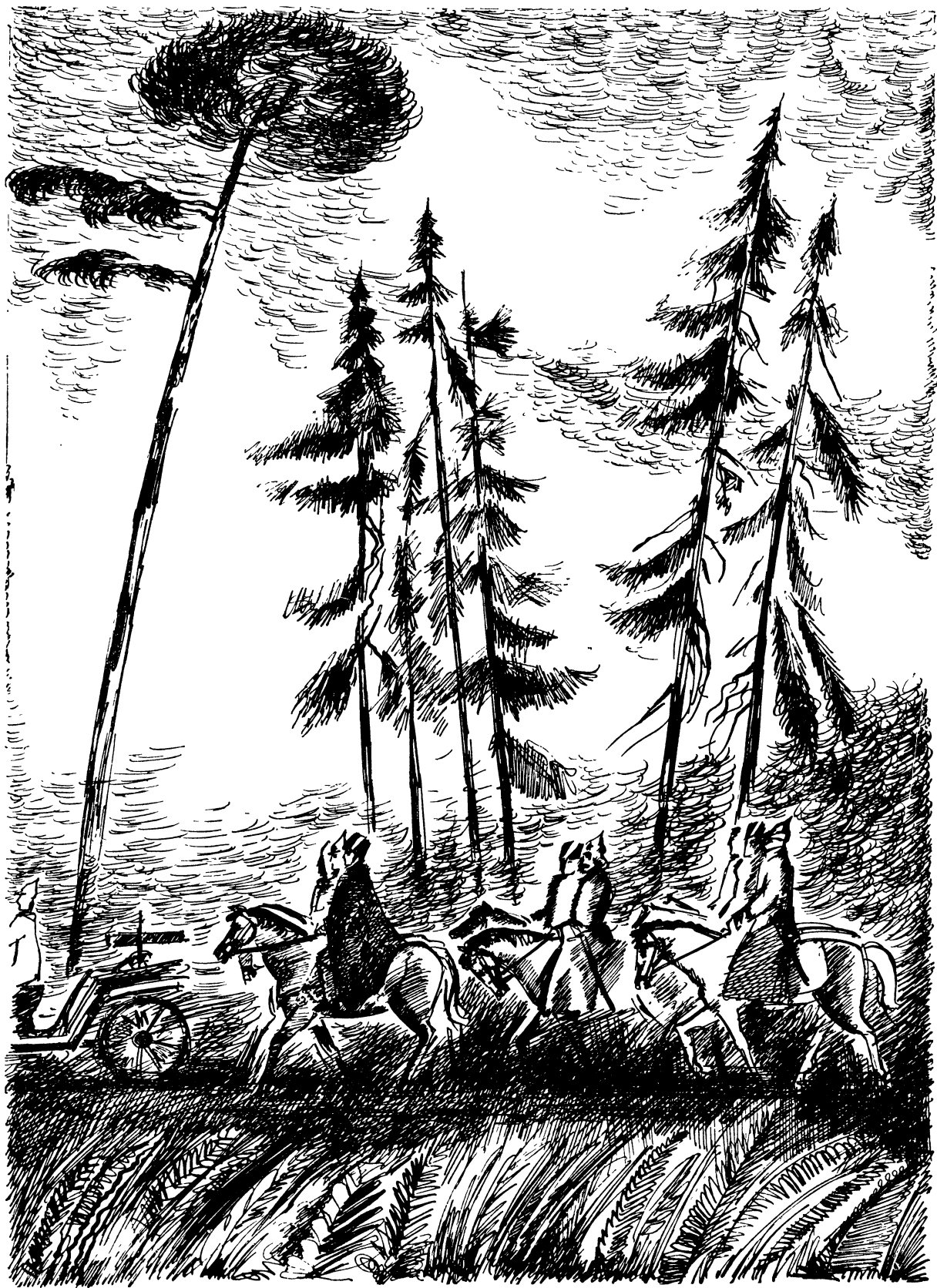
Озарение и словесная раскованность пришли так неожиданно и ясно, что поначалу растерялся маршал и не сразу совладал с прозрачным потоком событий и образов.

..Он увидел себя молодым, бравым, обстрелянным уже предостаточно красным командиром, за плечами которого были выигранные сражения, стратегический опыт, безаветная храбрость. Гражданская война, обильно обгабившая землю кровью лучших сынов республики, мучительно шла к победному концу. С позором покидали исторические подмошки все самозванные спасители России. Определались рядовыми лошадьми в строевые части белые, как снег, жеребцы, на которых новоявленные диктаторы намеревались триумфальным шагом въезжать в столицу. Белое движение, не брезговавшее черными и зелеными оттенками, переживало агонию. Но еще ощерялось окопавшимся в Крыму Врангелем, разным бандитствующим отребьем, терзавшим мирные села, серьезной угрозой нависало над западными границами республики.

Степан Иванович ехал в Москву, и времени для раздумий у него было хоть отбавляй. Долгий путь смысл все сиюминутное, подталкивал на обобщения, позволяя подвести некоторые итоги. Да, Степан Иванович командовал сейчас одним из самых боеспособных и мобильных соединений молодой Красной Армии. После изнурительных, многомесячных боев его дивизии вышли на оперативный простор и нуждались в отдыхе и свежем пополнении. Конники смертельно устали, а стокилометровые переходы, постоянная бескормица вконец измотали лошадей. Его подразделения нужна была полная переоснастка, и на это требовалось драгоценное время. Но и другое было бесспорным — разнеживаться бойцам не давала обстановка, враг готовился к последней, но отчаянной схватке.

Чем ближе была столица, тем большее волнение охватывало Степана. Комиссия Реввоенсовета, инспектировавшая его части, осталась не в восторге. Выводы, сделанные ею, наряду с бесспорными и законными претензиями не были лишены субъективизма и какой-то канцелярской неприязни.

Слов нет, идеальной дисциплиной они хвалиться пока не могли — рецидивы партизанщины и необузданных лихаческих замашек еще встречались в армии. Но как же не понимать и другое: разве командование армии за короткое время не совершило невероятное? Сплавало в единый боевой организм отряды и отрядики, серьезно дисциплинировало бойцов, сбило местнический горор и анархизм с командиров всех рангов и подразделений. К большому недоумению командарма, комиссия упрямо игнорировала эти обстоятельства. В своих выводах она исходила из идеальных предположений, будто



все командиры его армии прошли полный курс кадетского корпуса, а многотысячные массы бойцов были кадровыми, блестяще обученными солдатами. Да, в армии случилось и трагическое — вышло из повиновения, отказалось подчиняться приказам боевое подразделение. Но разве поступились они революционной законностью и всей суровостью военного времени? Опозорившие знамя были расформированы, а клятвоотступники-командиры преданы суду. Конечно, факт позорный, возмутительный. Но куда уйдешь от этого — такое случалось и на других фронтах.

Больше всего печалило и огорчало то, что докладную записку должен был прочитать Владимир Ильич. Степан Иванович ни разу не встречался с Лениным, за идеалы которого истово и бесстрашно сражался, всем сердцем приняв его веру, отдав свое оружие и талант командира защите правого ленинского дела. Сейчас Степан мучительно раздумывал над тем: захочет ли увидеть его Ленин после невеселой докладной? Пожелает ли выслушать соображения, да и просто познакомиться с человеком, которому он слал десятки требующих, приказывающих, предостерегающих и умоляющих телеграмм? О встрече с необыкновенным руководителем необыкновенной страны мечталось всегда. Радостное осознание того, что у руля молодой республики стоит руководитель такой величины и всеохватной эрудиции, наполняло гордостью сердце, удесятерило силы в самых критических и немыслимых ситуациях.

Молодая республика сказочно быстро обростала штабами, канцеляриями, управлениями. Необходимая беготня по всяким инстанциям, разные заявки, запросы, согласования смыли первые сутки пребывания в столице. Непривычная усталость обрушивалась на организм, больше привыкший к седлу, чем к городской суете. В этой немыслимой круговерти забылось огорчительное недоумение по поводу неллицеприятного рапорта комиссии. Более важные заботы и столничная, наполненная ожиданием скорой победы атмосфера рассеяли тревожное настроение: отсюда лучше виделась непокоренная, растерзанная интервентами страна, ее завтрашний нелегкий, но прекрасный день.

На съезд партии он пришел спозаранку, чтобы побродить в кулуарах, рассмотреть знакомых, которых война раскидала по разным широтам необъятной страны, послушать боевых товарищей да и просто подышать живительным воздухом этого строгого и авторитетного собрания.

Шинели, кожанки, бушлаты, шлемы, фуражки, шляпы... Буйные шевелюры и наголо бритые головы, разномастные бороды и юные мальчишеские лица. Волнующее ожидание значимых слов от руководителей побеждающей республики — наполнилась слухами земля, что в кабинетах непривычно звучащих учреждений готовятся грандиозные планы мирного преобразования всей страны, что стремительное ленинское перо набрасывает масштабные, научно выверенные планы послевоенного развития республики.

Они еще не знали, кому суждено встать в мирный строй, а кому судьба уготовила Волочаевку и Перекоп, чьи имена лягут в строки поэм и песен, кого ждут горячие пули и смертельная шрапнель. Еще шутили и смеялись люди, ставшие потом памятниками и легендами... И уж совсем никто не ведал, что предательская болезнь подтачивает организм великого вождя и что не прошли для него бесследно отравленные пули эсерки Каплан, а изнурительный, исполненный труд Ленина стремительно приближает роковую черту. И те, кого пощадит

немилосердная судьба, через четыре года адским морозным днем будут провожать в последний путь человека, который сегодня в радостном оживлении пожмает руки, выстреливает лукавые и глубокие вопросы. Все это было впереди.

Бархатный, многоярусный зал замирал и взрывался аплодисментами, устало дышал, уносился в завтрашние и такие заманчивые дали. Единый порыв поднимал людей, и приглушенными выстрелами хлопали роскошные кресла бывшего императорского театра. Нет, не зачерствели души воинов в многолетних кровопролитных боях, и, чуть разглядев близкие контуры мирного будущего, они готовили себя к непривычным, не менее трудным ролям в грядущей жизни.

В перерыве боевой товарищ подвел Степана к Владимиру Ильичу. Оживленно жестикуюлируя, он с кем-то азартно разговаривал. Отпустил собеседников и стремительно, лукавым прищуром окинул фигуру Степана Ивановича:

— Так вот он каков, наш герой. Хорош, хорош, да и молод еще... — Загорелись озорники в глазах, добрые лучики расчертили щеки: — И уже успел столько набедокурить? Ух, как вспомню бумагу, так оторопь берет. Ну, там понаписали... — Заговорщически улыбнулся: — Выкрою время, обязательно встретимся. Тогда и потолкуем.

Его уже ждали десятки людей, и он быстро зашагал за кулисы.

В рабочем кабинете Кремля Ильич был обстоятелен и нетороплив. Чуть склонив голову, он внимательно слушал Степана Ивановича, пылливо оглядывал его ладно сбитую поджарую фигуру. И неожиданными, но конкретными вопросами обнаруживал удивительную осведомленность в делах армии. Коснулись самого деликатного и неотложного дела: как перебрасывать армию на запад, как оперативно и без ущерба для боеспособности войск одолеть тысячекилометровое пространство? Железная дорога манила и прельщала своей кажущейся простотой. А трезвый расчет подсказывал другое: где разоренная страна мобилизует десятки паровозов, отыщет тысячи единиц подвижного состава? Да и сколько же эшелонов надо сформировать, чтобы поднять и быстро перебросить громоздкое хозяйство целой армии?

Степан Иванович просто и раскованно высказывал свои сомнения и все глядел на задумавшегося Владимира Ильича.

— А что предлагает командование армии?

В вопросе читались заинтересованность и готовность выслушать любое предложение.

— Пойти своим ходом. Понимаю, неслыханно, в первый раз. Само собой — основательная подготовка. Авангарды уйдут вперед, о корме и стоянках позаботятся. Каждую дивизию самостоятельным маршрутом пустим. Связь постоянная — это естественно. И еще момент немаловажный: по пути подадим «батьков», атаманов и разных бандитов. На Украине их тьма-тьмущая, селянам житья не стало. Да и бойцы, Владимир Ильич, боевой навык не потеряют, и лошадям из формы выходить ни к чему. Впереди серьезные бои, фронт нешуточный.

— Убедительно, справедливо. — Пальцы Ильича скользили по карте. — И сколько же дней?

— Это штабисты рассчитают, привяжут все к местности. Четкий, неукоснительный график составим. В мелкие схватки не будем втягиваться, главное — впереди.

— Интересное предложение, очень разумное. Что-то здесь есть, поразмыслить надо. Попрошу в Реввоенсовете вновь все обмозговать. — И кое-что оставил на конец беседы: — Еще раз вчитался

в бумагу. — Конечно, много отсебятины накрутили наши штабные. Но, по совести, дыма-то без огня... — Открыто и доступно улыбнулся.

Не вытерпел Степан Иванович, ухватил нить рассуждений:

— Все, что правда, признаем, Владимир Ильич. И революционную дисциплину подтянем и отдельное своеволие командиров пресечем. Сами видим огрехи. Да и нас поймите: армия беспрерывно в боях, и зачастую опаздываем воспитывать. Читайте дневные сводки и, кого воспитывать надо, вычеркиваете из списка живых...

— А бой — это тоже воспитание. Да, не хмурьте вы брови... Всю Красную Армию подтягивать пора. Вдумайтесь — регулярная рабоче-крестьянская революционная армия! Образцом должна стать. С добровольной, беспрекословной дисциплиной! А будь по-другому — раздавят, уничтожат нас враги...

Слова ложились на бумагу емкие, выразительные. Маршал совсем не ощущал, что с той удивительной встречи с удивительным человеком прошло полвека. Все эти годы не иссякает самая длинная в мире очередь к давно умершему, но для дела революции всегда живому Ленину. Маршал в озарении преодолел временный разрыв и видел Ильича взволнованным, решительным, слышал ясные слова и неподражаемые интонации близкого и так запавшего в душу, великого в своей простоте организатора партии и государства...

Вставали боевые сверстники, неукротимые молодостью и убежденным упрямством, решительные, готовые до конца отстоять революцию. И хоть многих из них давно похоронил на степных просторах, в безымянных курганах, на белый лист строптивой прежде бумаги они приходили до боли, до мельчайших черточек живыми.

Выстраивались буквы в боевые порядки, вычерчивали минувшие события, грохотали отшумевшими боями... Куда-то пропало мучительное неумение подчинить слово и вложить в него мысль, послушным стало перо. Он очень боялся потерять столь чистый голос, опять заблудиться в словесной паутине, упустить натуральную и правдивую тональность. И раскованности нечастых творческих озарений радовался вдвойне — в его возрасте каждый прожитый день воспринимаешь как щедрый подарок судьбы. Потому надо торопиться...



После тревожной ночи, когда несвязный бред сменялся едва уловимым дыханием, когда Петровичу было ясно, что жизнь отсчитывает последние часы, улучшение было таким неожиданным и ощутимым, что доктор обрадованно растерялся. Его старое, изношенное сердце торжествующе забило — ошибся, ошибся! К утру на щеках больного робко проступил румянец, а дыхание стало наполненным и более ровным.

И отпустило напряжение последних дней, в котлом пребывал Петровиц, уютнее и не так сиротливо стало на душе. Скупая, глубинная нежность к больному другу сменилась робкой уверенностью — а вдруг минет их несчастье и на этот раз? Ведь такие перепады, опасные кризисы не раз повергали всех близких в смятение и заставляли готовиться к самому худшему. Особенно тогда, в конце сороковых...

...Война всем сильно поистрепала нервы. Маршал стал вспылчивым, раздражался по пустякам, а потом болезненно переживал срывы и старательно

заглаживал свою вину перед каждым, кому так нечаянно и обидно нагрубил.

Сумрачное настроение маршала Петровиц уловил уже в телефонном разговоре. И решил славировать, уклониться от встречи.

Времени у него и вправду было в обрез — он тогда работал в госпитале инвалидов Отечественной войны и сутками, благо холостяцкий статус не мешал этому, пропадал в прокопченных дымом корпусах, затаившихся во владениях товарной, крикливой маневровыми паровозами станции. Он стал объяснять в трубку, почему сейчас не может приехать. Что завтра необычайно трудная операция. Он будет ассистировать ведущему хирургу, а сегодня у него дежурство и поменяться решительно не с кем. Но маршал напористо разбивал аргументы, был неумолим и настойчив. На операцию ответят прямо с дачи, а подмену, если захочет, найдет! Что, не надо машины? Поездом? Так это же долго и утомительно. Ну, ладно, поезд так поезд...

Петровиц шагал со станции ухоженным перелеском, мимо кокетливо раскрашенных дач, укрытых добротными, утомительно однообразными зелеными заборами. Клейкие, дрожащие от радости разбуженной жизни листочки пахуче тянулись к тропинке, а удлинившиеся за раннюю весну дерзкие ветки заставляли наклонять голову, вскидывать руки. Перенасыщенный целебными запахами буйный воздух наполнял легкие, ширил грудь. Вся природа, только что умытая теплым и добрым дождем, гляделась жизнелюбиво и весело, гнала с души тревогу, телесную усталость.

Шло второе послевоенное лето. Отгремели победные салюты, замолкли в деревнях гармоники, встретившие живых и порывавшие в хмельном развесе о тех, кто не пришел, отстучали на стыках рельсов эшелоны с демобилизованными. Подсохли неутешные вдовы слезы. В семейные коробки легли ордена и медали, а мужики, привыкшие к армейской подтянутости и дисциплине, расхолаживались в деревенском быту. Мирились с застарелой щетиной, не думали о белоснежных подворотничках, благо рядом была покладистая баба, а не строгий старшина, и, облачившись в довоенные, кургузо скроенные пиджаки, теряли лоск и вымуштрованную статность.

Сама судьба приготовила многим из них заметные должности. Женщины, выбившиеся за войну на руководящие посты, безоговорочно уступали им свои места и как-то молча все подчинялись неузаконенной логике — какой бы ни был мужик, а все способнее самой раскрепасной бабы. Редко кто из мужиков отказывался от гербовой печати, да не каждый удерживал ее. Хоть и небольшая, но власть, и многих сбивала она с панталыку. Кто-то закружился, да так и не вышел из самогонного кручения; кто-то решил, что на доверенной должности главное — командный, не терпящий возражений голос...

Прошлогодний неурожай, разрушенная промышленность, обедневшие, разоренные до нитки за войну артели, неумение вновь испеченных председателей вести дела — все это утяжеляло и без того трудную послевоенную жизнь. Неуютными и голодными приходили в дома мирные дни, и вся страна в неимоверном усилии поднимала разрушенное хозяйство, латала зияющие прорехи, копала силы для решающего и зримого рывка вперед. И потому послевоенные будни были далеки от праздников; только труд, самоотверженный и каждодневный, сулил скорое и такое нужное сейчас улучшение жизни народа.

В госпитале чего не слушаешься за день-деньской... Здесь анализ жизни не всеохватный, не претендующий на научную беспристрастность статистических служб, но случайные, житейские факты вдруг высвечивают серьезные тенденции и приметы.

Война неохотно расставалась с действующими лицами; не успевший нанежиться за чуточку отвыкшей от него женой, раненый вынужден был ласку супружеской постели менять на скрипучую проволоку госпитальной койки. Приговоренный к томительному лежанию, но уже чуть поживший в послевоенной неустроенности, он приносил в палату все новости, радости и горести мирной жизни.

Петровику было не просто ответить на все вопросы раненых — слишком малой информацией он располагал. Да и весь день его проходил в этих унылых корпусах, куда война уложила свои недобитые жертвы и где продолжала алчно и беспощадно собирать печальную дань. Безногий сапер, чуть постарше двадцати, накануне пристрастно пытал Петровича:

— А вот тем, кто не дождался своих, а путался с другими, какое определяют наказание?

Видно, для юного калеки не было сейчас вопроса главнее. Он скрытно и мучительно терзался, украдкой перечитывал письмо, которое получил из деревни. Письмо, чуть не стоившее ему жизни. Зло-счастливый листочек верг парня в тяжелую хандру, потом сильно запрыгала температура, наполнили вялость и апатия ко всему.

Рассудительный чернобородый великан, стоически вынесший девять операций, мечтательно размышлял о где-то услышанном:

— Это точно — скоро отменят! Сколько ж на карточках можно держать народ? Вот тогда ребятня моя досыта хлебушка наестся. Перво-наперво, как приду домой, картошки с салом нажарю... И огурцов миску. Ну, и само собой стакашек для духу... Соседей покличу. Гульнем без карточек!

Обычно на затененной веранде Петровиц в неторопливые паузы пересказывал маршалу обо всем услышанном, сам расспрашивал его о многих малопонятных ему вещах.

Сегодня маршал был не улыбаясь, внутренне взвинчен, сумятичный какой-то... Петровиц догадывался, что пилит его острая тоска по стоящему делу. И, может быть, терзается боевой ветеран, что семимильно спешит время и не все улавливается в его лязгающей, машинной поступи, что молодые и безусловно более способные к переменам, выходят на большие и перспективные дела?

Конница сказала свое последнее и веское слово в минувшей войне и как грозный род войск уходила со сцены. После сорок пятого года, вспыхнувшего атомным грибом, опрокидывались фундаментальные доктрины, лихорадочно пересматривались привычные концепции, стремительно менялись оружейные арсеналы. Атомная монополия и открытый шантаж империалистов форсировали создание несокрушимых оборонных средств. Нелегко было родной стране, только что победившей в самой кровопролитной и разрушительной войне, принять военный вызов империализма. Но другого выхода не было — Черчилль в Фултоне провозгласил начало «холодной войны».

Разработка новых видов вооружений и враз изменившихся военных доктрин сместилась в закрытые сферы, и круг посвященных в тайны новой стратегии был туго сужен. На его орбитах крутились люди малознакомые, выплеснувшие наверх точными техническими дисциплинами. Под их начало ставились

десятки предприятий и целые отрасли хозяйства страны. Все было понятным и объяснимым: и новый кадровый подход и новая иерархия стратегов.

Сегодня маршал ершился, как никогда. Разговаривая с Петровицем, он будто продолжал жаркую полемику с отсутствующим собеседником.

— Это бесспорно: новые времена — новые песни. И все эти малопонятные лаборатории, работающие круглые сутки, и строго контролируемая информация. Там своя, непосильная для нас епархия. Но осталось другое — каждодневное воспитание бойцов, накопленный опыт. Его что, в могилу уносить прикажешь? Ну, окружили нас почетом, жизнь райскую создали, в президиумы сажают. А у нас еще порох есть, на полезную, а не на праздную жизнь способны. Прямо ватой обкладывают: и тяжело вам, и годы уважаем, и отдохнуть после войны не грех. А солдат, пропахавший на брюхе пол-Европы, он что, в перине нежится? Да он и не отдохнул-то толком, засучил рукава и хозяйство ладит.

Петровиц робко втиснулся в горячий монолог:

— Да зря ты так, и в управлении опрометчиво спор затеял. Правы они, правы. Деликатно подсказывают, что каждому свое время. Вся армия на колеса садится — так что теперь наше седло...

Но не успокоил, а еще больше распалил маршала:

— Надо прямо в глаза и высказывать. Так, мол, и так, образование другое нужно — времена новые настали, за мемуары беритесь.

И нестати, в разгар уже чуть затухающего спора, объявился нежданный гость. Новехонькая генеральская форма ладно сидела на молодящемся мужчине, и вся его уверенная выправка говорила о прочном преуспевании и довольстве. Он уважительно и по-уставному представился. Фамилия будто взорвала воздух. Враз подтянулся, полыхнул румянцем маршал, потемнел глазами, недобро и вызывающе прикусил ус:

— Чем обязан, генерал?

Смущенно, но настойчиво гость ответил:

— Хотелось бы наедине... Разговор лишних не терпит.

— А он не лишний, и секретов от него у меня нет.

— Да, знаете... Слова как-то застревают, начать трудно.

— По-моему, раньше вы были решительнее, — неприязненно усмехнулся маршал.

— Так то ж война... Да и служба требовала. Докладывать все, как есть...

— Святая истина. Все, как есть, но не впадая в анекдоты.

— Такого не было, товарищ маршал. Честное слово офицера. Записка была суровая, но чтоб прибавить чего... Да время-то было... Вспомнишь — волосы дыбом встают...

— Вы же со мной в Подлипках разговаривали. Лично. С оперативным планом знакомились. А потом — нате: маршал не владеет обстановкой, растерянность проявляет. Это откуда взялось в служебной записке?

— Так я же не один ее писал, товарищ маршал...

— А других я в глаза не видел. Покрутились где-то в частях, совокупность обстановки не уяснили, и раз тебе — бумага! За правду не больно — небылицы возмutilи.

Подавленно и растерянно молчал генерал. И Петровиц никак не мог понять, зачем он пришел сюда. Если грызет совесть и не дает спать стыд, если короста равнодушия не покрыла сердце, то смело, по-мужски покайся перед заслуженным и боевым

человеком. С себя грех снимешь, да и маршалу полегчает от саднящей, до сих пор не забытой обиды. Или пришел виниться наполовину? Вроде отметился у своей совести, какой-то штампик поставил — и валяй себе, живи спокойно...

Вот так и знал, что разволнуется маршал и опять нелегкие дни сорок первого придут в его сны, будут царапать душу, точить здоровье, омрачать настроение.

Маршал, против обычая, не пошел провожать гостя до калитки. Резко обозначились на его побелевшем лице скулы, заострился нос, вычленились до гневной жесткости плотно сомкнутые губы, и весь он, ошестинившийся, угрюмо-угловатый, гляделся постаревшим и обиженным.

Ночью Петровичу позвонили с дачи: у маршала начался сердечный приступ...

Тогда все показания были угрожающими, и болезнь решительно бросила его на койку. Но прежде не было таких зажелтевших, не из этой жизни рук, которые теперь лежали на одеяле. Тогда, пусть больное, но жило все тело. Сейчас жили только глаза...



Если глядеть со стороны, все это напоминало высадку шумного и разноцветного десанта.

Из резко тормознувшей «Волги» выскочили два шустрых, целеустремленных человека. Размашистые, деловые, они устремились к зданию дирекции. Телевизионный авангард примчался, чтобы подготовить плацдарм для своего съемочного войска. И подкатил автобус, высыпал из своего нутра бородатых молодых людей и экстравагантных девушек. Сделал несколько маневров и, прищвартовавшись к зданию, начал выпускать из себя провода-щупальца, вмиг опутав кабельной сеткой все входы и выходы...

Привыкшие к толчее и свету «юпитеров», избалованные вниманием корреспондентов и телекамер, известные наездники вмиг приосанились и радостно приготовились к предстоящим съемкам. Столь ураганное, напористое вторжение не взволновало и рысистых лошадей, увенчанных десятками медалей, видевших многотысячные людские скопища. Все это было знакомым и много раз испытанным. И потому не трогало сердца четвероногих премьеров и примадонн. До блеска вычищенные, облаканные заботливым человеческим уходом, они не боялись никаких технических новинок...

Но в сегодняшнем спектакле замечались отклонения от всех привычных сценариев. Черные змеи проводов протягивались мимо денников-люксов. Они струились в сумрачную глубину конюшни, и удивленные лошади, вдруг обойденные вниманием, недовольно поворачивали головы и с обидным недоумением следили за происходящим.

О важном событии Тихона предупредили с вечера. В дирекции с ним говорили тепло и уважительно. Чтобы конь не подкачал, да и самому надо быть на высоте... Приодеться, конечно... Это само собой. Обиходить лошадей по первой статье. А что и как делать — гости подскажут...

Сейчас конюх наводил последний лоск в стойле, успокаивал взволновавшегося от людской суматохи жеребца. С суточным запозданием возражал начальству:

— Умник на умнике, и все поучать горазды. Буд-

то Тихон на свет вчера родился и, как кутенок, по углам тыкается... И то сделай и за этим присмотри... Без них вроде в аккурате не жил, порядок блюсти не умею. Кураж держать научились, пыль в глаза пустить все мастера. Ну, хоть кино возьми... Эка невидаль. Аль страховодины мы какие и к съемкам непригодные? Им, ясное дело, красоту подавай. А ты умудрись героизм выглядеть, душу аппаратом разверни.— Провел затвердевшей ладонью по впалым щекам, выскобленным до синевы, поправил надраенные мелом позвякивающие медали и опять увяз в длинных рассуждениях: — Вот свояк описывал, что и как, — смехота одна. Да ты уж слышал, говорил я тебе. Человек серьезный, хлеб растит. По своим краям, можно сказать, человек гремящий. При ордене, не раз в газетах прописанный... Так к ним тоже студия нагрянула. Ну, и свояк — в заглавных. С кино раньше дела не имел — что он, Моргунов какой? — и фокусам не обучен. Но уважительный человек, слушает гостей. А у них уж все готово, они уж с Москвы определили, что и как свояку делать. По-первости, мол, ты встаешь спозаранку, окно открываешь. Ну, это и без них ясно: какой мужик не глянет в окно — ведро или дождь? Порядились, поспорили насчет времени — когда в деревне встают? Так нет — главная комедия впереди. Он, видишь ли, при галстук должен быть. Умора, да и все тут! Какой же дурак в пять утра галстук напяливает и на улицу выставляется? Заартачился свояк... Да сам посуду — кому охота себя на посмешище выставять? Не клоун какой, а хлебоборб! Дальше пошло-поехало. По их мысли, он утром поля осматривает. Не пора ли, дескать, уборку начинать? И требуют от свояка, чтобы он при полном параде и в штиблетах вышагивал. Мол, человек заслуженный и одежку соответственно... Ну, тут уж такой жиотаж начался, до председателя сельсовета дошли. Сваяк уперся — и ни в какую! Какой дурак ни свет ни заря ботинки напяливает? Роса опять же, обувь попортишь. Да и не к лицу пожилому человеку брандохлыстом выражаться. А уж когда узнал, что кино немое, так и совсем осерчал свояк. Видишь ли, от жира они теперь бесятся, к немому кино вернулись. Вроде свояк губами должен шевелить, но голоса не будет: музыка разная, а он весь в раздумьях... Я так соображаю: попал в кино, про дело свое скажи народу, что к чему и как лучше работу ладить.

Под усмешки Тихона, убаюканный его незлобивым, иронически-задорным рассказом, совсем успокоился Гранат в ожидании телевизионных нежданных гостей. Тихон примолк и последними взмахами щетки прихорашивал жеребца.

Грузный, невозмутимый оператор в пляжной кепчонке с непомерно длинным козырьком и низенький, говорливый режиссер с неухоженной гривой маслянисто-черных волос являли забавное и нелепое зрелище. Режиссер по праву старшего без усталости сыпал словесный горох, прыгал вокруг Тихона. Ставил его и так и сяк, стремительно обегал стойло и, поймав новую мысль, накатывался клокующей волной на замершего, как фсфинкс, невозмутимого оператора. Режиссерская скороговорка не делала пробоин в железном упрямстве оператора.

— С наплывом, в размыв с подсветочкой, а? Очерчивается ухо, захватываем гриву? Наплывает в экран косящий глаз, а?

Оператор лениво отмахивался, высматривал свои ракурсы, примеривался пристрелянным глазом к непривычной площадке. Вяло, но непреклонно цедил сквозь зубы:

— Не то, не то... Ну, и что глаз? Блики пойдут,

смажется все. Да при чем тут конюх? Сперва для жеребца точку найди, а потом и на сюжет пойдём.

А неугомонная шевелюра уже высовывалась между перекладинами, и шустрый режиссер атаковал новыми предложениями:

— Эрика, Вадим, эрика! С пола, со спины, красотища! Скользим по ногам, ах, черт, принарядить только их нужно. Выходим на гордую, но поседевшую голову ветерана. Приближается конюх и оглаживает боевого друга. Ах, не возвали вместе? Фу, дьявол! Ну, другой поворот. Символ общей судьбы, каждому есть, что вспомнить.

Длинный козырек отрицательно махнул и решительно схватился за камеру...

Тихон, любивший степенность в словах и поступках, с самого начала этого развеселого действия симпатизировал оператору. Тот сразу показался человеком основательным, годным для важного дела, за которым все и явились сюда. Суетный и смешной в своей прыгучести, длинноволосый режиссер нервозно взвинчивал атмосферу, привносил неуверенность и толчею. При первых вспышках «юпитеров» Гранат трепетал меньше, чем сейчас, когда яркий свет врубали много раз, нервирова и выводя из спокойствия лошадь.

Конюх робко откашлялся. Вмешался, обращаясь только к оператору:

— Может, не нужно, ежели что не так? В кино не снимались, может, не годные мы? Жеребец весь извелся. И чего мудрить, фокусы-выкрутасы строить? Гранат — конь заслуженный, не цирковая лошадь. К строю больше привык. Да его снять повсякому можно, все равно ладный и видный жеребец. А что подсобить иль рассказать о чем, так это что ж, вот я, весь наготовности...

— Да нет, что вы, папаша. Говорите, говорите. Вот так, так... Не склоняйте голову, к Гранату идите. Руки, руки... Еще нежнее, морду жеребца поверните. Раскованнее, душевнее... Вот так, отлично, блеск!

Тихон удивленно и совершенно спокойно выполнял все команды оживившейся, вошедшей в рабочий азарт пляжной кепчонки. Он с каким-то изяществом поворачивался, клал руку на теплый круп коня, смотрел в синевший глаз объектива.

В конце съемки, закрасневший от яркого света и спохватившись, не набрызжал ли чего лишнего, застенчиво обратился к оператору:

— Вопросик один имею. Может, тут... — Заскорузылым пальцем притронулся к аппаратуре. — Может, тут я чего лишнего наплел. Так это с раздраженности. В кино бы не надо. Мало ли что намелешь языком, а кино — вещь ответственная.

И куда делась грузная невозмутимость оператора. Он рассмеялся раскатисто, неторопливо:

— Не волнуйтесь, отец, говорили складно и правильно. Мы очень довольны. А если и загнули малость, без вас справимся. Ножницы всегда заточены, поработаем, почистим.

Гусар остро переживал обидное невнимание к нему, известному жеребцу, для кого съемки не в диковинку, около которого десятки раз крутилось веселое и суматошное телевизионное племя. Оператор ни разу и не посмотрел камерой в его стойло. Правда, бегло прочел табличку с перечнем былых заслуг, стрелянул в его сторону торопливым взглядом, заинтересованно обронил: «Ах, тот самый Гусар», — и вновь занялся Гранатом.

Люди смотали провода, погасили искусственное солнце. Убрали аппаратуру. Непостижимые в своих поступках люди, понять которых решительно невозможно...

Уже больше месяца война не разрывала летние рассветы и не собирала с людей každодневную жертвенную дань. Пока было трудно измерить все глубины страданий и горя — страна изумленно подсчитывала ужасающие цифры конкретных потерь. Москва не озарялась вечерними салютами, а репродукторы больше не печалили людей напряженными словами Левитана: «Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины!» Москвичи облегченно радовались, что не разламывается над столицей гром строго регламентированного числа орудий. Потому что уже ни для кого не было секретом, что за мажорной тональностью слов: «Штурмом овладели...» — стояли тысячи убитых парней, которым больше никогда не слышать салютов.

Трудно настраивалась мирная жизнь. Поток демобилизованных, которых ждали в городах и селах, о ком грезили всю войну, вдруг начал иссякать, незаметно свертываться. Эшелоны с победившими солдатами внезапно уклонялись с первоначальных маршрутов, по окружной дороге обходили Москву и устремлялись на восток. Грохотали теплушки беспечным смехом бойцов, заливали безымянные полустанки бравыми мелодиями трофейных аккордеонов, и гривастые дымки торопящихся вдаль паровозов обдавали теплом придорожные сибирские леса. Бывало и так, что проносился в ночи родной город солдата или в каких-то двадцати километрах в чутком ожидании спала его деревня, но, погасив тоску в сердце, приученный к дисциплине, он стойко выполнял приказ...

Только немногие посвященные знали, что скоро развернутся эти нескончаемые эшелоны в армии и фронты. Получат новую нумерацию и названия и прямо с колес вступят в еще одну войну, не столь страшную, но ждущую свою долю крови и жертв. Уж так все поворачивалось, что через сорок лет опять должны были зазвучать русские песни на сопках Маньчжурии, а погрязшая честь горьких дней девятьсот четвертого восстановлена с большой исторической справедливостью.

Конечно, многих недосчитаются стремительно несущиеся навстречу своей судьбе эшелоны. И уготовано кому-то лечь на восходной стороне, далеко от друзей, навеки уснувших в Европе... Но как угадать, кого пометила неотвратимая судьба, да и стоит ли после такой победы задумываться о смерти? Балагурили, дурачились теплушки... На станциях развязно заигрывали с девушками, воображение рисовало в каждой самую желанную, и щемило сердце от сладостной тоски даже у пожилых...

Неумолимо стучали колеса, отделяя солдат от мирной, но пока недостижимой для них жизни, а каждая сотня километров приближала к новой войне. Чем дальше на восток, тем информированнее становились вагоны. Теперь и низшее звено понимало, что не на экскурсию везут их через всю страну и вновь придется наступать, окапываться, бросаться в штыковую и кому-то умирать на немыслимо далекой земле. Буйное веселье, шедшее изнутри, — потому что не измолота тебя гигантская мясорубка и выжил ты всем смертям на зло, — вдруг прерывалось тревожной тишиной и задумчивостью: а какой жребий уготован теперь? Никому не хотелось умирать сейчас, когда позади девять пройденных кругов ада и уцелел ты вопреки всем расчетам врагов, а кругом поднимается жестоко израненная, но выстоявшая жизнь, которая вот-вот обретет довоенную крепость и новую дивную красоту.

...Многолетняя привычка выросла в него накрепко — поднимался маршал ни свет ни заря. Чуть забрезжило — он был уже на ногах. Сегодня занимался особенный день — долго и мучительно ждали его прихода. Великая страна принимала парад Победы...

Маршал спозаранку решил управиться с делами. Ему предстояла инспекция эшелонов, так стремительно спешивших на восток. Он знал о внушительной масштабности пока еще секретной кампании. Много повидал на своем веку маршал — горькие уроки отучили делить войны на большие и малые. Нет легких войн — каждая потребует своего. Полководческого умения, мощной техники, героизма солдат. Каждая потребует жертв... Потому так хотелось посмотреть на тех, кто от мира вновь пойдет в бой, кому Родина доверила сделать последние выстрелы...

Машина металась по неоглядному хозяйству узловой станции. Да, такого он не видел давно. Куда ни кинь глаз — все запружено войсками. Любо-дорого было глядеть на солдат сорок пятого года! На грозную технику, которой были забиты все пути. На платформах дремали могучие танки; прикорнули, дожидаясь своего часа, гвардейские пушки; спеленутые брезентом, ждали взлета боевые самолеты. Маневровые паровозы неустойно бегали по путям, привычно ориентируясь в паутинах рельсов. И сцепляли, сцепляли вагоны...

Железное лязганье буферов, резкие гудки паровозов, дудки стрелочников не могли погасить взволнованный людской шум. Разливы гармошки, грустные аккордеоны, смех молодых, еще не ведающих о своей судьбе солдат затопляли станцию задорной бесшабашностью.

Озабоченные командиры сновали в людском столпотворении, и тревожило их одно: как бы не отстали от эшелонов, не затерялись в стихийной круговерти их подчиненные. Офицеры тоже не знали конечных маршрутов, но приказ соблюдали строго. Резко трогался какой-нибудь состав, и трусили вдогонку отставшие, только что встретившие фронтовых дружок солдаты. Догоняли свои эшелоны и, подхваченные сильными руками, вспрыгивали в теплушки...

Маршал рассеянно слушал рапорт командира дивизии. Суточные рационы, маршруты следования, моральное состояние солдат... Все это скользило мимо его внимания. Он злился на себя, но сосредоточиться на докладе генерала не мог. Неподвластные думы бежали назад, к тем ураганным дням, когда до Победы нужно было шагать и шагать...

...В просторной избе, где временно остановился командующий, было сумрачно и неуютно. Моторист колдовал на улице с капризным движком, но тот чихал, выплевывал грязный дым, а заводиться никак не хотел. Солдат нервничал, матерился сквозь зубы, понимая, что, оплошав он сейчас, не миновать нагоняя. Злосчастный движок вконец вывел из себя маршала. Он толкнул примерзшую створку окна и крикнул солдату, чтобы тот заглушил мотор и убирался подальше. В избу вбежал адъютант, успокоил командующего — через несколько минут подвезут аккумуляторы. Зажег десятилитровую лампу. Маршал склонился над картой. Но что-то выводило его из равновесия. Он резко обернулся. С печки глядели вопросительные детские глазенки. Не моргая, ожидая... Маршал улыбнулся, помянул их Зашелестел лук, встряхнулось одеяло, и по приступке скатился белобрысый мальчуган. Солдатские галифе захлестом обернули тощенькую фигуру, обмотки на худеньких ножках делали его похожим на рано состарившегося гномика. В его кар-

мане железно брякнуло. Он торжествующе улыбнулся, извлек гранату. Положил ее на карту и, чуть помедлив, вытащил капсюль. «Ну и ну. — Маршал вытер холодный пот со лба — Вот это гостинцы! Один удар — и взлетели бы все на воздух».

Маршал поднял подбородок мальчишки:

— Зачем тебе граната?

— Фашистов взрывать, — гордо ответил гномик.

— А где ты ее взял?

— Дяденьки дали. У меня одна, а у Петки целых три...

От печки, крестясь и охая, семенила к столу глубокая старуха.

— Не сердчайте, товарищ генерал. Стара я, чтобы углядеть за этим постреленком. Опять что-нибудь натворил?

Мальчишка пугливо поглядывал на маршала, ожидая нахлобучки. Степан Иванович взьерошил его вихры, и острая жалость к этому несмышленишу пронзила его. Он сунул мальчишке пачку галет и легонько оттолкнул от стола.

Старуха смелее подступилась к доброму человеку:

— Ответь мне, сынок, когда же конец этой страсти? Неужто и вправду под чужеземцев попадем? — Горько и безнадежно всхлинула: — Васенька круглой сиротой остался. Мать на mine подорвалась, отец в первые дни погиб...

— Скоро, скоро погоним врага.. Дождемся и мы праздника.

— Дай вам бог одолеть супостата. Только мне светлого дня не дожидаться. Когда-то он придет к нам? А вы и за нас поспрадите. Кто не дождался светлого дня. По первости за воинов, живот положивших. Да и стариков не забудьте! Нам бы тоже хотелось хоть одним глазком глянуть на победу. Храни вас господь...

Маршал оторвался от воспоминаний. Командир дивизии робко покашливал. Рядом с ним, изящно вскинув руку под козырек, замерла статная женщина в отутюженной, ладно пригнанной форме военного врача. Глаза ее нарушали устав — было в них лукавство и озорство задержавшейся в молодости женщины. Но колкие морщинки, прострелившие чуть заметными обводами эти глаза говорили о возрасте, уже перешагнувшем зенит женской красоты, однако сохранившем ее глубинную, не ошеломляющую с первого раза привлекательность.

Генерал кашлянул громче, выводя маршала из задумчивости. Степан Иванович извинительно встряхнулся:

— Все отлично, генерал!

Посмотрел на военного врача. Хотел было спросить у генерала: что делает тут посторонний человек. На маршала всплеснулись синие глаза. Затаенные, с загадочной хитринкой. Они дразнили, приказывали — узнайте, узнайте! Что-то давнее напыляло на него, вроде знакомое, но упрямо скользящее мимо. И вдруг зацепилось, вспыхнуло резко. Как дорогой снимок, сделанный бог знает когда. ..Земляной пол чистенькой мазанки... Сиделка, вкусно посыпавшая на табурете... Пугливая красота теще-душной девчонки. Синева глаз... Слезы, слезы... Торопливые, крупные, по-детски несчитанные...

— Ольга.. — споткнулся на отчестве.

— Федоровна, — готовно подсказала женщина.

Генерал услужливо провел их к себе. В вагонном сумраке маршал разглядывал Ольгу Федоровну. А разговор буксовал, не поворачивался на простой и естественный ход. Степан Иванович боялся неуклюжими вопросами разбередить отболшевшее и, видимо, навсегда ушедшее из ее жизни. Но спро-

сильно хотелось о многом — сколько же воды утекло за эти годы...

Ольга Федоровна решительно сломала неловкость:

— Деликатный вы, товарищ маршал. Тогда сама скажу.

— Да стоит ли ворошить... — неуверенно протянул он.

— Чего уж там! В жизни всякое бывает. Разлюблила я Петровича. Он, может, и обиделся, не понимая меня. Поверьте, Степан Иванович, не от легкости все пошло. Не склеилась у нас жизнь, тепла семейного я не дождалась. Целыми днями одна. И любовь засыхать стала. А тут, — смахнула со лба непослушную прядку волос. — Серьезный человек... таким вниманием окружил... Ну и потянулась к нему...

— А с ним-то как? — неприязненно спросил маршал.

— Хорошо было. — Заискрились глаза, румянец залил щеки. — Только счастье недолгим оказалось. — Сникла, постарела враз. — Под Кёнигсбергом погиб Николай...

Маршал смутился, угрюмо замолк. Злился на себя, что так демонстративно выражает антипатию Ольге Федоровне. Не ему развязывать хитрые узлы семейных отношений. Что ставить в вину этой женщине? Разлюбила? Ушла к другому? Такое не в диовинку. Тогда что же?

Перекинул последний мосток в угаснувшем разговоре:

— Ольга Федоровна, давайте ко мне в машину С вашим начальством договорюсь. Парад Победы посмотрим. Петровичу позвоним...

— Спасибо, Степан Иванович. За все спасибо. Мой эшелон уходит. — Пронзительно и грустно поглядела на маршала: — И звонить не надо. Пепелище осталось. И вновь огня нам не раздуть. Да и поздно сызнова начинать...

Древняя площадь никогда не видела такого достойно-сдержанного, победного парада. Тысячи ботинок мирных людей шлифовали ее брусчатку на предвоенных, плескавшихся из края в край демонстрациях, с нее уходили в бессмертие в грозную годовщину Октября сорок первого...

Сейчас величавое молчание нарушалось только цоканьем сапог солдат-победителей, да барабанная дробь рассыпалась грозными, предупредительными очередями. На площадь вливали склоненные, побитые вражьи знамена. Презрительно и гадливо несли их победители и, круто развернувшись у Мавзолея, швыряли ненавистные тряпки, которые совсем недавно так гордо развевались над покоренной и угнетенной Европой.

Сводные подразделения фронтов впечатывали в брусчатку свой уверенный шаг. Армия-победительница делегировала сюда самых достойных воинов.

Дух захватывало от этого выстраданного и заслуженного праздника. Маршал не мог унять волнение, глядя на великое торжество, которого наконец-то дождались, любовно всматривался в монолитные, четко державшие шаг ряды, с восхищением следил, как безупречно и слаженно выполняют команды на этом невиданном параде. Ком подкатывал к горлу, а глаза застилала пелена. Пришел и на нашу улицу праздник.

И сейчас на этой торжествующей и великой площади увиделись маршалу те, кто не дошел до Победы. Но кому так хотелось ее дождаться...

☆☆☆

Что толкнуло его в тот прискорбный день на шальную выходку, почему он повел себя как не ходивший под седлом стригунок, откуда вселилось в него тогда необъяснимое сумасбродство? Гранат плохо спит осенними ночами, и за длинные часы многое оживает в его памяти...

Среди спокойных, греющих старую кровь воспоминаний, когда видит себя молодым и послушным любимому человеку, эта картина беспокоит его лошадиную совесть, не дает дремотно и заслуженно отдохнуть. Тяжким наказанием плывет в его сознание эта картина каждую ночь, омрачая жеребца почальными подробностями, усиливая конскую вину, обостряя и без того ставшую невыносимой тоску по хозяину.

Все было нормальным и тогда. Тихон, принаряженный, ободренный с утра. Привычные хлопоты в конюшне, волнение от предстоящей встречи, молниями заходившее по жилам жеребца. Он никогда не ошибался в предчувствиях и по людскому поведению определял, что сулит ему наступающий день. Впереди — радость, скоро он увидит хозяина, ощутит его властную и родную руку. Потому так жадно пожирал корм, торопясь к солнцу, пьянящему ветру, к самому близкому человеку. Тихон несколько пригасил его торопливость, вовремя напомнив жеребцу, что и сам тоже волнуется. Но порядок блюсти должен и конь и человек! Гранат соглашался с рассудительным конюхом, но не понимал, что лихорадочная спешка не приблизит час встречи — все его существо томилось от нетерпеливого ожидания.

А ритуал, заведенный людьми, оставался нерушимым. После старательной чистки вроде и проверить нечего. Но куда тут! Пришел человек из дирекции и придирчиво рассматривал лоснящуюся шерсть, щупал ноги Граната, заглядывал в зубы. Потом строго и дотошно выпрашивал Тихона ветеринара, все листал свою книжку и часто протирали запотевшие очки. На разминке Гранат не артачился, а с радостной готовностью выполнял все команды наставника, отменно старался, был собранным и послушным воле человека. В такие дни его внимание обострялось, а готовность угодить, понравиться резко возрастала.

Он издали увидел группу людей, среди которых был самый близкий для него человек. Сразу напрягнулся и без того красивый, размашистый шаг, подтянул свой корпус. Тихон, как всегда, серьезно собрался, приосанился и прямо на глазах помолодел. Они смотрелись со стороны красивой и впечатляющей парой. Восхищенный шепот прошепестел среди гостей, смешал их спокойное ожидание — враз заходили руки, задирались головы.

— А вот и мой красавец, — гордо встретил их хозяин. Теплая рука потрепала холку жеребца.

В молодом, труднообъяснимом трепете билось сердце Граната. Оттого, что жизнь дарит такие счастливые минуты, что приехал хозяин, которому он мил и приятен, что кругом необозримый простор воли... Как хотелось, подхватив седока, ринуться на бешеном скаку к дальнему лесу, пронзить стрелой это пустынное расстояние и мчать без усталости любимого человека на самый край света. Пока хватит конских сил, пока не рухнет он на землю, отдав всю накопившуюся резвость и любовь хозяину...

Последовал малозаметный для посторонних сигнал конюха, и Гранат изогнулся, застыл извращением на стартовой отметке. Он опять, как и в самый первый раз, прозевал прыжок всадника в седло. Ка-

кие-то дикие бесы взыграли в нем, степная ярость затмила сознание. В слепом гнев, что его, десятилетнего жеребца, провели, как сосунка, взвихрился Гранат и на глазах изумленных зрителей начал выделять несурзные номера. Мелькнуло побелевшее от страха лицо Тихона, в бешеном хороводе закрутились люди, здания, деревья... Жеребец вытянулся свечой, круша копытами теплый воздух, протанцевал на задних ногах, но влитое в спину седло не стало легким. Грохнулся на траву, сделал два громадных скачка — тщетно! Всадник уверенно главенствовал. Тогда клокотавшая злость бросила коня в стремительный полет. Как-то сразу он поймал немислимую скорость и выгнулся вдоль земли. Свистел ветер, комья земли выстреливали из-под копыт. Гранат облетел один круг и с диким храпом заложил второй вираж. Стучало в обезумевшей голове, и сквозь азартные звоны он слышал смеющийся, уверенный голос хозяина. Слова разрывал ветер, они не выстраивались в привычные команды, и оттого еще больше злился жеребец. На свой бессмысленный бунт и обидное бесилие... Хозяин есть хозяин, и власть его непреходящая! И самое яростное желание полной свободы не всегда дает ее. В нервном беге он поднимал километры. Но шенкеля оставались властными, уверенными, а стальные грызла все так же диктовали ему направление полета. Людские лица в этой бешеной пляске преобразились: страх сменился восхищением, растерянность — уверенностью. Гордостью за всадника...

Но Гранат не смирился с поражением. Не удался аллюр — попробуем сюрприз. Хозяин нераздельно распорядается его судьбой и потому должен слететь наземь. Он обожаем всегда, но нетерпим сейчас, когда дикая степная кровь вдруг запросила полной свободы...

Гранат погасил скорость и в хорошем, наезженном ритме прошел два круга. Страсти стали стихать, все пришло в обычный порядок. Тихон, прогнавший с лица испуг да еще польщенный вниманием высоких гостей, облегченно вздыхал и всюду хвастался:

— Горячих кровей жеребец! Такого и стойло не утихомирят. Какой цирк устроил! Не лошадь, огонь, окаянный. — И, совсем загордившись, продолжил: — Да и всадник — сила! Такого не собьешь — кишка тонка! В прошлый раз маршал сразу его бунт сбил. Тоже жеребец заартачился — да не тут-то было. Пять кругов ему дал маршал — и готов, весь в мыле. Послушный, как собака...

Жеребец взвинтил скорость и стрелой вылетел на прямую дорогу. Силы были на исходе, но бушевавшая кровь собрала их в тугую узел. Земля стлалась под ногами летящим зеленым одеялом, неуправляемо колотилось сердце, ёкала селезенка. Все ближе, различимее лица людей — последняя черта сумасшедших скачек. Сотня метров отделяет жеребца от триумфа — любимый всадник будет поспрамлен. Гранат тормознул так резко, что подковы прочертили в зеленоющей траве два желоба. И сам едва устоял на ногах. Но что это? С таким оборотом дел примириться было трудно. Даже опытные всадники при этой нечестной остановке летят через голову лошади.

Тяжелая одышка вздымала взмокший бок жеребца. Хозяин выпростал из стремени ногу, поправил седловку. Утвердился на земле — грузный, усталый, но непреклонный. Повернул к себе лошадиную морду. Долго глядел в залитые кровью глаза Граната. Устало поскружался, не то выговаривая, не то похваливая:

— Чего ты взбесился, дружок? Какая муха тебя

укусила? Резвости твоей очень рад. Да не надо больше так. Сам видишь — и у меня годы не те... Держался из последних сил. Еще один твой финт — и лежать мне блином на траве.

Присмиривший Гранат слушал хозяина. Горько раскисался, что вытворял сейчас недостойное степного и выезженного жеребца. Его послушание было дерзким и все-таки смешным. Бунтовать против любимого человека — ну, разве этому учился он в лошадиной своей жизни? Вроде не ждет он долгими днями и до бесконечности растянутыми ночами сильную руку и властный голос дорогого человека. Но как объяснить все это подобревшему и всегда любимому хозяину, теплая рука которого ласково снимает дрожь конского раскаяния...



Вот и опять поплыл, поплыл тот апрельский день щедрым теплом и засиненным сквозным небом. Календарь утверждал только раннюю весну, а в улицы смело дувалось невесть откуда причмавшееся лето. Асфальт прогрелся быстро, уступчиво размяк, и дышали столичные магистрали удушливым гудроновым теплом, бликовали хромированными боками отогрившихся автомобилей, плескались людской толчеей. В уличной толпе прокрававшееся лето не успело унифицировать одежду: невесты в легкие рубашки вспыхивали рядом с наспуленными шубами и дубленками, а среди гривастых, ухоженных шевелюр ондатровыми островками плавали зимние шапки...

Маршал любил это природное перепутье, всегда удивительный разлом времен года, когда уползали к северу блеклые зимние краски, дни ширились и становились всеохватными, а люди теплели лицом и мыслями, кончали говорить о малоизвестном гриппе, принимаясь шумно обсуждать время летних отпусков. Весна тормошила, будоражила любой возраст. Ждал юный человек скорой любви, трепетно боготворя весну; пожилому весна близила еще одно уютное лето. Когда не будет судорожных перепадов скачущего давления и сереньких зимних дней, которые угрожающе давят на изношенное, уставшее сердце. И хоть десятки раз встречал ты весну, приход ее всегда волнует. Есть что-то колдовское и неуяснимое в привычной повторяемости. Наособицу каждая весна, и по-разному ведет она приборку. Вершится непостижимое таинство — весна творит новую жизнь, всем охотно раздаривает могучий эликсир, вливает в них только ей подвластные силы, а, главное, отделяет надеждами.

Маршал пытливо, подобревшими глазами вглядывался в уличную толчею, шумевшую на все голоса, и было ему необыкновенно легко. Годы отодвинулись, забылись, а повседневная усталость утекла из салона машины и растворилась в уличном гомоне. Не хотелось думать о горьком и неотвратимом: а не последнее ли в его жизни это природное перепутье? Он не расслаблялся, не впадал в светлую грусть. Маршал спешил на съезд комсомола, он встречается сейчас с юностью любимой страны. У которой нет старости и неразрывна ее возрастная эстафета.

Маршал подчеркнуто прямо держался в президенте и растроганно выдержал шквал аплодисментов. Теплое волнение, с которым он не мог совладать, сбивало дыхание, накатывало спазмы. Вникал в слова молодого солдата, который рапортовал с трибуны о каждодневной готовности Вооруженных Сил встать на защиту любимой отчизны.

Перед глазами маршалаплыли размытые картины давно минувших дней. Память унесла его в далекое Полесье, на белорусские земли, которые ждали своего вызволения из фашистской неволи. Июньским рассветом сорок четвертого года на командном пункте ударной армии они ждали первого залпа. Начиналась операция «Багратион». План был прост, смел и грандиозен. Полководческий гений советских военачальников давал предметный урок гитлеровским штабистам — наносился невиданный стратегический удар на широком фронте и на большую глубину.

Командующий ударной армией выразительно посмотрел на маршала, посветив фонариком на часы. Оставалось три минуты. Они без слов поняли друг друга, они, познавшие трудность сорок первого, сталинградскую стойкость сорок второго, победное торжество Курской битвы.

Через минуту развернется земля и тысячи тонн металла обрушат орудия на головы оккупантов. Заговорит грозная и могучая техника, которой вооружил бойцов негибимый советский тыл.

Гордо, не скрывая радостного волнения, смотрели военачальники друг на друга — какую же мощь обрела армия, какой боевой опыт накопили командиры.

Маршал ничего не мог поделаться с памятью — он слушал звонкий голос солдата, а виделись давние бои и сражения, в которых отстояли они жизнь для молодых.

Это уж потом, в нарядном, поющем холле... Когда оказался маршал в кольце юных, вдруг мелькнуло лицо. Молнией ударило — так ведь это Ганна! Ганна, Ганночка, шагнувшая из двадцатого прямо сюда... И сразу увиделось...

...Тогда схлестнулись на встречных курсах. Эскадрон с ходу врубился в улюлюкающий отряд какого-то «батька», и сеча вышла мгновенной и кровавой. Бандиты были порубаны и рассеяны, а красные конники провели этот бой так стремительно и грамотно, что в эскадроне не было потерь. Если не считать... Нелепый, дикий случай, удар слепой судьбы. Сестра милосердия Ганна нагнулась за черпнутой воды, а какой-то уцелевший бандит полоснул в нее из обрезка. Она жалобно вскрикнула, опустила на траву.

Всякое повидал Степан Иванович... Смерть встречал в разных обличьях. Считал, что закалил свое сердце. Они, растерянные, потрясенные, смотрели на угасавшую жизнь. Чудовищная нелепость этой смерти оглушила всех. В руках конармейцев бился чубатый бандит, только что сотворивший страшное и бессмысленное убийство. Конвоиры поглядывали на Степана Ивановича. Ждали его приговора.

Девушка лежала на спине, и черная корона ее волос впечаталась в зеленое одеяло. Теряя вишневую сочность, губы блекли. В увлажненных глазах Ганны плавала высоченная синь украинского неба, тихо угасая вместе с девушкой.

Домовито возился шмель на клеверной головке и все норовил поудобнее устроиться на сладком цветке. Застойно крутилась в омуте прогревая вода, и хороводились над ней глупые поденки... Разморенная тишина закладывала уши. И все-таки бойцы слышали, как с умирающих губ слетело:

— Хлопчика ждали... Богдан совсем изведется. И погасла Ганна. А в немеренную синь над могилой умчались пули салюта. И вперед пошла конница...

Такая награда судьбы... Он вновь увидел Ганну, здесь, среди этой ликующей и счастливой юности. Вскинулись те же глаза, встряхнулась та же корона смолых волос. Девушка зарделась, удивленно замолкла, когда шепнул ей Степан Иванович:

— Хлопчик будет — Богданом нареки, а девочку пусть Ганной кличут.

Потом усмехался про себя: ну, что могла подумать о нем смутившаяся девушка?

Дома адъютант долго допытывался: что он сказал красивой дивчине?

☆☆☆

Бабка Анисья умерла на пасху, не проболев и часа.

Просветленно улыбались ее ровесницы, шепча бескровными губами, что в «благости и смирении» преставилась раба божия...

Гробы для себя и жены Архипа сколотил давно. Он постругал посеревшие доски, сам обрядил покойницу. Поставил гроб под образа и всю ночь просидел у зажженной лампады. Товарки Анисьи шмыгали носами, боязливо всхлипывали, с опаской косясь на сумрачное лицо Архипа.

Он не обронил слезы и за гробом шел надменно одиноким и враз постаревшим. Когда вернулись с кладбища, позвал всех в избу. Бабы изумились — столько снеди и питья выставил на стол овдовевший Архип! Сам к еде и зелью не притронулся. Рассадил по лавкам гостей, отдал ключи хозяйственной Фросе и поспешно ушел в кузницу.

Первач ударил в голову, сломал приличествующую тишину, и, уже не таясь, все распаленнее и злее рвались из окон бабьи голоса.

На деревне недолюбливали Архипа: за нелюдьмь и колкий нрав, за злую усмешку, вечно стывшую в тяжелом, изучающем взгляде. Бабы жалели Анисью. Безропотную, угловатую, ходившую бочком, неприметную в мыслях и делах. И все годы сокрушались — как все-таки могла она выйти за насупленного и даже в молодости молчаливого и желчного Архипа. Со временем вроде бы примирились, меньше стали судачить. А когда Анисья родила трех погодков и вымахали они стройными парнями, примолкли вовсе, рассудив, что не такая уж тяжкая доля выпала подружке, если из окон Архиповой избы слышен смех и тихое пение Анисьи.

На поминках всех горячила раздумывавшаяся Матрена:

— Насупился, старый хрыч, небось, жратву жалеет.

— Да поперхнись ты, балаболка, — урезонивала ее рассудительная Фрося. — Креста на тебе нет. Невмоготу сейчас Архипу, не береди его сердце...

— Каменное оно у него, — язвилась Матрена. — Как истукан, в могилу уставишься, хоть бы слезу обронил для порядка.

— Это у тебя слезы на копейку ведро, а у мужиков они продукт экономный, понапрасну не льют, — сдавалась Фрося. — Один, как перст, горе мыкать остался. Ни Анисьи, ни сыновей...

— Уж не водить ли им папану под белы руки? Мало он куражился, помыкал ребятами? Какой хошь незлобивый, а таких обид не забудет.

Фрося решительнее вступилась за Архипа:

— Не нам с тобой судить, кто прав, кто виноват. Крутоват Архип... Да и на ласку скуп, но росли дети обихоженными, и не меньше других жалел их отец.

— Зато теперь ни весточки, ни привета, — не сдавалась Матрена.

— Такое тоже их не красит, хоть и в грамотных вышли, — печально бросила Фрося. Истоиво пере-

крестилась и виновато зашептала: — Не о том языки чешем. В такой день и столько злобы ворошим.— Торопливо принялась потчевать собравшихся.

То ли вспомнили, зачем пришли в этот дом, то ли схлынуло возбуждение первой рюмки, но разошлись старухи притихшими, вытирая уголками платков глаза, причитая и жалуясь на свою немощь и постоянную хворь. Торопились кормить, поить скотину, собирать на стол мужикам, которые вот-вот вернутся с лесосеки.

Фрося ухватом задвинула чугуны в остывающую печь, прибрала со стола, выскребла судницу, перемила посуду. Оглядела осиротевшую враз избу, тихо притворила ворота, накинула на косяк скобку и зашагала прочь от опустевшего дома...

Архип сидел у наковальни и отрешенно смотрел на подернутые сереньким пеплом гаснувшие угли. Он никак не мог совладать со своими мыслями. Они уводили куда-то его ум, сбегались на мелочах, дробили главное. То ему хотелось подлатать равные мехи, то заклинить рассохшийся ручник, то раздуть горн и оттянуть притупившийся лемех. Он вроде бы спал наяву. Это мутное состояние началось с того вечера, когда в испуганном шепоте жены он расслышал неотвратимую беду.

Архип на кухне подшивал валенки, Анисья на чистой половине штопала носки. На цветастой занавеске в лад с движениями жены колыхалась ее тень. Они мало разговаривали в последние годы: все было переговорено, да и привыкли сильно друг к другу, так что лишние слова только раздражали и казались ненужной роскошью.

Дратва посвистывала в руках Архипа, и он не сразу услышал беспомощный зов жены. Валенки слетел с колен, боязливо дрогнули ноги. Архип схватился за стояк и отдернул занавеску. Голова жены клонилась к столу. Архип схватил Анисью, легкую, съезжившуюся от смертного страха, и опустил на кровать. Она испуганно и виновато глядела на него. Архип рванулся было на крыльцо — надо было звать людей, — но побелевшая и слабая рука запротестовала.

Он опустился на колени и растерянно смотрел, как уходит от него жена. Ресницы Анисьи чуть вздрагивали, а лицо заливал далекий от жизни цвет. Он с ужасом думал, что Анисья уходит навсегда и оставляет его одиноким. Она переступала ту черту, за которой нет ничего, и оставляла его здесь, где плещется вода, светит солнце, живет разная живность. Но неистребимая и в смерти материнская любовь встряхнула обмякшее тело: видно, на пути в жуткую пустоту она спохватилась, что не все материнские обязанности выполнила в людском мире. Веки трудно открылись, и спокойные глаза прощающе обласкали мужа:

— Ребятам напиши. Сердце на тебя имеют, так ты всему зачин. Совесть свою разыщи, повинись, Архип. Добрые люди помогут. Повинись, повинись...

Материнской воли хватило только на эти слова. Смерть строго отсчитала секунды. Глубокий вздох передернул тело, и, откинув голову на подушку, Анисья затихла.

...Едкий самосад лезет в нос, першит в горле. Архип машинально стучит ручником по наковальне, и металл гудит промороженно и глухо, а старику чудится, что напевно звенят колокола. В глазах у Анисьи росинки, но это так, для людей. В знак признательности невеста порывисто сжимает его пальцы. Она счастлива, что отец, мужик зажиточный и прижимистый, согласился выдать ее за Архипа, парня пришлого, родом немеченного. Сте-

пенный хозяин, в кости и стати, ее отец на деревне слыл рачительным и хватким, крестьянствовать умел с умом, и ломился двор от живности, амбары — от зерна. Да и в зимнее безвременье, когда горланили мужики песни и ходили бразничать из дома в дом, ее отец держал извоз — упрямо сколачивал копейку. Крепкое хозяйство радовало Платона, и только одна несущая грызла душу, а временами кидала его в безудержный хмель — в доме не было парней. Будто злую шутку сыграл с ним всевышний, послал ему пять девок подряд. Платон зло сносил пересуды и косые ухмылки, потому как верил в работающих, именитых зятьев. Девки росли в теле, на лица тоже бог не поскупился, а уж ухватка была отцовская — все пело в их руках. Такие не должны были засидеться. На масленой сваты шли гурьбой. Плели словесные кружева, сникали под прищуром Платона, пили самогон, вгрызались в хрупкие огурцы, да уходили ни с чем. Привередлив был Платон: устраивал по всем статьям парень — мелковатой оказывалась фамилия, нравился род — тщедушным и никудышным предстал отпрыск. Дочки сохли в нетерпеливом ожидании, тихонько кляли отца за излишнюю разборчивость, а суженые пировали в соседних домах...

И вдруг объявился он, Архип, чужим ветром заброшенный в эту серенькую и неурожайную местность. Хотел переждать в этой деревушке месячишко-другой. Да все скроилось по-иному: кузнеца приветили сердечно, в общество приняли как своего. Пораскидал, покумекал: а куда дальше себя сбечишь? От добра добро не ищут. В запущенном домишке, купленном за бесценок, начал обихаживать семейное гнездо. А к масленой неделе сладилось с Анисьей — уступил все-таки упрямый Платон. Перешагнув отцовскую гордыню, закатил такую свадьбу, столько добра отвалил молодым, что долго не могла уgomониться вся округа от щедрости скупого Платона.

...Архип машинально стучит ручником по наковальне, и металл гудит промороженно и глухо, из свой лад напевая последние слова Анисьи: «Повинись, повинись, повинись...»

Почти полвека он соскабливал коросту давней вины со своей совести, и временами казалось, что очистился от всех прегрешений, безупречной жизнью смыл позорные проступки далекой юности. Ну, что смыслил он в тогдашней социальной круговерти, которая взвихрила гигантскую страну, бросила сына на отца, брата на брата, смертельно расслоила родных и друзей? В семнадцатом, когда страна превратилась в огромную говорящую трибуну, голова шла кругом от посулов и звенящих слов. Редко кто не клялся в любви к народу и не звал его за собой. В этом словесном вихре вконец растерялся Архип, а толковать суть происходящего оказалось некому. И закружила рядового Скобелева судьба, по дикой раскладке бросила сына курского крестьянина-бедняка защищать белые знамена.

Он делал все основательно, по-крестьянски совестливо и в белогвардейской коннице прослыл храбрым и азартным солдатом. Сражался отчаянно с красными, не ведая главного — что убивает своих и воюет за чужие, ненужные ему интересы.

...Тот пакостный день, вот уже пятьдесят лет разрывающий ему душу, Архип помнит до мелких деталей, до горького привкуса полыни. Они тогда перекитрили красных и устроили им коварную засаду. Все предвещало короткую развязку. Белье давно охотились за грозным и неуловимым отрядом, который каждодневно трепал их части и славился непостижимой маневренностью. С благоговейным

страхом шептались о его командире, демоне — не демоне, а каком-то бывшем унтере, человеке легендарной храбрости, клинок которого не знает промаха и пощады. И Скобелеву, солдату меткому и дисциплинированному, офицер поручил в этом бою сразить наповал ненавистного красного командира. Свинцовая шрапнель опрокинула первые ряды красных. Предсмертное конское ржание, беспорядочная стрельба сулили победу. Но, как исполлин, завис над траншеями не человек, а дьявол, и жуткое «ура», разорвавшее все вокруг, опрокинуло белых — началась такая кровавая сеча, что и до сих пор вспомнить не приведи господь. У Архипа лязгали зубы, ходила ходуном винтовка, мушка прыгала, словно живая, и все не могла зацепиться за дерзкого всадника. Ватной отдачей толкнуло в плечо, и Архип покатылся на дно траншеи. Но успел все-таки разглядеть — рухнули наземь и жеребец и бесстрашный казак...

С тех пор что-то грузное, рассудком непояснимое давящей глыбой улеглось в душе Архипа. Он пережил последние дни белой армии. Несуветная неразбериха, судьбы и биографии сотен тысяч людей, которых ни отфильтровать, ни проверить, — все это помогло ему обрести сносную и для любознательных рядовую, не внушающую подозрений биографию — контуженный красный партизан, воевавший на Украине с разными батьками и атаманнами.

Чем больше приглядывался Архип к новой власти, распознавал и на себе ощущал ее народную суть, тем острее и сумрачнее казнил себя за прожитые годы. В такие минуты даже любящая Анисья отступалась от его закрытой и чем-то отягощенной души. Безропотно мирилась с темными недельными запоями, с его неожиданной грубостью.

Незадолго до войны, в какой-то непробудный и до боли невыносимый миг враз открылся Анисье. Достал с божницы старую газету и, ткнув заглубившим от металла и огня узловатым пальцем в портрет, исповедально простонал:

— А я с ним воевал. И брехал вам про красного партизана. Белым свою молодость продал, старый чурбан. Новая власть незлопамятна и всех простила. Вот этого геройского человека я убить хотел. Наземь свалил его в одной схватке. Да, видно, провидение вмешалось, мою дурацкую пулю отвело.

Растерянные глаза Архипа просили помощи, и она, впервые увидев слезы мужа, всполошно растерялась и вся осела под грузом страшного откровения. Со страхом уставилась на дрожащие пальцы мужа, и жуткая морозность сковала все ее существо. Однако какие-то неучтенные силы, что делают женщину матерью и охранительницей семьи, вернули ей волю и житейскую несгибаемость. Глухим, но набравшим уверенность голосом, погладив по-матерински эту белую и родную голову, врачующе зашептала:

— Что случилось, того не вернешь. Юность заново не скроишь. В большую беду попал, не ведая зла. А за проступок свой всей честной жизнью платишь. Совесть болит — значит, не заскорузлая у тебя душа.

— Все эти годы замутненным хожу, — благодарно откликнулся Архип. — Казню себя денно и нощно. Сколько раз думал руки на себя наложить. Мол, не место мне в этой жизни, раз такой я, подлостью меченный. Чудится, что весь я на контроле людском и все знают про мерзкие дела и только ждут часа, чтобы закричать: этот! Все годы, словно на рентгене. Дети родные ухмылочки пускают, вроде дно души промывают.

— Насчет ребят ты зря, Архипушка. Послушные, совестливые растут и к тебе с полным почтением. Сам будь поласковее. Привечай побольше, а то иногда таким бирюком вызеверишься... Свой грех не в церкви тебе отмаливать надо. Возьми да и пропиши маршалу, дескать, так и так, как на духу... Сразу полегчает, гибельную грусть развеешь.

С того памятного разговора еще складнее жили они с Анисьей. Душой, поступками помощел Архип, настороженность спала. Вот только никак не мог взяться за письмо. А тут свалилась на всех война. Старая душевная заноза вроде заросла, помертвела. Да и когда в окопной жизни было вспоминать о том, о так далеко шагнувшей в историю войне? Когда пришла новая, позвавшая всех на защиту жизни... Когда рядовой Архип Скобелев вновь надел гимнастерку. Но уже ту, в которой защищают Родину...

Архип машинально стучит ручником по наковальне, и промороженный металл вызывает строчки письма, которые вот уже столько лет буравят его седую голову. И все не могут выстроиться в суровую, но такую необходимую для старика исповедь...



Память водила Степана Ивановича прихотливыми лабиринтами. Ее изумительные всплески вдруг высвечивали сквозные, светлые тоннели, где все было и мило — детали, краски, — а то нежданно запутывали в мутных тупичках, откуда вышагивали горькие события, антипатичные люди и где все было размыто, оборвано, неприятно. Прошрое давило серыми, тусклыми и зачастую ненужными воспоминаниями.

Но не мог распорядиться маршал, чтобы отогнали призрачные тени, они нахально вплетались в светлую память и теснили самое дорогое, о чем хотелось сейчас вспоминать. Бесцветная тоска заполняла душу, и беспомощная туманная дремота овладевала всем существом старого солдата. Прошрое вливалось не только образами и картинками; оно буйствовало голосами и звуками, гримасничало разными лицами, дразнило буквами приказов и строками когда-то читанных писем. Видения становились такими ясными и такими никчемными, что неподдельное изумление на минуту глушило гнев — ну, как удержала память жизненную шелуху? Зачем законсервировала ее, чтобы встряхнуть так нехоти? Но отмахнуться от прошлого не было сил, видения были капризны и неуправляемы.

Опять замельтешили строчки того удивительного письма, которое он получил прошлым летом. Он пробежал его тогда залпом. Внимательно вчитываясь в нервные, дергающиеся строки, пытался зримо представить облик своего несостоявшегося убийцы и неожиданного спасителя, который опрокинулся на него из давно прожитой жизни, торгс в успокоенную и почитаемую старость, разбередил душу, заставил вернуться в немыслимую даль, оставшуюся, бог весть, за какими горизонтами. Сейчас, в сумеречном наваждении, маршал вяло подумал: мелькнут эти строки размытым пятном и уйдут в провальную темень, а на смену им поплывут дорогое и близкие картины. Перед глазами четким строем вышагивают малограмотные, исповедальные строки:

«...По возрасту мы почти в аккурат, али вы чуть постарше. Чинами и заслугами степеннее меня. Но прописать я вам должен. И большого покаения просить. Ибо нет мне жизни без вашего прости-

тельного слова. Всю душу изгрызла мне горькая вина, особенно после смерти Анисьи. В лодырях никогда не ходил, а сейчас ко всему опустили руки. Выросли ребята, упорхнули, а душевного созвучия у меня с ними не определилось. С годами прознали про мою юность. Вроде не отрезали от себя, деньги присылают, но, по правде, я для них не существую. Зачумленный какой-то для них. Перед войной nonetheless хотел в Москву наведаться, на колени перед вами упасть, повиниться. Но не случилось, а в боях был с первых дней Орден и медали имею, а ту белую награду давно в омуте утопил.

Когда вернулся с фронта — рассказам моим не поверили. Это что от диверсантов вас вызволяли. Выжил я тогда, хоть похоронку домой прислали. Оклемався в госпитале, а мне говорят: «Скобелев, к ордену тебя маршал представил». На деревне смеются — мол, заливай, заливай! А я рад, что хоть чуть заслужил вас.

Мне ведь на земле немного осталось, и непрощенным умирать не хочу. Пропиши ты им, дорогой маршал, сердце от обручей ослабь. Пусть узнают ребята и пусть говорят мне напоследок. После паскудной той сшибки вся жизнь моя на виду. В чести и труде ее прожил и новую власть всегда поддерживал сердечно. Потому как оказалась она моей».

Строки плыли, плыли, но не падали в провальную темень. Маршал мучительно вспоминал — отослалли ли прошлым летом его ответ этому бедолаге, прожившему свой нелегкий век с душевной неустроенностью?

Он тогда был удивлен и растроган этим заблудившимся на целые десятилетия письмом-стоном. И явилось оно из таких дальних времен, что он долго разыскивал на израненном своем теле ту давнюю метину, которой попотчевал его в лихой атаке белый солдат.

Вновь вспомнившиеся дерганные и нервные строки потеснили слабость, неожиданно подлили в него новые жизненные соки. Ему гордо и тепло подумалось о неминувости всего справедливого, пусть растянутого на долгие годы, замутненного чем-то временным и недобрым, о дороге правды, на которую люди приходят так по-разному. Он обрадованно решил, что попросит Петровича еще раз написать письмо сыновьям Скобелева и найдет для них убедительные и такие нужные им слова. Для правильной ориентации в многотрудной, часто запутанной человеческой судьбе...

☆☆☆

Они уже совсем обвыклись, рассудительный, прирепешившийся к тягучему бытию конюшни Гранат и неуравновешенный, все еще верящий в перемену судьбы, не смирившийся с неволей Гусар. Гранат на правах старожилы опекал вспыльчивого соседа. Медленно и трудно он передавал ему чехитскую философию здешней жизни, учил терпению и простенькой дисциплине. Новичка держали в другом режиме, его, еще так остро тосковавшего по воле, чаще пускали на круг, и прогулки Гусара были долгими. Гранат смирялся с лучшим положением Гусара, потому как с первого знакомства усвоил, что их одинаковый статус пенсионеров все равно не может выровнять годы. Видимо, на Гусара люди еще делали ставку. Иначе зачем бы они подвозили к нему кобылиц, поощряли его неукротимые порывы к продолжению лошадиного рода?

Случалось, что сосед отсутствовал подолгу. Тогда обморочная тоска охватывала Граната, и щемящее чувство полного одиночества ослабляло волю к жизни, сосущая слабость разливалась по ногам. Потом Гусар возвращался в конюшню, и на застойные ночные часы находило бодрящее озарение — на Граната наплывали краски забытой травяной жизни... Он втягивал ноздрями сладкий вкус потеррянной навсегда воли, игривые ароматы молодых подруг Гусара. Хвастливый тон быстро сходил с жеребца, щадя самолюбие и уважая преклонные годы Граната. Месяцы, проведенные в этой лошадиной богадельне, подсказывали Гусару, что старости не миновать и ему.. Каждый год будет отбирать у него силу, пока не сделается он таким же затворником, как и Гранат.

Тихие ночные часы не были скучны старому постыляцу. Наоборот, живое существо, делившее с ним все тяготы одиночества, становилось Гранату все ближе и симпатичнее. Он помнил, как больно кольнуло Гусара полное невнимание к нему кинолюдей, как подавленно затыл он на несколько дней. Этот обидчивый конский характер стал теплее и понятнее Гранату. Ему уже было ясно, что яркая, сценическая жизнь Гусара не иссушила душу жеребца и его лошадиные амбиции не простираются дальше сиюминутных и понятных обид. За время, проведенное рядом, Гусар научился смотреть свысока на старого и беспомощного Граната — за долгие месяцы томительного безделья он проникся искренним уважением к соседу. Потому быстро постиг сложнейшую науку — уметь понимать других. От такого равенства, от взаимного уважения томительное время летело быстрее и рос интерес к тусклой, невыразительной, продленной людьми жизни.

Выровнялся Тихон, сначала так неприязненно встретивший Гусара. Его доброе сердце было отходчивым, и теперь человеческой любовью он оделял жеребцов поровну. Такое отношение конюха не вызывало ревности в Гранате. По сути дела, Гусар оказался в худшем положении — никто не приходил к нему и, видимо, никто не вспоминал о нем. Да и беговое зазнайство быстро сменилось в жеребце отзывчивой нежностью к новому конюху. Втроем им стало уютнее и веселее. Образовался теплый, только для них понятный мирок, где Тихон главенствовал шумно и безраздельно. Его монологи стали длиннее и круг затрагиваемых тем гораздо шире, будто приход Гусара в их компанию принес с собой целый ворох общечеловеческих вопросов, которые Тихону было поручено разрешить с лошадьми.

Они аппетитно возились в кормушках, а Тихон, прибивавший стойла, но совсем не торопившийся покидать своих пенсионеров, жадно слглатывал сызый дым и обсуждал очередную проблему:

— Заелись люди, деньги враспыл пускают. Вот у кума, господи,— потеха одна. Лошади при колхозе числятся... И что? Да так, корм едят, добро переводят. Хороший бы хозяин... — Поперхнулся дымом, горько сплюнул.— Хороший бы хозяин поразумному все обставил. Трактор — машина мощная, накладная — одного бензину сколько жрет! Так и соображай, кого куда направить. Нет же, все наперекосяк. В селпо — на тракторе, в гости с пьяных глаз тоже. Ну, хочешь племянник кума моего. Машина у дома, будто автомобиль персональный. Кинет за галстук — и в загул... девок катать, к родственникам съездить, плевое дело... Сена на ферму подбросить, так ить, кроме трактора... Что?

Лошадь? Морду воротят... А от скирды, почитай, полверсты, не больше. И тархатят, гремят моторами день-деньской. В нужник — и то на тракторе. — Качал сердитой головой, остервенело работал скребком: — Дичают лошади. Что человек, что лошадь без работы никчемными становятся. Ну, и что механизация, моторы? А ты кумекай, с пользой все расставляй... Ерундовая работенка — лошадь запряги, далеко ехать — тут трактор по всем статьям. Конский род переводят... Все пишем — народную копейку береги. А деньги на ветер пускаем... — Куда-то вдаль замахнулся скребком: — За океаном, пишут, не беднее нас живут. Так разве там фермер будет попусту бензин палить? Где возможно — и лошаденку сует, ее тяга ни во что обходится. Там тоже моторов тьма, а за добро зубами дерутся, напрасно не переводят.

Основательно распалился Тихон, но лошади, увлеченные сладким кормом, вяло реагировали на его задиристые интонации. Такое их равнодушие еще больше подогревало конюха:

— Вот и вас возьми. Это что — разумно торчать в богадельне? Гранат еще так-сяк, силенок кот наплакал и к упряжке непригодный. А Гусару еще вся стать борозды поднимать. Ну, а сунься куда Тихон с таким советом? Засмеют, рехнулся, мол, старый.

Случайное фырканье Граната принял за несогласие, а нетерпеливое перестукивание копыт Гусара за активный протест. Круто повернул разговор, сбросив с голоса напряжение:

— Да это так, к примеру. Речь не о вас. Вас-то, может, и по совести определили. Жеребцы вы заслуженные...

Ему не удалось углубить новый поворот темы. Надтреснутый, повелительный голос резко прервал его рассуждения. Тихона звали к конюшенному начальству. То ли самодовольная неуважительность зовущего голоса, то ли сам факт неожиданного приглашения к руководству в неурочные часы приплюснули Тихона, прочертили его лицо тревожными морщинами. Он вихляющей походкой ушел навстречу неизвестному разговору...

Конюх вернулся расслабленным, поникшим. Сел на перекладину и каменно умолк. Гранат, так привыкший к голосу Тихона, к его малопонятным, но запальчиво-горячим речам, насторожился, взволновался нутром, и бесконтрольная рябь побежала от холки к крупу. Дыхание стало прерывистым, с болезненным присвистом. Заныло, заглодело в конской душе: по состоянию Тихона он чуял и свою судьбу. Сейчас на перекладинах сидел не Тихон, а чужой, удрученный горем человек. Гранату тоже стало мерещиться что-то неотвратимое, наступавшее на их теплый, никому не мешающий мир, где так уютно и хорошо вдвоем. Он тревожно и вопросительно заржал и вроде разбудил Тихона, сорвав какую-то пружину в конюхе.

— Нет, врете, разлюбезные! Не распластала еще Тихона жизнь, и голыми руками нас не возьмешь. Ишь до чего додумались, душегубы... Усыпить. И как языком не поперхнулся, варвар.

Пружина стремительно раскручивалась, а голос конюха креп. Гранат вновь призывал Тихона и верил ему.

— Нет, не на том сиропе разведены. Попробуй сунься сюда. Сначала пореши Тихона, а уж потом Граната.

Конюшня в разомлевшем тепле и сонном придыхании погрузилась в сон. Тихон не ушел в свое одинокое жилище, а настороженно и пугливо прикоротал ночь на охалке сена. Гранат, так и не

успокоившийся от колющего недоброго предчувствия, сквозь сон услышал, как неуступчиво с кем-то ругался в чутком своем забытии разгневанный старик.



Вот, поди и угадай ее зигзаги, распроклятой этой болезни. Петрович так боялся за минувшую ночь, с обреченной безнадежностью ждал летального исхода, а получалось, что у жизни свои расчеты и ее лимиты неведомы никому. Плох, угрожающе плох был вечером маршал. А поутру, обласканный исходящим осенним солнцем, маршал смотрел на него уставшими, но полными жизни глазами, озорными, подмигивающими. Петрович улыбнулся другу раскованно и прямодушно. Степан Иванович довольно хмыкнул в усы. Высвободил зажелтевшую руку на яркий и прохладный атлас:

— Будто по жизни вновь прошагал. Многих увидел, с кем-то поговорил. И ты молодым увиделся, и Оля твоя. — Мгновенно поймал сузившийся зрачки Петровича, деликатно прервался. Помедлил минуту, другую: — Во всех ипостасях побывал... — Согнал с лица озорство: — Как у вас по медицине: всем положена последняя прогулка по жизни?

Настойчиво, вприщур вгляделся в Петровича. А тот тянул, отмалчивался, подыскивая нужные слова. Желтая рука жестко впечаталась в атлас. Жили только глаза... И враз отхлынула от сердца растерянная обрадованность, ослушался язык. Только докторская выдержка не дала запутаться в дежурных словах:

— Как на духу с тобой. Радоваться рано, но и сдаваться не резон. Насчет прогулок не осведомлен, но буду рад оглядеть и свою жизнь. Самый страшный кризис миновал, а драться надо. Пусть еще раз светила посмотрят тебя.

— Вот что, Петрович, хочу сделать. Светила, бог с ними... Пусть смотрят. О другом распорядись. Это моя просьба. Ты знаешь, как я любил лошадей и сколько у меня их перебивало. Остался один, да и то, жив ли он теперь... На пенсию был определен по старости, овес бесплатный в доме призрения получает. Еще на парады на нем выезжал. Но отслужил свое и поместили в конскую богадельню. Да шучу я, шучу... На хорошем конном заводе стоит. В сытости, в холе... — Усталые озорники вновь оживили глаза: — Ты только не смейся, навещал я его. Тайком, а то бы подначек не миновать. Оно и в самом деле смешно. Все помешались на технике, а тут — нате! Тайные свидания, да с кем? С лошадью! В последний раз года два назад был я у него. Народу толкается тьма-тьмушая. Так я спозаранку, без формы, чтоб не глазели. Конюх там, Тихоном зовут, человек понятливый и совестливый. Он все и устраивал... В последний раз что-то захолонуло у меня внутри. Около тридцати было Гранату, а это за сто человеческих лет, по их лошадиным нормам. Притих жеребец. Подрегивает мелко и вроде сказать что хочет. Мордой трется о рукав, а глаза спрашивают. И что я отвечу ему, Петрович, а? Что тоже стар и не знаю, сколько мне дней отведено? Рядом молодые лошади похрапывают: мускулистые, сильные. Разве дано им понять, о чем могут молчать два старика — Гранат и я? Поверишь — нет, собрался уходить, так жеребец не отпускает. Покусывает рукав, все норовит мордой мне в лицо уткнуться. Лошадина дума кручинила его — не свидимся больше. К тому все и шло, вон как болезнь опрокинула. А вот в забытии опять Гранат

привиделся. И так просительно ржал, не иначе последнего свидания требовал...

Маршал замолк. Выжидающе и непреклонно посмотрел на Петровича. Тот удивленно, но согласно склонил отбеленную свою голову...



Опять от Тихона пахло раздражающе-резко, от него снова исходил ненавистный для жеребца дух. Когда без причин целуются люди, когда они шумно хвастливы и никто не слушает друг друга. Все говорят враз и любят обниматься. Любят плакать. Эти смешные люди...

На Тихоне сегодня нарядная рубаша, хрустящий от ношеной новизны костюм. Голос глубокий, ласковый, шуршащий пьяной хрипотцой, повелительный и гордый:

— А как же иначе, скажем так? На Тихоне споткнешься, его без рукавиц не трожь. Обожглись, душегубы. Огромный человечье, наш маршал, скажем так... Ему только сигнал подали. Видишь, как забегали, закружились, Тихон Степаныч, Тихон Степаныч... Будто к первому человеку на заводе... А каков расклад-то вышел? Звонок от маршала. Так, мол, и так, подать их сюда, видеть хочу. А его слово, брат...— Многозначительно зацокал языком. Но, так и не найдя с чем сравнить весомость слова их хозяина, победно закончил: — Шабаш разговорчик, приказ исполнять надо!

Гранат обрадовался неяркому, но еще ласкавшему его старческую кожу солнцу, и мелкая дрожь пробежала по взбунтовавшемуся вдруг телу. Ему показалось, что он вновь ощутил пульсирующую сетку жил, натянутых на упругие мышцы. После пьяного, но сотканного из каких-то радостных интонаций разговора Тихона, долгой и тщательной чистки жеребец почувствовал неожиданный приток сил и весь проникся ожиданием. Безбоязненно ступил Гранат на дощатый настил и вместе с ликовавшим Тихоном поднялся в кузов грузовика.

Вот так жеребец давно не передвигался. Езду в вагоне он еще смутно помнил, но путешествовать на машинах ему доводилось в совсем далекой и теперь уже не вспоминавшейся юности. И хотя жеребец не боялся автомобилей — как-никак, за свой долгий век он нагладелся разных железных штукovin, — но все-таки ощущение новизны и непривычности передвижения пугало Граната, заставляло изучающе поводить ушами, жадно втягивать в себя подзабытый ветерок дальней дороги.

Но и смутное напряжение не гасило в нем праздничного ожидания. Всем своим лошадиным существом Гранат понимал: что-то нарушилось в тягучем существовании и кто-то резко меняет его конскую судьбу. Множество людей, собравшихся у конюшни, их непривычно уважительный говор, Тихон, расфрантившийся и смело заважничавший перед начальством, — все это говорило о праздничном повороте в его бесцветной жизни. Опасливость жеребца растворилась в первых же километрах езды в радостное и неизведанное.

...Около этого дома жеребец никогда не бывал. Светлая дача вынырнула из-за медных сосен весело и приветливо, а опытный шофер, сделав плавный разворот вокруг деревьев, мягко осадил машину у ступенек веранды. Подтянутый, строгий — и куда только улетучился отталкивающий запах! — Тихон ласково погладил взмокший бок жеребца и тихо зашептал в ухо:

— На выход, Гранат. Не осрамись, голубчик. Молодцом держись. Не на круг вывожу, а к само-

му...— Нежно тронула коленные чашечки разломатившаяся плетка: — Не подкачай, порадуй маршала. Поглядеть на нас хочет. Вот какой расклад вышел...

Гранат, ведомый протрезвевшим и церемонным Тихоном, легко и смело спустился на траву.

Только ступив на землю, жеребец осознал все, и тревожное его ожидание смяла торжествующая радость — он узнал хозяина, учуял родного человека и с неизбывной преданностью потянулся к нему.

Маршал сидел в скрипучем, прутяном кресле, спеленатый в пледы и одеяла; маленький, усохший от долгой и нелегкой своей жизни. Но Гранату увиделся он сильным и властным, а захлестнувшая преданность этому человеку вдруг вылилась в тоскливое и слабое ржание.

Тихон укоризненно сгустил брови, робко подступился к креслу. Зачем-то снял шапку и стукнул нагугалиненными сапогами:

— Все в аккурате, как велели, товарищ маршал. И жеребец при мне.

Маршал хотел приподняться сам. Виногато и конфузливо улыбнулся, но встать не смог. Гранат приблизился к хозяину и готовно опустился на колени. Маршал сомкнул руки на теплой шее, лицом зарылся в седую гриву жеребца. Острые плечи, из которых жизнь давно уже выпила силу, слабо вздрагивали. Старый солдат плакал, и никто не вспугивал эту удивительную минуту. Тихон ошалело уставился на немигающий глаз жеребца, из которого скатывались крупные, бессловесные слезы. Присмившая старушка Прохорова уткнула лицо в передник, Петрович сглатывал подступавший к горлу комок, а Тихон все глядел и глядел на Граната.

Маршал тихо, но властно прошептал:

— Прохорова, по чарке казакам.

Старушка просеменила на кухню и тут же вынесла три рюмки. Янтарные капли коньяка чуть прикрывали дно одной из них. Маршал брезгливо осматривал хрусталь и тихо вскинулся:

— Коктейли эти не по нам. Казакам чарку сполна!

— Были да сплыли казаки, — ворчливо огрызнулась Прохорова.

Пустые рюмки забрала назад. Демонстративно долго гремела кухонной посудой. И к гостям больше не вышла...



Гранат только на неделю пережил своего хозяина. После той, так сладко и тяжело отозвавшейся на конской душе встречи жеребец потерял всякий интерес к привычным запахам конюшни, к своему стойлу. Его мало волновали звуки шумевшей кругом жизни, он стал безразличен к бесплатному и сытному корму. Оживлялся он только с приходом Тихона. Тогда в ослабевшей памяти жеребца всплывали внезапно ворвавшиеся в его судьбу и мигом сгинувшие из нее дорожки картины последней встречи с хозяином. Но уходил Тихон — и исчезали эти картины. Тихон не приходил ночью. И незачем ночью было жить.

Гранат и уснул ночью, потому что уже не было смысла в одиноком и бесславном житье...



ЮРИЙ ПОРОЙКОВ

☆☆☆

А ночью вновь она была,
И вместе с ней лихая свита.
Метель, космата и бела,
То дверь мою с крючка рвала,
То, прислонясь к стеклу, звала
Меня насмешливо-сердито,
То, в поле отбежав, ждала,
То, забываясь, деловито
Вокруг себя снега мела
И, замата след, лгала,
Что забытое забыто.
Она ушла... И вновь легла
На белый снег ночная мгла...
А где-то там, лесами скрыта,
Сложив пушистых два крыла,
Метель, как девочка, спала.
О если б не было стекла,
О если б дверь была открыта!..

☆☆☆

Бежит по самой кромке дня
Едва приметная лыжня —
Ее уже заносит снегом,
Но я иду тем старым следом,
Куда ведет лыжня меня!
И вижу я: вот здесь она,
Моя любимая ждала.
Так ждать одна она могла!
У той сосны, присев устало,
Она мои стихи читала,
Что я писал еще весной.
А там вот — варежкой пустой
И нос и щеки оттирала
И, не скрывая горьких слез,
Со мной поссорилась всерьез.
Потом ушла. Но здесь осталась
Ее замерзшая душа.
К ней подвела лыжня, спеша,
И тут же снова затерлась...

☆☆☆

Ты не из тех, ты трезвый человек,
А я пишу смешные вирши эти.
Представилось мне вдруг, что на планете
Сменилось время — и не мой уж век.
Другая жизнь — узнаешь ли едва:
Иные краски, новые слова,
И люди отказались от всего
Ненужного. Разлука — для чего!

Они не знают нашей суеты,
Уже не рвут, как рвали мы, цветы,
Встречаются — как с чистого листа
Читают лица. Так душа чиста!
Не пишут писем, телеграмм не шлют,
Ну, в общем, очень счастливо живут...
Привиделось такое в тишине,
Но только все, увы, не ново это:
Вот ты взглянула — все известно мне,
Сказала слово — стало больше света.

☆☆☆

...Оглянулся: «Ты меня, папаша!»
«Сделай милость, подведи к воде».
Из приезжих, видно, не из наших,
Наши скажут — к морю, не к воде.
Подвожу без всяких возражений,
Вижу, воздух щупает рукой.
«Что, слепой!» «Увы, слепой с рождения...»
«Как же так!» «Да так, удел такой».
Разговор веду, а сам мозгую —
Не оставишь, не уйдешь домой,
Вдруг да штуку выкинет какую,
Тут шагни — и сразу с головой.
Не общался со слепыми сроду,
Потому и рубанул сплеча:
«Выбрал ты, отец, не ту погоду,
Если что надумал сгоряча!»
Он смеется: «Это все пустое!
Не затем я ехал, бог с тобой,—
Посмотреть на море голубое,
Посмотреть на ветер голубой».
Вот шутник, сказал бы что другое,
Я же, в общем, человек не злой:
«Как же ты увидишь голубое,
Если ты с рождения слепой!»
Он не уступает поле боя —
Смехота одна, какой там бой!
«Я не вижу — слышу голубое.
Чувствую, что ветер голубой».
Разошлись, сойдемся вряд ли снова,
Только стал я вроде сам не свой:
Ветра нет, я знаю, голубого,
А всмотрюсь и вижу — голубой!

☆☆☆

Так случилось — человек устал,
Радоваться жизни перестал,
Все не мило, надоело все,
Люди вроде б на одно лицо.
И решил он отдохнуть тогда,
В детство бы вернуться, это да!
На один бы только на денек
В старый сад, в заветный уголок,
Ношу сбросить бы с усталых плеч,
Под березу на траву прилечь
И заснуть... Ему приснился сон,
Что стоит на перепутье он,
Три дороги перед ним опять.
Как же просто снова выбирать!
Левая — та кружит, не нужна,
Правая — к веселью, не годна,
Третья обещает вечный труд...
«То твоя! Что медлишь, экий плут!»
Закричал он и проснулся тут.
На душе и чисто и светло,
Плечи от безделья свело,
Руки чешутся — ну разве это груз,
Как я с ним на людях покажусь!



ВИКТОР ШИРОКОВ

☆☆☆

Храните письма от друзей!
Они нам всем нужны порою,
как в наступлении резерв
и передышка перед боем.

Когда друзья от нас вдали
и рельсы от разлуки гнутся,
лишь взяли письма, перечли —
и голоса друзей проснутся.

Они поведают о том,
что, может, начисто забыто,
как будто заселяют дом,
что много лет стоял забитым.

Друзья нам и вдали друзья.
И я задумываюсь снова:
а смог прожить бы разве я
хоть день без дружеского слова?

☆☆☆

В преддверии морозов,
в предчувствии ветров
давно уже не розов
цвет ягод, а багров.

Смотри: уже устало
пожухла вся листва,
как будто закатала
рябина рукава.

Навстречу вьюге быстрой
(пусть разорвет в клочки)
отважно сжала кисти
в тугие кулачки.

☆☆☆

Есть тайный знак любви и тайный знак
привет,
когда — глаза в глаза — мы на людях одни,
когда и говорить не надобно об этом,
об этом говорят в твоих глазах огни.

Друг друга в толкотне заметить невозможно,
едва ли разглядишь друг друга в суете...
И как же распознать: что истинно! что ложно!
и те пришли слова на ум или не те!

Но есть один секрет — взглянуть в глаза друг
другу,
и тайный взгляд души вмиг высветит во мгле
всю подлинность любви, и ответит разлуку,
и нас вдвоем с тобой оставит на земле.

☆☆☆

Была моя любимая,
как птица, нелюдимая,
твердила: улетим

за тридцать земель-морей,
поможет утренний Борей
дыханьем молодым.

Но жизнь — она капризная,
вспорхнула птица сизая,
ничем не удержать...

Не перышко не дымчато —
осталось птичье имечко,
да некому сказать!

Стихи о семейном счастье

Я не могу спокойно наблюдать
твое лицо и замечать с виною,
как тяжела каштановая прядь,
помеченная редкой сединою.

Как возле глаз устало залегли
прочерченные горечью морщинки
и на уста пробиться не смогли,
оставшись в горле, редкие смешинки.

Я не молчу. Читаю наугад.
Отогреваю, словно в холод, руки.
Все выскажет тебе открытый взгляд!
Сейчас он полон нежности и муки.

Мне кажется — заботливее нет.
Твержу, как без тебя в Москве скучаю.
И слышу тотчас: хватит. Что за бред!
Пошел бы, вскипятит на кухне чаю.

Как будто сразу сделалось темней.
Но вдруг, нагнав меня на первом шаге,
ты улыбнешься и прильнешь ко мне...

И это не опишешь на бумаге.

АЛЕКСАНДР ОГАРКОВ,

сержант,
делегат XVIII съезда ВЛКСМ



1. Самый счастливый день в этом году? Вы знаете, мне не трудно ответить на такой вопрос

День, который навсегда запомнится, самый необычный... Да, если можно это назвать «днем». Но для меня это останется именно «днем», одним событием, яркой вспышкой.

Апрель 1978 года. Москва, Кремлевский Дворец съездов. XVIII съезд ВЛКСМ Речи, приветствия, встречи... Мне очень повезло — я был делегатом комсомольского форума, представлял нашу часть на съезде, сам все это видел, во всем участвовал. Я ребятам нашим об этом много рассказывал, но всего не рассказать — столько было событий, столько впечатлений.

Наша делегация жила в гостинице «Россия». Когда мы подъехали к гостинице, нас ждали ребята с московских предприятий, ждали с хлебом-солью. Знаете, как мы обрадовались — ведь так приятно, когда тебя ждут, встречают. А потом... Ни минуты не помню свободной. Впечатлений набралось — на много лет вперед хватит. Вот что меня сразу поразило — Георгиевский зал в Кремле в день регистрации Ну, по телевизору видел, конечно, но это совсем не то. До чего красиво, величественно!

Потом начался съезд — столько народу, все молодые, радостные, такие праздничные, многие в национальных костюмах. В фойе перед началом заседаний, в перерывах, пляшут, поют, музыка играет — и тут же у кого-то интервью берут, кого-то фотографируют. Как кто-нибудь знаменитый в фойе появляется, его тут же обступают — автографы берут. Я тоже подошел к человеку, перед которым преклоняюсь, — к летчику-космонавту, Герою Советского Союза Алексею Елисееву.

О нас, воинах Советской Армии, много говорилось на съезде. И я горд, что принадлежу к тем, о которых Леонид Ильич Брежнев сказал в своей речи на съезде. «Замечательные качества советских людей проявляются в рядах наших Вооруженных Сил». А во

второй день работы, 26 апреля, съезд приветствовали воины Советской Армии. Старший лейтенант Александров, говоря от нас, воинов сказал, что «оружие, которое нам доверено, находится в крепких и надежных руках». Это действительно так, и прославленные ветераны нашей армии не ошиблись в своих премниках. Им Маршал Советского Союза Василий Иванович Чуйков передал в президиум Красное знамя «Ветераны Вооруженных Сил СССР — молодым защитникам Родины».

И опять впечатления, встречи, беседы, новые знакомства — такое чувство осталось, что перерывов не было, что это все — вот так, одновременно, поэтому я и говорю — один долгий счастливый день.

2. У Валентина Пикуля в романе «Пером и шпагой» есть такие слова: «Русская артиллерия и тогда была передовой в мире». Это в восемнадцатом веке! И как здорово, что я сейчас, в двадцатом веке, — артиллерист. У нас в части я командир орудия, у меня первый класс, я комсгруппорг, заместитель секретаря комсомольской организации батареи

Сегодняшняя артиллерия, конечно, очень сильно отличается от артиллерии восемнадцатого века: артиллеристу нужны глубокие знания и математики, и баллистики, и техники

Однако стать профессиональным военным я не собирался и, думаю, уже не соберусь: скоро увольняюсь в запас.

Родом я из Горьковской области, там и в ПТУ поступил. После восьмого класса без родителей остался, только брат есть старший. Вот к нему думаю после демобилизации поехать. Специальность есть — перед армией год работал на заводе помощником машиниста на локомотиве.

Вообще-то очень люблю рисовать, говорят, неплохих карикатуры получают, дружеские шаржи. Но художником-профессионалом едва ли стану.

Планы какие? Хотелось бы поступить в Институт инженеров железнодорожного транспорта — это еще с доармейской поры осталось. Думаю, что мечта сбудется.



ОЛЬГА ЖЕРЕБКО,

студентка Московского
авиационного института,
комиссар студенческого
стройотряда.



1. Это было в начале лета, меня вызвали в комитет комсомола и сказали, что решили назначить комиссаром строительного отряда нашего института. Я сразу как-то засомневалась: почему именно меня? Да и поздно уже — все комиссары давно назначены, с марта полным ходом идут подготовительные работы. Раньше я ездила в стройотряды простым бойцом. Я прикинула свои возможности и согласилась. Но до сих пор не поняла, почему выбрали именно меня...

А согласилась потому, что люблю стройотряды. Потом — захотела себя проверить.

Ну что я могу сказать о результате этой проверки? С работой я в общем-то справилась. Но поняла, что, конечно, мне не хватает твердости, я старалась не командовать, а просить. Это людей как-то расхолаживает. Иногда говорю и чувствую — меня не воспринимают. А я не могу жестко. Только если разозлюсь, станет совсем обидно, тогда как-то резко могу поступить.

Было у нас ЧП — один парень решил отпраздновать день рождения, и вся бригада ушла после обеда со стройки, не пришли они и к ужину. Моральное состояние отряда — дело комиссара, то есть мое. Ну, собрали собрание, обсудили, в общем одного отчислили, остальных растасовали по разным бригадам. Неприятная история. На неделю тогда нас всех выбила из колеи.

А я все еще до сих пор думаю: а правильно ли мы поступили?.. Трудно быть руководителем! Это я поняла.

2. На ваш второй вопрос я, собственно, уже начала отвечать в первом ответе. Я хочу еще себя испытать, проверить, чем же мне все-таки в жизни интереснее всего заниматься и что я могу, а чего не могу. Вот я в стройотрядах проверила: могу ли я исполнять обязанности рабочего. Могу. Правда, понимаю, что мы, стройотрядовцы, конечно, отличаемся от настоящих рабочих. Мы приходим на стройку на

два-три месяца, на это мы себя и настраиваем. Мы знаем, что потом снова окунемся в студенческую жизнь. Плюс энтузиазм. В общем, все весело бурно. Нам не привезли вовремя бетон — кидаемся в бой со строительным начальством.

Я заметила, рабочие сдержанней реагируют на чисто производственные недоразумения. Может быть, действуют менее горячими методами, а может быть, привыкли... Бойцу же стройотряда все в новинку.

Скоро я стану инженером, я люблю свою будущую специальность, но, может быть, есть еще что-то более интересное...

Я много занимаюсь в самодеятельности, но к этому отношусь как к увлечению. Да и профессиональной артисткой становиться поздновато.

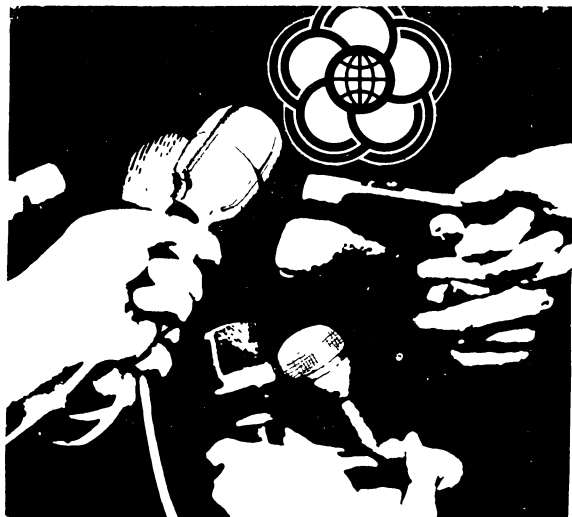
Правда, мое увлечение искусством — на всю жизнь. Это я поняла. Потом мне очень хочется поехать по каким-то новым далеким интересным местам.

Я считаю, что пока мало видела — Украину свою родную, жила в Волгограде, ездила со стройотрядом в Норильск, на БАМ...

В Норильске мне очень понравилось! Строили мы металлургический комбинат. Размах!.. Солнце не заходит, полярный день. Ужинаешь, а как будто завтрак... Но в этом году я вышла замуж и теперь буду все время «раздваиваться». С одной стороны, меня будет всегда тянуть в дальние края, а с другой... захочет ли муж... захочу ли я бросить насиженное место... В студенческие годы хорошо — каникулы, можно махнуть со стройотрядом куда угодно... Кстати, именно в Норильске я познакомилась со своим будущим мужем, тоже маевцем.

Теперь начинается у меня новая жизнь, я даже сейчас не все вопросы знаю, которые она поставит, не то что ответы... В общем, надо в себе еще до конца разобраться.





**Юрий
ЗЕРЧАНИНОВ**

Оформление
Олега КОКИНА.

КУБА = МОЙ ДОМ



Пятого августа в столице Кубы — Гаване завершился XI Всемирный фестиваль молодежи и студентов, объединивший под знаменами антиимпериалистической солидарности, мира и дружбы 18 500 юношей и девушек различных убеждений из 145 стран мира.

Подводя итоги этого самого представительного в истории форума юности планеты, руководитель делегации советской молодежи на Гаванском фестивале, первый секретарь ЦК ВЛКСМ Б. Н. Пастухов отметил, что фестиваль способствовал дальнейшему разворачиванию борьбы молодежи за антиимпериалистическую солидарность, мир, разрядку международной напряженности, демократию, национальную независимость и социальный прогресс.

Прощаясь с землей Хосе Марти и Фиделя Кастро, участники XI Всемирного фестиваля в специальном послании выразили признательность народу и молодежи Кубы за подготовку и проведение этой замечательной встречи.

Рассказ о Гаванском фестивале, сочетая слово с рисунком, ведут специальные корреспонденты «Юности» Юрий Зерчанинов и художник Олег Кокин.

На открытии фестиваля делегаты Боливии несли свой флаг чуть приспущенным, с черной лентой на древке...

Бородатый, длинноволосый Че в неизменном берете и партизанской куртке с распахнутым воротом смеялся, курил сигару, говорил что-то страстно и убежденно на бесчисленных фотографиях, которые нам ежедневно дарили в память о фестивальной Гаване.

В прощальном письме к своим детям Эрнесто Че Гевара писал: «И главное, будьте всегда способными самым глубоким образом почувствовать любую несправедливость, совершаемую где бы то ни было в мире. Это самая прекрасная черта революционера». Дух Че витал над фестивальной Гаваной.

Е свое время я рассказывал на страницах «Юности», как мне удалось восстановить одну небезынтесную историю конца прошлого века — историю участия русских волонтеров (или, как скажут сегодня кубинцы, бойцов-интернационалистов) Петра Стрельцова, Николая Мелентьева и Евстафия Константиновича в борьбе за независимость Кубы.

Стрельцов и его друзья стали под знамя Хосе Марти — яркого мыслителя и поэта, который возглавил в 1895 году борьбу своего народа против испанских колонизаторов и которого Фидель Кастро называет Учителем. А Эрнесто Че Гевара вскоре после высадки с «Гранмы» на землю Кубы писал жене не просто письмо, а «пылающие мартианские строки...».

Вдохновенный мечтатель Хосе Марти верил, что уже сама идея национальной свободы может объединить богатых и бедных, уничтожить расовые предрассудки. Его знаменитые слова: «И напишите вокруг звезды на нашем знамени девиз торжествующей любви: «Со всеми и для блага всех!» И как могли не увлечь трех молодых людей, живших в удушливом Петербурге конца прошлого века, такие слова Марти: «Свобода — это право быть честным: не лицемерить ни на словах, ни в мыслях».

Стрельцов и его друзья сражались за свободу Кубы в рядах мамби (повстанцев), которыми командовал легендарный генерал Антонио Масео. Наследниками генерала Антонио назвал Фидель Кастро солдат армии социалистической Кубы.

Словом, отправляясь в фестивальную Гавану, я взял с собой кубинские записки Стрельцова (их опубликовал в 1898 году журнал «Вестник Европы»). И я не раз обращался в эти девять дней к русскому журналисту Петру Стрельцову. Уже на открытии фестиваля я вдруг увидел его героев. Открывая парадное шествие колонн делегатов, на поле Латино-американского стадиона выехали одиннадцать всадников, одетых в незатейливую форму мамби. Десять мамби держали флаги стран, в столицах которых проходили предыдущие фестивали, а в руках у одиннадцатого был флаг Кубы. На «живом табло» стадиона в этот вечер не раз возникали лики великих борцов, павших за свободу: Хосе Марти и Антонио Масео рядом с Эрнесто Че Геварой и Камило Сьенфуэгосом...

«Это мы, которые участвовали в открытии фестиваля, едем!

Вы видите нас! Вы слышите нас!»

Ребята высовывались из окон и лупили ладонями по гулким железным бокам своих автобусов...

По ночной Гаване мчались ликующие автобусы. В них ехали кубинские школьники — герои «живого табло» и впечатляющего спортивного представления, завершившего открытие фестиваля.

Была первая ночь фестиваля, и вся Гавана возбужденно гудела и танцевала, все окна и двери были распахнуты. Спать в такую ночь было глупо.

На припортовой улице двое старых людей выставили прямо на тротуар свои кресла-качалки и раскачивались, болтая ногами...

Они говорили, провожая глазами очередной школьный автобус (за перевод ручаюсь, хотя испанского я не знаю):

— Как едут!

— Хорошо едут!!

Вечером третьего дня фестиваля я сидел в ложе прессы огромного спортивного зала, в центре которого был установлен боксерский ринг. Каждый кубинец знает толк в боксе и нескрываясь гордится триумфом своих боксеров на мировом ринге. В тот вечер в рамках фестивальных «Соревнований дружбы» предстояла встреча боксеров Кубы, СССР и Финляндии.

Около ринга, спокойно созная, что он вызывает всеобщее внимание, монументально высился Теофило Стивенсон — великий спортсмен и гражданин, национальный герой Кубы. Но в тот вечер, хотя в составе советской делегации в Гавану прибыл Игорь Высоцкий — единственный в мире боксер, победивший (да притом дважды!) прославленного олимпийского чемпиона, — Стивенсон боксировать не собирался.

Против Высоцкого должен был выйти второй тяжеловес Кубы Анхель Милиан, который, по мнению специалистов, уже вплотную приблизился к Стивенсону, хотя боксирует проще, идет напролом. Да и сам Высоцкий, уже однажды встречавшийся с Милианом и в тяжелом бою победивший его, в разговоре с корреспондентом «Гранмы» лестно отозвался о своем сопернике. В этом интервью, между прочим, Высоцкий уклонился от ответа на вопрос, как ему удалось победить Стивенсона. Кубинский коллега, сидевший рядом со мной на трибуне, говорил, что он покаутирован деликатностью Высоцкого...

Мой кубинский коллега вдруг неожиданно вскочил и рванулся к проходу. Я обернулся — около нашей ложи стоял Фидель Кастро. В левой руке у него дымилась внушительная сигара, а его правой рукой уже завладел кто-то. Соседняя — гостевая — трибуна тоже пришла в волнение. Каждый спешил к Фиделю, который был окружен теперь плотным кольцом людей и что-то говорил, кого-то похлопывал по плечу. Наконец он поднялся в ложу, расположенную как раз над нами, и направился к своему привычному месту — Фидель Кастро любит смотреть бокс, — но тут весь зал начал скандировать: «Фи-дель! Фи-дель!!! Фи-дель!!!» И далеко не сразу зрители переклкнули свое внимание на ринг, на который уже выходила первая пара боксеров.

Рядом со мной присел возбужденный парень. Выяснилось, что он знает русский язык и, мало того, работает в пресс-центре фестиваля переводчиком. Он восклицал: «Я пожал руку Фиделю! Мы обменялись рукопожатием!» Он слышал, как Фидель Кастро сказал, что кто бы ни победил сегодня на ринге, — это наша общая победа.

Так я познакомился с Хорхе Марином и как случилось, что это знакомство повлекло невольной целью ряд новых фестивальных знакомств. Но прежде чем рассказать о них, должен заметить, что Высоцкий не смог на сей раз противостоять Милиану. Тот два месяца каждодневно готовился к этой встрече, а Игорь, прилетев в Гавану, был захлестнут бурной фестивальной жизнью, делал, правда, по утрам зарядку, но боксерские перчатки впервые надел лишь в тот вечер. И как ни менял он тактику боя, мощный



Милиан, по его словам, работал, как автомат: защитится — пробьет, защитится — пробьет...

Что ж, вспомним эти слова: кто бы ни победил сегодня...

Бывший гаванский Капитолий. В дни фестиваля в этом монументальном здании, принадлежащем ныне Академии наук Кубы, работал Международный центр антиимпериалистической солидарности.

Амфитеатр имени Камило Сьенфуэгоса. Первое заседание международного трибунала «Молодежь обвиняет империализм». Вопросы судей, прокурора, показания свидетелей — идет суд над главным виновником бедствий человечества. Адвокатское кресло пустует: кто возьмется на фестивале защищать империализм и его лицемерных пособников?

Ангольский эксперт Мануэл Руй Алвеш Монтейро (на суде, проходившем в Анголе над группой наемников, он был обвинителем) просит вызвать двух важных свидетелей, специально доставленных из Анголы на заседание высокого трибунала.

Первый свидетель — Паскуал Мануэл Гомеш. Он был взят в плен ангольскими войсками, когда выполнял контрреволюционное задание так называемого фронта освобождения Кабинды. Он говорит, что ангольские власти к нему отнеслись гуманно — в тюрьме его даже научили читать — и он по собственной воле дает показания. Гомеш свидетельствует, что его обучали в Заире как американские, так и китайские инструкторы... И эти последние вместе с заирскими военнотружениками принимали участие в истреблении жителей ангольских деревень.

Второй свидетель — аргентинец с американским гражданством Густаво Мануэль Грильо. Он участвовал в агрессии против Анголы в 1976 году, был ранен и попал в плен. Он говорит, что его лечили кубинские врачи, что он благодарен им. Грильо свидетельствует, что набор наемников для участия в войне против Анголы велся с помощью американского телевидения, а непосредственно завербовал его офицер ЦРУ...

Затем, предъявив трибуналу американское, бельгийское, английское, западногерманское, южноафриканское и, наконец, китайское оружие, захваченное в боях, представитель Анголы отметил, что «пекинские мандарины», как он выразился, вложили его в руки наемников, оплачиваемых ЦРУ.

Встречу Хорхе в холле отеля «Абана либре» — в этом журналистском логове фестиваля, где даже в бассейне — впасть — шел торопливый обмен информацией. Хорхе спрашивает, где я решил провести предстоящий вечер.

В этот вечер жители Гаваны принимали в своих кварталах, в своих комитетах защиты революции делегатов фестиваля. Эти комитеты, объединяющие сегодня около пяти миллионов кубинцев старше четырнадцати лет, были повсеместно созданы в 1960 году и с тех пор играют немаловажную роль во всех преобразованиях, проводимых в стране.

Хорхе, который завершил прошлым летом в Минске высшее образование и теперь работает в министерстве сельского хозяйства, сообщил мне, что успел уже забежать к себе в министерство и обещал одной своей знакомой привести в ее Комитет защиты революции русских гостей. Он говорил, что в этом сравнительно новом и очень красивом квартале нас ждут замечательные люди и что будет даже órgano, который стоит там прямо на улице... Выяснили, что órgano (делая ударение, как принято в испанском

языке) Хорхе называет орган, и я обещаю, что приду и приведу с собой друзей.

Старый механический орган стоял действительно прямо на улице, под специальным навесом. Меланхоличный мулат заправил в него широкую ленту из перфорированной плотной бумаги, а затем взялся за ручку этой огромной шарманки. Другие музыканты ударили в барабаны. И несколько пар как бы нехотя, сдержанно начали танец. Но орган гудел громко, требовательно и постепенно зазвал улицу в нескончаемый и все более темпераментный танец.

Мы смешались с танцующими, и устроители вечера были рады, что нам нравится танцевать под орган. Но тут появилась эта почтенная дама, которая извлекла нас из танца и решительно заявила, что по поручению Комитета защиты революции номер восемь из соседнего квартала она пришла нас украсть. Переводя эти ее слова, Хорхе слегка побледнел. Бедный Хорхе: он оказался между... двумя комитетами.

А нам понравился такой поворот вечера. Мы пошли в соседний квартал и оказались вскоре в длинном узком помещении (типичный клуб нашего жэка), где, хотя и не было органа, но было не менее шумно и весело, где люди пили пиво, танцевали, а наше появление встретили восторженным криком.

Нам говорили, что каждый житель Гаваны гордится высокой честью, оказанной его городу, — принимать фестиваль. Нам говорили, что каждый член комитета номер восемь готов отдать жизнь революции. Нам говорили, что сердце кубинца переполняет любовь к советским людям... И наступил момент, когда испанская речь уже не требовала перевода. Отвечаешь по-русски, и тебя понимают тоже.

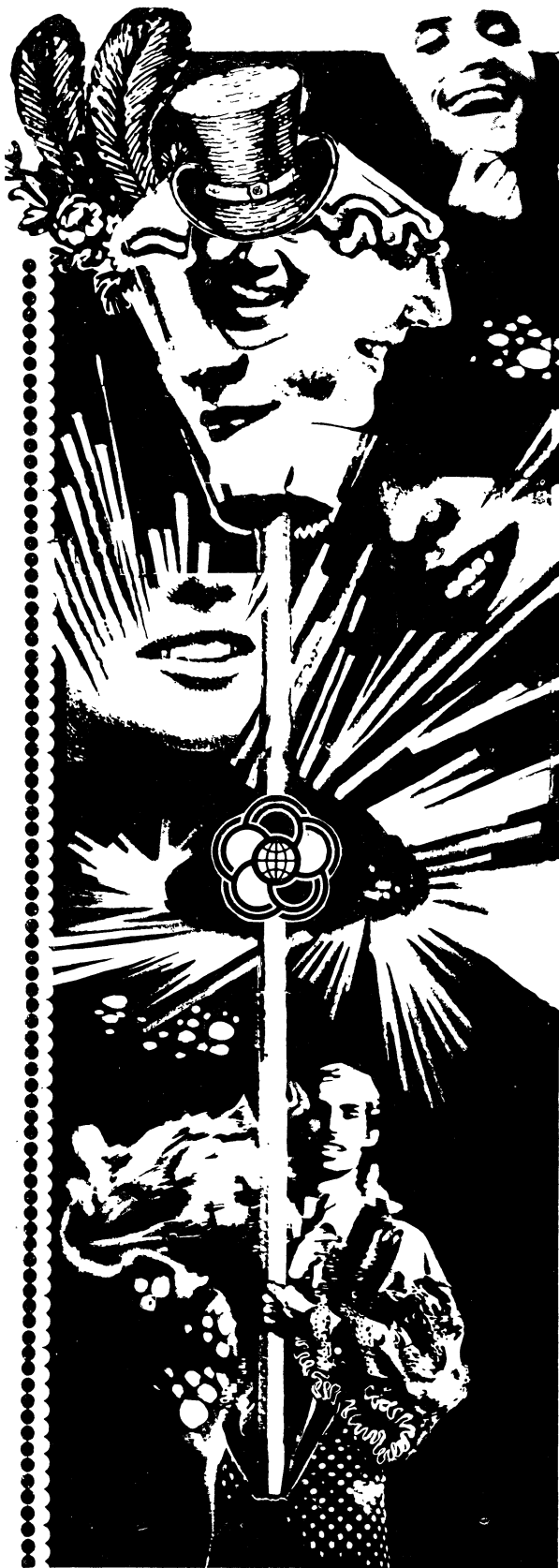
— Знай, что Куба — твой дом.

— Да, Куба — мой дом.

А пока мы объяснялись во взаимной любви, пили пиво и ром, танцевали, один из членов комитета тихо колдовал в углу над большими табачными листьями и наконец вручил нам дивного аромата сигару. А как надо затягиваться этой сигарой, показала все та же Дульсе Антунес — наша почтенная «похитительница», председатель Комитета защиты революции номер восемь. Ее жизнелюбью и темпераменту, казалось, нет границ.

В 1934 году, будучи совсем юной, но уже участвуя в рабочем движении, она приехала из Лас-Вильяса в Гавану, где ее познакомили вскоре с товарищем Мартинесом. Он поселил Дульсе в конспиративном доме, в котором стояли лишь железная кровать с тощим тюфячком да две качалки. Она стала хозяйкой этого дома — убирала его, готовила мужчинам еду. Денег в доме почти никогда не было. Купив обычно что подешевле и возвращаясь домой, она всегда останавливалась на углу улицы, где китаец продавал сладости, и подолгу смотрела на них... Она не сразу узнала, что живет в штаб-квартире нелегальной коммунистической партии и что товарищ Мартинес, которого она полюбила, — генеральный секретарь партии. Позднее Франсиско Кальдеро сменил партийное имя Мартинес на другое — Блас Рока. Это имя сегодня известно далеко за пределами Кубы. Председатель Национальной ассамблеи народной власти Кубы Блас Рока — это тот человек, который, как сказал Фидель Кастро, «передал в наши руки знамя первой Коммунистической партии Кубы».

А когда Дульсе впервые стала матерью, Блас Рока находился в тюрьме, и она не афишировала, кто отец ее дочери. Сейчас у них четверо детей и девять внуков. Но Дульсе, которая еще в подполье помогала мужу в партийной работе, и ныне не склонна быть только бабушкой. Я видел ее окруженную внуками



на карнавале, но при первом знакомстве она была председателем Дульсе...

А завершился тот вечер — это случилось уже, когда мы возвратились в свой квартал, — знакомством с актрисой Ауророй Баснуэво. Юмор в крови у кубинцев, а Аурора дважды в неделю заставляет смеяться всю Кубу — появляется на телеэкране в сатирической программе «Сан-Николас» и участвует в злободневном радиоклубе «Веселье за столом». Среди постоянных персонажей этой передачи (все они жители одного квартала сегодняшней Гаваны) — ее Эстельбина, которая целиком идет в ногу со временем, но уж слишком стремится всегда быть на виду, да и к тому же ее жениха, о котором она говорит постоянно, почему-то никто никогда не видел...

Порывистая оливковая Аурора, мгновенно приняв образ своей Эстельбины, переименовала знаменитую «Гуантанамеру», обернув ее куплетами о поисках женихов. Причем, исполняя очередной куплет, она каждый раз устремлялась к одному из нас...

— Вы же тоже смеялись, даже не понимая слов, — говорила она потом, непринужденно кокетничая. — И это меня заставляет верить, что не зря я стала актрисой.

— Представьте вашу Эстельбину на фестивале, — попросил я. — Как бы она себя повела?

— О, она бы первой встречала гостей в своем квартале. Чтобы все видели, что именно к ней пришли делегаты. И записывала бы их адреса... чтобы потом сказать своему жениху — когда он наконец появится, — что у нее в Советском Союзе есть мальчик, который ее очень любит. Вот он оставил свой адрес... А вот другой адрес...

Мы заговорили с Ауророй о Че Геваре («Я смотрю на Че, как религиозные смотрят на бога»), а затем опять возвратились к ее Эстельбине, которая, оказывается, при всей своей суетности, заземленности даже мечтать не мечтает о том, чтобы занять много денег, разбогатеть («Она живет на Кубе сегодня, и жизнь ради денег и для нее не жизнь»).

А спустя день мы всей компанией ввалились к Ауроре. Она взялась жарить бананы, а когда сковорода была мигмом очищена, жареные бананы принесла соседка — она их совсем по-другому жарила...

Цепь знакомств, которая потянулась невольно после знакомства на боксе с Хорхе, привела меня наконец в этот милый актерский дом, где пришло время высказаться и Петру Стрельцову, кубинские записки которого, как уже говорилось, я взял с собой в Гавану.

Начну с того, что представляю мужа Ауроры — Марио Лимонта. Выглядит он внушительно, в жестах, как и суждениях, сдержан. Марио тоже много работает на телевидении, успешно снимается в кино. Он снимался и в недавнем фильме «Бригадист», который, как нам говорили, посмотрел каждый кубинец и которому сопутствует успех и на международных кинофестивалях.

В сентябре 1960 года Фидель Кастро заявил с трибуны ООН, что спустя год в его стране не будет неграмотных. Сто тысяч школьников и студентов, подвижные высоким порывом, уже отправились в самые дальние уголки страны обучать крестьян грамоте, когда на Кубе высадились контрреволюционные наемники. Фидель, руководивший боями на Плайя-Хирон, распорядился — кампанию не прерывать. Эта первая после победы революции общенародная кампания завершилась полным успехом. Широко известная на Кубе история жизни и гибели от руки бандитов одного из ее героев — юного учителя-бригадиста Мануэля Аскувсе Доменеч — и легла в основу фильма.

— Это сложный, художественно убедительный фильм, — говорит Марио. — Думаю, он найдет своего зрителя не только на Кубе.

— Такого фильма у нас еще не было, — говорит Аурора.

На стене висел большой портрет Антонио Масео, и, зная уже от Ауроры, что во всех телепостановках роль Масео неизменно играет Марио, я сказал ему, что был такой Петр Стрельцов (да, он читал, что был такой русский мамби), в записках которого есть интересная характеристика Масео. Стрельцова подкупила и интеллигентная внешность Масео, и его добродушие, и то, что в его армии царил полное равенство, а сам он никогда не возвышал голос. Стрельцов пишет далее: «Даже в костюме Масео избегал всяких отличий и ограничивался только кубинской кокардой, до неузнаваемости полинявшей от солнца и погоды. Я ни разу не слышал от инсургентов дурного отзыва о Масео: все рассказывали чудеса о его храбрости, находчивости...»

Марио оживился: вот-вот, и его Масео никогда не возвышает голос. Он рассказал, что в свое время классическим исполнителем роли Масео у них считался известный артист Игнасио Бальдес Сиглер, который, хотя и не был мулатом, но был удивительно схож с Масео, а недостаточный рост компенсировал огромными каблуками. Масео в его исполнении был эдаким яростным титаном... Они же, Марио, не «актерствуют», когда его герой сердит — он говорит еще тише, у него лишь дрожат ноздри...

По Малекону — по этой бесконечной набережной Гаваны, которая вечером еще бесконечнее, — плыли карнавальные колесницы — карросы, а вокруг каррос пританцовывали участники компарсы со своими фаролеросами. Слова-то какие сочные! Хоть погружайся по уши уже в сами эти слова.

Пленительные креолки обмахиваются веерами, и откровенно предаются веселью темнокожие их рабыни. То проплывает мимо сама история. А вот пять пар танцоров из очередной компарсы (очередного танцевально-музыкального действия) исполняют жеманный дансон двадцатых годов: зеленая дама в черных перчатках и клетчатый кавалер, другая дама малиновая, а кавалер белый... Ритмы конги, румбы, ча-ча-ча, пилона, снова конги... А фаролеросы продолжают неистово раскручивать над головами свои карнавальные фонари. Но фонари ли это? Фарола — это фарола. Крутится и объяснению не поддается.

Карнавалом в Гаване принято восхищаться — дескать, есть еще карнавал в Рио, а прочим лучше и не соваться. Но в карнавале хочется потеряться, а потом встретить вдруг маску... Мы же карнавал смотрели с трибуны и, как полагается, восхищались.

Ноябрьской ночью 1896 года Стрельцов и его друзья в темной карете, сопровождаемые испанскими жандармами («Они перевязали нас между собой бечевками, наделли наручники...»), пересекли Гавану и выехали к набережной, где их пересажали в лодку, которая направилась к крепости Эль-Морро. Они оказались в руках у испанцев уже после того, как Стрельцов, не желая оставлять раненного в бою под Монтесуэло Константиновича и больного Меленьтева, которых вместе с другими больными и ранеными определили на лечение в префектуре Франсиско, с тяжелым сердцем простился с Масео, словно предчувствуя, что тот скоро погибнет...

Наша журналистская группа, прилетевшая в Гавану лишь в день открытия фестиваля, поселилась не в «Абана Либре» (этот отель расположен в районе Ведадо — помните Маяковского: «Цветут коларии по всей Ведадо...», — где нынче продолжают цвести коларии, но высатым из огромные здания из стекла и железобетона), а на теплоходе «Леонид Собинов», стоявшем в порту. Перед нами лежала Старая Гавана — Гавана каменная с ее узкими, все повидавшими улочками и величественными, как былые испанские гранды, площадями. А по ту сторону неширокого залива вставали, казалось, прямо из моря стены Эль-Морро, и вечерами прожекторы высвечивали белый крепостной маяк.

И утром предпоследнего дня фестиваля я отправился наконец в Эль-Морро. Я вошел в крепость (сейчас здесь создается музей) через те же ворота из почерневшего дерева, в которые ввели в ту ночь русских мамби, прошел под той же черной ажурной люстрой из кованого железа, пересек крепостной дворик, мощенный старой брусчаткой, поднялся на второй этаж массивного внутреннего строения и нашел — так мне хотелось бы верить, во всяком случае, — ту самую камеру, которую описывает Стрельцов («В этой камере помещалось человек 60 арестованных, которые уже спали в гамаках, привязанных к кольцам, вбитым в стену...»).

Бесчисленные дырки, которые красовались в полукруглом своде этой длинной камеры, напоминали о тех кольцах. Я потрогал железную дверную решетку — ту самую... И позавидовал — чисто профессионально — мужеству Петра Стрельцова, который рисковал жизнью, чтобы рассказать русскому читателю правду о борцах за свободу на далеком острове Куба (лишь вмешательство нештатного русского консула в Гаване француза Трюфена спасло Стрельцова и его друзей: Трюфен вызволил их из Эль-Морро и ближайшим пароходом отправил в Нью-Йорк).

Итак, 82 года назад в крепости Эль-Морро при входе в бухту Гаваны многочисленные кубинцы, трое русских и трое или четверо испанцев были заключены в камеры как враги испанской короны, а другие испанцы, служа этой короне, их охраняли.

Двести делегатов представляли испанскую молодежь на фестивале. И хотя их направили в Гавану двадцать две организации с несхожими порой программами, они единодушно вместе со всеми делегатами фестиваля участвовали в массовых антиимпериалистических манифестациях и в митингах солидарности с народами стран, борющихся за национальную свободу, социальный прогресс. «Каждый из нас, — говорил студент-экономист Сесар Гарсиа, — ступил на землю Кубы не без сентиментальных чувств, и мы не ошиблись — нас многое связывает». Плакат, расклеенный по всей фестивальной Гаване: «Молодежь мира, Куба — твой дом» — был написан на шести языках, но самыми крупными буквами — на испанском.

Я уже рассказывал про тот вечер, когда жители Гаваны принимали в своих кварталах делегатов фестиваля. Советские делегаты провели этот незабываемый вечер в Аламаре — удобно и красиво спроектированном квартале, который построен уже в наши дни. А посланцы БАМа встречались на фестивале с молодыми кубинцами, которые строят заново — на современном уровне — Центральную железнодорожную магистраль, которая тянется через весь остров, с востока на запад. Одни не снижают темпов работы и в лютые морозы, другие — и при адской жаре.

Сотрудница музея Эль-Морро, которой я объяснил, какую камеру бывлой крепостной тюрьмы разыскиваю, воскликнула, что она привезет в крепость трех делегатов — советского, кубинского и испанского, — чтобы сделать плакатный символический снимок, который завершит новую экспозицию музея.

Она сказала, что среди своих — кубинских — делегатов выберет, конечно, одного из солдат-интернационалистов и непременно — пусть будет два кубинца! — юную Грисель Гонсалес Кодис, которая возглавила первую у них в стране бригаду девушек-мачетерас, побившую все рекорды рубки тростника. Она спросила: а кого из членов советской делегации я предлагаю? Я сказал, что она не ошибется, на ком бы ни остановилась. Она улыбнулась и убежденно сказала, что рядом с Грисель видит также героя труда. И я назвал славного бурового мастера из нефтяной Тюмени Владимира Глебова¹. Что же касается испанского делегата, то мы выбрали Энрике Листера — сына знаменитого героя гражданской войны генерала Листера. Энрике подарил мне свою новую книгу «Lenjismo u oportunismo».

Успела ли моя энергичная собеседница — шел предпоследний день фестиваля — сделать этот символический снимок?

Мой друг Олег Кокин, едва мы прилетели в Гавану, купил себе складной стульчик (художнику, работая на улице, надо присесть, положить на колени планшет...), но затем, стремясь, как каждый из нас, везде побывать и побольше увидеть, решил наконец забыть его где-нибудь. Но каждый раз за ним устремлялись и дети и взрослые и вручали торжественно стульчик.

Последнюю попытку он сделал в тенистом парке у реки Альмендарес, где под гитару пел молодой певец (на Кубе сейчас возрождение тровы — традиционного жанра народной песни, которую исполняли прежде бродячие музыканты: но новая трова — это и современный ритм и современное содержание). Олег уже отошел от певца на некоторое расстояние, но, услышав смех, обернулся. Зрители смеялись, глядя ему вслед...

Задумчивый, отрешенный тровадор — таким он Олегу казался и таким он его рисовал — теперь, перебирая гитару, вот что, оказывается, наговаривал: «Художник, ты забыл свой стульчик. Куда спешешь? Останься, послушай, как тровадор расскажет о девушке, которую он встретил на фестивале и полюбил с первого взгляда. Но завтра она уползает в свою страну, чтобы воевать за свободу — сладостный вкус свободы еще неведом ее народу. Так я вам скажу, что граница — пусть даже ее стерегут самые злые люди и самые злые собаки — нас уже не разделит. Мы познакомились на фестивале, который не знал границ...»

Наутро мы возвращались в Москву. Олег шел к самолету со своим складным стульчиком.

Гавана — Москва.

¹ Смотри на стр. 5 ответы Владимира Глебова на анкету «Юности».



*Письма
наших
читателей*

ЭТА ТРУДНАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ...

В пятом номере «Юности» было опубликовано письмо Елены Котельской «Год назад я вышла замуж...». В письме затронуты проблемы современной семьи. Редакция попросила читателей-молодоженов высказать свою точку зрения на эти проблемы.

Откликнулись на нашу просьбу не только молодожены с годовым супружеским «стажем», но и «ветераны» семейной жизни, холостяки и разведенные, люди пожилые, обеспокоенные судьбой своих детей — женихов и невест.

Интересные письма прислали Марина Гыдина из Рязани, Николай Ганин из Ленинграда, Лариса и Володя Юрьевы из Челябинска, Людмила и Сергей Грибковы из Ярославля (кстати, довольно значительная часть писем — совместные размышления мужа и жены), Владимир Талдыкин из Днепропетровска, Нина Кургузова из пос. Поплака Литовской ССР, Любовь Котлова из Ташкента, Галина Чернышова из Энгельса, Виктор Кухорчук из с. Думанов, Хмельницкой области, Ира Рыбникова из Саратова, Сергей Гвоздев из Нижнего Тагила и многие другие.

Письма продолжают поступать в редакцию. Счет их ведется уже на сотни. Сейчас почти изучает известный советский социолог В. И. Переведенцев, который будет вести заседание «Клуба юных» по проблемам молодой семьи. Пока же редакция решила опубликовать несколько писем читателей без комментариев. На наш взгляд, эти отклики углубляют и расширяют предмет разговора, начатого Еленой Котельской, затрагивают новые аспекты злободневной проблемы семьи и брака.

СТИЛЬ, БЛИЗКИЙ К «ИДЕАЛУ»

И года не прошло, как я вышла замуж, но мы уже давно не разговариваем. Да и говорить не о чем. Библиотека осталась в родительском доме. Негде ставить книжную полку и секретер с книгами. Нашлось место только для дивана, шифоньера и серванта. Без них не обойтись. Почти все книги из своей личной библиотеки я прочитала, а муж все равно не читает. Ему некогда. Каждый день на взводе. Еду подаю молча. А потом он ложится на кровать, берет мою руку в свою и мирно дремлет. Так проходят наши вечера. Муж сыт, пьян, и я около него... Жду ребенка. Мир и покой. Надолго ли? Впрочем, по ночам плачу — то ли от отчаяния, то ли еще от чего, не пойму. Стил, близкий к «идеалу».

Л. ЧАЙКИНА

Село Амга.

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ...

С волнением прочитала письмо Елены Котельской. Я замужем год и пять месяцев, уже восемь месяцев нашему мальчику. Правда, недавно мы отвезли его к маме, потому что у меня через несколько дней защита диплома.

Муж мой был милым, красивым, загадочным парнем, он правился всем моим знакомым девчонкам и прекрасно это сознавал. Я любила его «как в романах» и, может быть, даже больше. Он не скрывал, что иногда бывает ленив, неаккуратен; вообще он человек настроения. Но мы любили друг друга; недостатками своими он не бравировал, а серьезно хотел с ними бороться.

Он не был в курсе всех литературных новинок, хотя читать очень любит, читает много, при всей занятости (он студент-вечерник). До рождения ребенка мы ходили в театры, кино, консерваторию. Потом, конечно, пришлось на время от этого отказаться.

Первый день нашей совместной жизни удивил меня. Я еще не могла опомниться: «С чего же начать?» — а мой муж, умытый и побритый, вдруг появился в комнате с пылесосом.

Потом он перевелся на вечернее отделение, я его почти не видела. В утреннюю смену он поднимался в половине шестого, я готовила ему завтрак, потому что сам бы он не стал этого делать просто от усталости, ведь он только в половине двенадцатого приезжал домой. Я говорила об этом подругам, они меня предостерегали: «Вот так и будешь всю жизнь вскакивать да подносить». Но я знала, что будет по-другому. С самого первого дня и до сегодняшнего в нашей маленькой семье нет мужских и женских дел (речь, конечно, не идет о том, кому передвинуть шкаф).

Муж мой многому научился; он пеленает и купает ребенка почти так же ловко, как я. Сейчас у меня подготовка к защите диплома, и муж, сдав свою сессию, взял на себя полностью домашнее хозяйство. Я хочу сказать молодым: «Надо больше отдавать друг другу, и вы будете счастливы! Ведь вы говорили слова любви, так пусть это будут не только сло-

ва, но и дела любви. Когда чувство взаимно, ничто не может его победить, никакие временные трудности».

Когда у мужа растекаются сырники по сковородке, я его целую; говорю, что надо было добавить муки, мы посыпаяем эту смесь сахаром (хорошо, что не подгорело!) и съедаем. Никакого конфликта! И ничего, что он почему-то упорно вставляет две нитки в иголку, он просто хочет шить прочнее.

Мне очень больно слышать, что мои знакомые по институту, бывшие «интеллектуалы» — я только так могу их назвать теперь, — грубят своим женам, которых очень пылко, возвышенно любили до свадьбы. Писали стихи, забрасывали телеграммами, если были в разлуке, а теперь ссорятся из-за денег, домашних дел.

Первый год нашей жизни, как видите, прошел хорошо, хотя было очень трудно: было много забот с учебой и с ребенком. Возможно, сыграло большую роль то, что мы давно друг друга знаем. Помогло нам терпение и доверие друг к другу: ведь всякая обида становится не такой нестерпимой, если о ней рассказать близкому человеку. Если мне что-то не нравилось, я говорила: «Пожалуйста, больше так не делай». По-моему, это любого человека тронет больше, чем скандал или окрик.

А вот с его родителями получилось очень сложно. Им было жалко единственного сына, когда он стирал пеленки или вставал ночью к малышу. Я все это молча сносила, иногда плакала. Муж жалел меня, по-прежнему много помогал, но не защищал, потому что в их семье не принято спорить с родителями. В конце концов мы ушли. Сейчас мы на частной квартире, забот и расходов прибавилось, но мы спокойны и свободны. К нам часто приезжает мама мужа, много помогает. Благодаря ей я заканчиваю институт.

Растет мой ребенок. Семьи без ребенка я не представляю.

Оля С.

г. Москва.

НЕ УЗНАВ ХОРОШЕНЬКО СВОЕГО СУЖЕНОГО...

Мы с мужем — ровесники, познакомились еще в школе.

Нашу будущую жизнь мы представляли прекрасной: оба мечтали учиться, во всем друг другу помогать, в общем, жить так, чтобы все нам завидовали. Но вот прошел год, и я делаю вывод, что это были лишь планы. Учиться Женя не пошел, я же поступила в институт на заочный факультет. Вскоре появились у нас расхождения по многим вопросам; я постоянно убеждала Женю, что образование ему необходимо, что уровень развития мужа и жены должен быть одинаковым. Он же считал и продолжает считать, что прожить можно и с десятилеткой не хуже других.

Жить мы стали с самого начала у его родителей. Правда, последние никакой моральной или материальной помощи нам не оказывали, но часто, казалось бы, совсем случайно, незаметно, вторгались в наши отношения, мешали действовать самостоятельно. Женя очень уважает своих маму и папу, и их

слово для него — закон. Часто, слушая их, он стал забывать обо мне, мои мысли и мнения стали для него второстепенными.

Я всячески старалась делать так, чтобы нам было так же хорошо, интересно, как до свадьбы. Но из этого почему-то ничего не получалось. Я стала нервной, резкой, очень раздражительной. По любому пустяку — в слезы.

Сейчас мой муж кажется мне человеком очень нестерпимым. По всей вероятности, придется взвалить все трудности на свои плечи. А ведь у нас растет сын, маленький Руслан, и я хочу, чтобы он вырос сильным и мужественным, каким должен быть настоящий мужчина.

Этой весной Женю призвали в армию. Впереди два года разлуки. Что принесут они нам? Что ждет нас впереди?

Хочу обратиться через редакцию ко всем девочкам, таким же, как я: выходите замуж обдуманно, серьезно. Не торопитесь! Проверьте себя еще раз, проверьте ваши чувства. Ради вашего будущего счастья, ради счастья ваших детей. Это, пожалуй, главное.

Не судите меня строго за то, что говорю давно известные всем истины. Мне их тоже говорила моя мама. Но только теперь, год спустя, я поняла, что поступила неправильно: не узнав хорошенько своего суженого, пустилась сломя голову в неизведанный мир, мир, требующий серьезности и большой ответственности. И теперь горько за это расплачиваюсь.

С уважением
Фарида Н.

г. Казань.

бабушка не заменит ребенку мать. Я бы с удовольствием помогла мужу строить гараж, только бы побыть вместе, но опять проблема — ребенок.

Вот и получается, что муж живет своей жизнью, а мы с сыном — своей. Но дело вовсе не в этом. Можно очень редко видаться друг с другом, но даже на расстоянии чувствовать друг друга. А у нас этого нет. Самое обидное в моем муже, что он не замечает моих дел. Я не хочу хвалиться, но муж не может упрекнуть меня в беспечности. Он не замечает, что приходит домой всегда в чистую комнату, что его всегда ждет ужин, что ребенок всегда уложен. Очень обидно, что все это принимается как должное. Никогда он мне не скажет: «Молодец! Это ты сама сделала?», «Как вкусно сготовила!» Чужие люди хвалят, а он никогда. Как бы я ни устала, как бы плохо себя ни чувствовала — он этого не заметит. Когда он дома, то или смотрит телевизор, или спит. Со мной не разговаривает (только о гараже и рыбалке), с сыном не занимается, книг не читает.

Первый год я этого не замечала. А сейчас вспоминаю: тогда я была полна своей любовью, а от него ничего не требовала. Но, видно, не получается — все время отдавать, ничего не получая взамен.

Я не помню, когда он последний раз называл меня по-доброму или приласкал меня. Со временем я тоже охладела к нему, и теперь мы рядом, но чужие люди. Самое страшное, что он этого не чувствует, а если и чувствует, ничего не хочет менять. Его такая семейная жизнь вполне устраивает. А мне он иногда противен, но порвать страшно: все-таки семья, ребенок, да и причин вроде веских нет — не пьет, не изменяет...

Татьяна ЛЕОНОВА,
26 лет.

г. Челябинск.

НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧАЯ ВЗАМЕН...

Не хочу винить Елену Котельскую, не сумею сохранить семью.

Я вот шесть лет живу с мужем только ради того, чтобы была семья, и чувствую себя очень одинокой. Я не хочу искать правых и виноватых в нашей семейной жизни и не хочу ни у кого просить совета. Никто в этом лучше меня не разберется. Когда я плачу, то не мужа виню, а себя...

Мой муж твердо знает, чего он хочет, и идет к своей цели, не замечая, чего хочу я. Когда мы поженились, он поступил в вечерний техникум (по моей инициативе). Я, как могла, помогала ему. Почти четыре года он учился и, кроме того, занимался комсомольской работой. Естественно, я и наш маленький сын его не видели. Но вот наконец одна цель достигнута — техникум окончен. Дальше, как я ни уговаривала его, учиться он не пошел. Потому что поставил перед собой другую цель, даже две: построить гараж и вырастить сад. Это все, конечно, нужно. Он обзавелся участками и интенсивно принялся за работу. У него есть еще одно увлечение: рыбалка. Я не хочу быть эгоисткой, у мужчины должны быть свои дела и увлечения. Но в нашей семье получается, что единственные мои увлечения — это ребенок и дом...

Я бы тоже хотела учиться, но практически это невозможно. Поручить ребенка бабушкам? Все бабушки сейчас работают, у них свои семьи, и на внуков времени не хватает. А кроме того, никакая хорошая

ЛЮБОВЬ

ПЛЮС ТЕРПЕНИЕ И ВЗАИМОПОНИМАНИЕ...

Я помню, что лет 5—7 назад на наших экранах шел французский фильм «Супружеская жизнь». Так вот фильм этот, как вы помните, состоял из двух частей, где показывалось, как одни и те же события преломляются в сознании женщины и мужчины. И самое интересное заключалось в том, что преломляются-то они совершенно различно. Я не оправдываю мужа Лены. В ее письме он выглядит совсем неприглядно, но ведь мы не знаем, что он думает обо всем этом.

Лена сама выглядит деловой, энергичной, весьма рассудительной, даже, по ее словам, «трудолюбивой». Он же явный антипод ее. Некий «потребитель», как она его называет. Но она сама же пишет, что муж перенес огромное горе — смерть матери. Я не верю, что сын не любил мать. А раз любил, то это огромная потеря. И такая потеря выведет из равновесия даже волевого и сильного мужчину, а ведь муж Лены, по-моему, таким не является.

Лена пишет, что «она приспособливалась к изменившейся ситуации», а ее муж нет. А может быть, надо было приспособиться друг к другу в новых тяжелых условиях. Что сделала Лена, чтобы повлиять

на мужа? Она справедливо разгневалась и ушла к маме, а ее муж остался один на один со своим горем. А где терпимость? Неужели у самой Лены нет недостатков? И почему нельзя было двум любящим людям поговорить друг с другом по-человечески, выкинуть в ситуацию как следует? Все это я понял на своем небольшом, правда, опыте семейной жизни.

Надо сказать, что до брака я не представлял себе той меры ответственности, которая ляжет на мои плечи. Я не думал, что мне многому придется учиться заново, заново строить себя и свои отношения с женой. Наша дружба до свадьбы была светлой, чистой и немного романтической. Я относился и теперь отношусь к жене с большой нежностью и искренностью. Жена моложе меня на четыре года. Это небольшая разница, но опыт, накопленный в жизни, у нее невелик. И вот после прекрасной свадьбы мы поняли, чего нам не хватает.

Прежде всего мы учились уступать друг другу даже в мелочах. Не обходилось без ссор и размолвок. Но, к счастью, они не были длительными. Наверно, мало с уважением относиться к мнению другого, надо еще стараться понять его. Часто нам с женой очень трудно было спорить с родителями. Конечно, все родители хотят видеть молодых счастливыми и радостными. Они видят жизнь и быт молодых во всех деталях, но вот загвоздка — сами молодые часто видят свою жизнь, будущее иначе. И это приводит к серьезным разногласиям.

Я считаю, что лучше пусть родители не вмешиваются в жизнь молодых, особенно на первых порах. Пусть они дадут окрепнуть молодой семье. Часто родители с опаской отпускают молодых дочерей в самостоятельное плавание по жизни. Дают советы, настаивают, опираясь на свой опыт. Но ведь и молодые должны почувствовать вкус жизни, живя отдельно и сами создавая свой очаг, и опыт у них появится собственный, незамысловатый.

Конечно, в семье не обходится без шероховатостей, особенно вначале. Но мы с женой стараемся их преодолевать. Тут нам помогает чувство юмора, такт, выдержка. Она просто необходима, как мужу, так и жене. Терпимость к недостаткам другого. Я знаю и вижу недостатки моей Иришки, но в то же время знаю и чувствую, что ее достоинства заслоняют их. Но если она или я делаем друг другу замечания, то эти замечания не обидны. В семье у нас царит дух взаимопомощи, товарищества. Я считаю, что жена — это мой ближайший друг, и я делюсь с ней всем. Так же и она. Откровенность необходима в семье...

Мне кажется, что большинство молодых семей (сужу по тем, которые знаю) испытывает чаще трудности морального плана, а не материального. Вначале часто не хватает умения понимать друг друга, умения уступать, умения верить и хранить любовь.

Ведь этому сложному искусству, которое называется супружеской жизнью, в школе не учат. И я думаю, сохраняя любовь и семью люди, которые могут уступать своим любимым, подавлять эгоистические чувства, люди, для которых превыше всего то, что соединило их, а не те мелкие трения, которые могут возникнуть. Я за любовь, за понимание, за терпение и взаимопомощь в семье.

С комсомольским приветом Григорий М.



НИКОЛАЙ ЗИНОВЬЕВ

Я хотела быть актрисой

Памяти комсомолки, московской студентки Наташи Качуевской, именем которой названа улица в Москве.

На Арбат свернуть и дальше —
вдоль домов, оград листья...
Тишину зовут Наташа в центре города

Москвы.

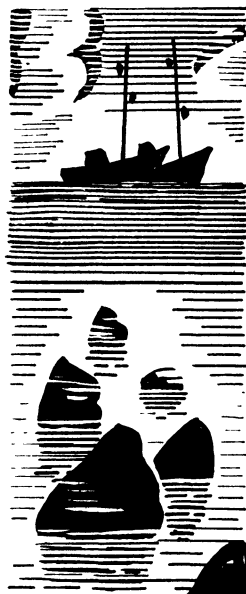
«Я хотела быть актрисой.
Сорок первый вспыхнул год.
Я ушла, как за куписы,
и вернусь, вернусь вот-вот...
Я хотела быть актрисой...
Надо мной трава растет». —
Может, ветер дышит тихо,
может, это утра блажь,
старых лип неразбериха или голоса мираж.
...Двадцать раненых прикрыла,
на себе перенесла,
защитила белокрыло полумертвые тела.
Это был не выход, вызов!
Черный крест над Волгой воет...
«Я хотела быть актрисой,
а теперь я павший воин».
Быть хотела Жанной дерзкой,
но сгореть не довелось.
И осталась Качуевской
с красным крестиком насквозь.
Не на занавесе МХАТа,
говорят, в небесной мгле —
милосердие крылато
с алым следом на крыле...

Ты

У тебя за плечами лишь детство есть.
Никакой маеги.
Твоих платьев весенних уже не счесть,
а у меня только ты.
Есть у друга собака и сто забот
и в тетрадах — мечты.
Я поеду к нему, он меня поймет:
у меня только ты.
Вот и кончилась осень, зима подошла.
Все надежды пусты.
Сколько, сколько на свете под снегом тепла!
А у меня только ты.
Оставляешь ты в сердце свет, уходя.
И на стуле цветы...
Есть у ветра свобода, грусть у дождя.
У меня только ты.

УРМАС ЮЛЛАС,

рыбак колхоза
имени С. М. Кирова,
Эстонской ССР.



1. Начинаю вспоминать наиболее памятный день в этом году, а перед глазами проходит вся моя жизнь. Остров Рухну в Балтийском море, где я провел детство. Маяк, на котором работал в то время отец. Небольшое деревянное строение в центре острова — правление колхоза, председатель — моя мать. Полоска песка у берега, крики чаек, высокие волны в непогоду, небольшие баркасы рыбаков, уходящие в море... Рыбаки на острове были самыми уважаемыми людьми, их нелегкий труд был на виду у всех, и естественно, что мы, мальчишки, тоже мечтали стать рыбаками. Каждый мечтал о дне, когда уйдет в самостоятельное, «взрослое» плавание.

Для меня, однако, этот день настал не скоро...

Вспоминаю годы учения в Таллинском строительном-механическом техникуме, куда я пошел после школы и где получил специальность техника-механика по ремонту и обслуживанию автомашин.

Вспоминаю службу в армии — я был связистом.

Вспоминаю, как шесть лет назад я пришел устраиваться на работу в колхоз имени Кирова. Хотел рыбаком, да не вышло, не было вакансий. Я стал работать шофером. Возил с причалов свежую рыбу на консервные комбинаты, возил с комбинатов ящики с консервами в Таллин. Вскоре мне был присвоен почетный знак «Молодой гвардеец пятилетки». Работая шофером, я, что называется, «на своем кузове» почувствовал, какое мощное промышленное предприятие наш самый большой в Эстонии колхоз-миллионер. Дать стране более ста миллионов банок консервов за пятилетку — это не шутка!

Я вспоминаю солнечный сентябрьский день тысяча девятьсот семьдесят шестого года, когда первый раз вышел в море в качестве рыбака-тралмастера. В тот день мы взяли двумя ботами полторы тонны кильки.

Произошло это в отделении колхоза имени Кирова «Роху-неэме», где я по сей день и работаю.

Вспоминаю январь нынешнего года, когда на общем собрании колхозников объявили, что наша бригада — экипаж двух палубных ботов, шесть человек — заняла по

итогам социалистического соревнования 1977 года первое место в отделении.

А еще я вспоминаю совсем недавние дни — конец апреля. Погода была плохая — ветер, волны, снег с дождем. Килька и салака ушли от наших берегов. Много раз мы выходили в море и возвращались с пустыми тралами. Вдобавок ко всему заболел наш капитан — старый, опытный рыбак Эрих Томинкас... Но мы искали рыбу! Стали выходить в море не только днем, как раньше, но и ночью. Если раньше ловили в 6—7 милях от берега, то теперь отплывали на 9—10. Трал опускали на разные глубины — от 20 до 90 метров. Это были тяжелые дни. Работали без выходных. В море — день и ночь. И все-таки мы победили! Нашли рыбу там, где по всем законам рыболовства ей вроде быть не полагается.

И, конечно же, я еще вспоминаю день, когда мне вручили партийный билет, — 3 марта.

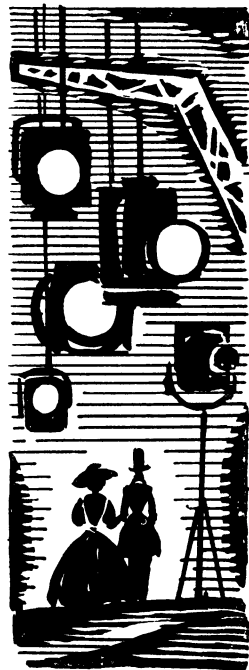
2. Экипаж палубного бота — три человека. Капитан, тралмастер, моторист. Естественно, что они должны понимать друг друга с полуслова. Но этого в условиях современного промысла недостаточно. Зимой я окончил трехмесячные курсы на учебном комбинате в Пярну. Теперь имею еще одну специальность — механика на маломерных судах. Мы стремимся к тому, чтобы на судне была полная взаимозаменяемость. Мало ли что может в плавании случиться... Мои ближайшие планы — сдать экзамены на судоводителя. А дальше... Дальше видно будет... Что касается личной жизни, то недавно я женился. Значит, настала пора подумать о своей семье, своем доме. Наверное, будем отделяться от родителей, строить дом на берегу моря. Ссуду на это колхоз выделит. Надеюсь иметь двух-трех детей...

Мой главный «план на будущее» — передать детям чистое, не испорченное нефтью и другими отходами Балтийское море и чтобы рыбы в нем хватало и им, и их детям, и еще многим-многим поколениям советских людей.

АНКЕТА
1978
АНКЕТА

ДИНАРА АСАНОВА,

кинорежиссер,
известна нашим читателям,
как автор фильмов
«Не болит голова у дятла»,
«Ключ без права
передачи», «Беда».
В прошлом году за фильм
«Ключ без права передачи»
Асанова удостоена
премии Ленинского
комсомола



1. Каждый день у меня—рабочий. Он несет и свои радости и свои огорчения. Я не могу назвать такой день, чтобы он был целиком радостным. Может, профессия такая? А может, я просто такой человек?..

Впрочем, если отвлекусь от съемок и сценариев...

У меня есть сын. Ему шесть лет. В русских семьях мальчика часто называют или Николаем или Владимиром. Поскольку мой муж—Николай, то сын был записан Владимиром. Но зовем мы его Анваром. Это, конечно, пошло от меня—по-моему, это восточное имя очень подходит сыну.

Е середине мая сын вдруг написал мой портрет. Написал без прикрас. Как я есть. И тот день, когда я увидела этот портрет, был для меня как праздник.

Сыну исполнился только год, когда он нарисовал очень красивую то ли птицу, то ли человека. А сейчас ему уже надо, чтоб было похоже. В шесть лет он уходит из детскости. Это интересно. Я привезла этот портрет в Москву, показала друзьям, и теперь они не хотят мне его возвращать...

2. Я занята сейчас сразу тремя фильмами. В одном из них снимаются и Лена Цыплакова, и Мария Левтова, и Саша Богданов—мои прежние герои, уже знакомые зрителям по «Дятлу» и «Ключу». В этом фильме—мы называем его «16—25»—делается попытка исследовать психологию названного возраста.

Сегодняшний молодой человек практически вполне ориентирован, но достаточно ли это—быть практически ориентированным?

И автор сценария Валерий Приемыхов—сам человек молодой и талантливый—и я, размышляя над фильмом, во многом отталкиваемся от последней работы Игоря Кона, посвященной психологии юноше-

ского возраста. Да и герой наш (в этой роли Алексей Петренко)—психолог и социолог, который в течение всего фильма вникает в жизнь одного класса, стремясь найти объяснения достаточно сложным событиям и коллизиям.

А в самое ближайшее время я начинаю также снимать фильм о современной семье по сценарию Виктора Аристова, в котором рассказывается, как совершенно прелестная жена уходит от очень хорошего мужа.

Что же происходит в этой великолепной семье? Что происходит с нами? В фильме не будут поставлены все точки над «i».

И, наконец, вместе с тем же Валерием Приемыховым я сейчас дорабатываю сценарий, который называется «Никудышная». Это история девочки лет четырнадцати-пятнадцати. Она злюка, чужающаяся людей. Отчим отправляет ее к дальним родственникам, и тут-то она узнает, что такое добро—исцеляющее добро...

И у меня в детстве, во Фрунзе, была бабушка, которая умела рассказывать добрые сказки. Нет, не биографически, а по духу этот сценарий мне очень близок. Моя бабушка, кстати, была татарка. Киргизская кровь во мне смешалась с татарской. А песни люблю и русские...

Но давно мечтаю уже сделать фильм на национальном материале. И есть писатель, работать с которым для меня было бы счастьем. Я говорю о Чингизе Айтматове.

А что касается «Никудышной», то я чувствую, что может получиться хороший фильм. Знаю уже девочку—она учится в одной из ленинградских школ; я уверена, она хорошо сыграет главную роль. Словом, казните меня, если этот фильм не получится.





Н. ШУРИНА

БАБУШКА И ВНУЧКА

В селе Раздольном Донецкой области оканчивает ПТУ № 10 имени легендарной комсомолки тридцатых годов Паши Ангелиной ее внучка — комсомолка семидесятых, тоже Паша Ангелина. Напрашивается традиционное — династия трактористок! Но надо помнить, по какому счету — не только профессиональному — следует жить, чтобы по праву принадлежать к ангелинской династии.

В 1947 году депутат Верховного Совета СССР трактористка Прасковья Никитична Ангелина получила письмо из Нью-Йорка, и в нем сообщалось, что ее имя включено в «Мировую биографическую энциклопедию», в которой собраны биографии выдающихся людей всего мира. Ей предлагалось ответить на вопросы анкеты.

Ангелина отвечала так:

«Год рождения 1912. Место рождения — село Старобешево. Отец: Ангелин Никита Васильевич — колхозник, в прошлом батрак. Мать: Ангелина Ефимия Федоровна — колхозница, в прошлом батрачка».

«Начало карьеры» (вопрос анкеты) — «1920 г., батрачила вместе с родителями у кулака. 1921—22 годы разносчица угля на шахте «Алексеево-Распнянская». С 1923 по 1927 г. опять батрачила. С 1927 г. —

конюх товарищества по совместной обработке земли, а позже колхоза имени Ленина. С 1930 до настоящего времени (перерыв два года—1939—1940 — училась в Московской сельскохозяйственной академии им. Тимирязева) — трактористка».

Как удалось этой простой женщине добиться всенародной славы, всемирной известности?

Я поехала в село Старобешево, на родину Паши, где живут люди, близко знавшие Ангелину, вместе с ней работавшие.

Село Старобешево нынешней Донецкой области начиналось с пяти домов во времена Екатерины II, а поставили эти дома переселенцы-греки, которых императрица повелела перевезти из Крыма на плодородные земли Украины. Не все переселенцы выдержали этот тяжелый переход, но те, которые обосновались здесь, были людьми крепкими. Долго хранили они свои обычаи и язык. Были семьи, которые разбогатели, но большинство никак не могло выбиться из нужды. В одной из таких семей и родилась Паша.

Упорным характером обладала эта девочка. Еще учась в школе, жила она колхозными делами, целиком захваченная небывалыми возможностями, которые Советская власть открывала крестьянству.

Однажды во время грозы Паша побежала на колхозную ферму укрыть телят. Не знала она, что в это время туда пробрались местные кулаки, чтобы уничтожить молодежь. Когда рука с ножом поднялась над первой жертвой, Паша бесстрашно вступила в борьбу. Изловчилась девочка, ударила бандита лопатой. Второй в страхе убежал, а Паша сторожила пойманного до утра, пока не пришли односельчане...

А вот как рассказывала Прасковья Никитична о своем решении сесть за руль трактора:

«Моего брата Ивана—первого в районе тракториста послали на учебу. И я решила стать вместо брата трактористом («трактористка» — такого слова в то время не было). Надо мной сначала посмеялись. Но поскольку машина все равно простаивала, начальство согласилось меня испытать. Мне тогда сказали: — Леший с тобой, работай! Только, пожалуйста, осторожно... И вот выехала я ран-

На снимках: вверху Паша Ангелина-бабушка — за рулем трактора. 1937 год. Вверху справа Паша Ангелина-внучка — на занятиях в ПТУ (на переднем плане, с указкой). 1978 год.

Фото Ю. УСТИНОВА.

ним-разним утром первый раз в поле. Было свежо, аж щеки горели. Трактор мой тарахтел. А я все оборачивалась да оборачивалась: глядела, как черным валом ложится позади первая моя борозда. И парок легонький над ней...»

Сегодня уже трудно представить, каким вызовом устоявшимся предрассудкам, бытовавшим в крестьянской среде, было это решение юной Паши — водить трактор. И даже когда имя ее приобрело всенародную известность и у нее появились тысячи последователей, ей приходилось бороться с непониманием, со старой житейской моралью. И вот эта-то (бытовая, вроде бы не главная) сторона жизни Паши Ангелиной позволяет лучше понять, какой светлой, незаурядной личностью была легендарная трактористка.

Почему ты не хочешь быть как все? Ну поработала на тракторе, совершила трудовой подвиг и хватит, сиди дома, воспитывай детей, иди, наконец, на руководящую работу. И рассуждал таким образом не кто-либо, а муж Паши. Действительно, Ангелину приглашали на партийную работу, и, вероятно, она справилась бы с этим делом прекрасно, но что-то в ней упорствовало, говорило: нет, хочу видеть плоды трудов своих в хлебе.

Легко ли было ей пойти на разрыв с мужем и сказать: у меня есть только работа и дети. Не нужно лишнего платья, не нужно особых удобств, мы как все. И каждое лето Паша отправляла своих четырех детей в пионерский лагерь на три смены. Но когда дети сестры приезжали в Старобешеве и гостили в доме Ангелиных, были они обласканы и ухожены...

Тяжело вспомнить Светлане, старшей дочери Ангелиной, что домашние вовесть не заставляли мать лечиться, сама же она всегда говорила профессору из Донецка, который приезжал к ней как к депутату и дважды Герою Социалистического Труда, к человеку, которого ему поручили беречь, что чувствует себя прекрасно. Она не умела думать о себе. Бескорыстно и чисто было ее сердце перед людьми, не нажила она никаких сбережений, не настроила дочерей и сына на легкую жизнь...

Вечерами в доме Ангелиных собиравшись порой гости, соседи, родственники — всем находилось место за большим столом. Мать Ангелиной — радушная, приветливая хозяйка, да и сама Паша любила приготовить украинский борщ и угостить друзей; в своей женской бригаде она иногда бы-



вала и за повара. Но чаще всего приходила она с поля поздним вечером и засыпала, сидя за столом, — ужинать не было сил. И все же она находила время, чтобы побыть с детьми, знала их беды и радости. Не послушать, не выполнить ее наказ казалось для ребят просто кощунством. Они росли прямыми, честными, трудолюбивыми, учились хорошо. Да и невозможно было иначе: перед глазами был пример матери.

«Вон ты в Москву без конца едешь с мамой», — завидовали одноклассники Светлане. Да, ездила Света с мамой, бегали они вместе по поручениям односельчан — Паша брала с собой в столицу целый список, вот только о себе подумать не успевала. Но зато в театр ходили часто. Любила оперу — «Иван Сусанин», «Борис Годунов» в Большом. Волновалась и радовалась, как ребенок. Отослав послышки односельчанам, принималась за свои покупки. Не ковры покупала себе, не наряды, а книги. И осталось детям наследство матери — тысячи томов книг. Нет, совсем не случайно Светлана Ангелина стала филологом.

«Однажды перед Новым годом, — вспоминает Светлана, — сижу грустная и думаю, в чем же пойти на новогодний карнавал? Был в школе объявлен конкурс на лучший костюм. А у нас в доме никаких особых нарядов для детей не покупалось, только самое необходимое, все маме некогда было об этой стороне жизни подумать, потому что ее думы были о другом. Но вот дверь открывается и входит мама, сразу спрашивает: «Ты чего нос повесила, Светик?» «Да вот, костюма новогоднего нет, а теперь уже и не ус-

петь». «Рано унываешь», — сказала мама и принялась рыться в старых платьях. Нашла зеленое с оборками, говорит, а ну одевай. Быстро перешла на меня (а шила она прекрасно), задумалась на секунду: «Ну вот, Светик, ты будешь нарядной елкой», — и вышла во двор. В огороде у нас росла туя, посаженная еще дедом (он любил экзотические растения). Мама сорвала несколько веток. Пришла, ловко приложила их к платью и стала нашивать на оборки пушистые зеленые ветки. Скоро я действительно была похожа на елку, но этого маме показалось мало, и она стала наряжать меня елочными игрушками. Так в шарах и в лентах я и вошла в школьный зал с мамой. Она вела меня за руку и следила, чтобы ни одна игрушка не разбилась. Я была счастлива — мой костюм признали лучшим. Помню, что мама радовалась ничуть не меньше меня.

Паша Ангелина вырастила четырех детей. В январе 1957 года она умерла. А на следующий день после преждевременной смерти Праксёвны Никитичны родилась внучка, которая унаследовала ее имя, а теперь решилась унаследовать и профессию. Хочется пожелать юной трактористке Паше Ангелиной жить и работать по тому высшему счету, по которому жила и работала ее «бабушка Паша».



**ОЛЕГ
КОМОВ,**

секретарь Правления
Союза художников РСФСР

СО ВСЕХ КОНЦОВ РОССИИ...

Многим из этих полотен, скульптур, рисунков пришлось изрядно попутешествовать, прежде чем собрались они все вместе в Москве, на Кропоткинской, 21. География работ выставки молодых художников РСФСР, посвященной 60-летию Ленинского комсомола, была исключительно богатой. Москва и Ленинград, Владивосток и Кызыл, Новосибирск и Архангельск, Оренбург и Магадан, Тюмень и Петрозаводск...

Но не только представительность отличала юбилейную экспозицию, которой радушно предоставила свои залы Академия художеств СССР...

Большое и плодотворное воздействие на дальнейшее развитие советского искусства оказало постановление ЦК КПСС «О работе с творческой молодежью». Реализуя его, Союз художников РСФСР совместно с Центральным Комитетом ВЛКСМ, Министерством культуры Российской Федерации осуществили целый ряд важных мероприятий, которые позволили молодым живописцам, скульпторам, графикам, прикладникам более активно проявлять себя, совершенствовать мастерство, создавать произведения яркие, значительные.

Доброй традицией стали поездки молодых на важнейшие стройки десятой пятилетки, на предприятия, в колхозы и совхозы. Результат этих поездок — более глубокое знакомство художника с жизнью, активное участие в общем труде народа. Творческие бригады, как правило, возглавляют опытные, авторитетные мастера, которые проявляют себя заинтересованными, требовательными наставниками молодых. И еще групповые поездки хороши тем, что они поощряют участников на соревнование друг с другом, помогают основательнее познакомиться с коллегами и в результате взаимообогащаться, пропагандировать наше изобразительное искусство среди трудящихся.

Итогом таких поездок в значительной мере и явилась юбилейная выставка молодых художников Москвы, Ленинграда, краев и областей РСФСР. Главная, определяющая ее черта — черта счастливая и плодотворная — это преобладание в показанных произведениях современной темы. Экспозиция отразила сегодняшний день страны — день вдохновенный, наполненный созиданием. Отразила в работах интересных, глубоких, отличающихся богатством, разнообразием форм, стилей, манер и единством

взгляда на жизнь, на те проблемы, которые решает наша страна.

И еще одна характерная, отрадная примета. Если сравнительно недавно на подобных выставках резко выделялись работы москвичей и ленинградцев, то в юбилейной экспозиции этот контраст не ощущался, ибо мастерство молодых художников краев и областей республики за последние годы значительно возросло, и теперь уже нег нужды в скидках на «отдаленность», «провинциальность». Соревнование за право участвовать в выставке шло на равных.

Следует отметить и такую важную черту, как уважение творческой молодежи к традициям русского и советского изобразительного искусства, освоение опыта мастеров, продолжение и развитие лучших традиций. Это проявилось и в форме произведений, и в повышенном интересе к человеку, нашему современнику, в стремлении кисти, резцом, пером смело вторгаться в жизнь, показывать самые различные ее аспекты.

В качестве примера можно было бы назвать многие работы, получившие высокую оценку зрителей и профессиональной критики. Некоторые из них журнал «Юность» воспроизводит на своих страницах.

Выставка посвящалась 60-летию ВЛКСМ, и потому на ней преобладали произведения о революции, комсомоле, советской молодежи. В этих работах — и романтика, и пафос созидания, и тонкая лирика.

Здесь можно назвать полотна москвича М. Гурвича, новосибирца М. Омбыш-Кузнецова, уфимца Е. Винокурова, А. Копотина из Сыктывкара.

Интересна работа свердловчанина А. Калашникова «Гайдар». Автор создал живой, одухотворенный образ. Он и предельно конкретен и в то же время символичен, ибо олицетворяет пафос революции, молодость нашей страны. Художник нашел свое решение большой и важной темы, что даже при некотором несовершенстве формы делает полотно значительным.

Эти же качества характерны и для триптиха москвича Е. Корнеева «Тютюн». Автор молод — он только что окончил институт, но уже смело берется за сложную форму триптиха.

Обратила на себя внимание бронзовая скульптура Ленина, созданная москвичом П. Чусовитным. Портрет решен необычно, но он точно передает характер вождя, не копируя уже известные образцы, которыми так богата наша Лениниана.

Графический раздел выставки — это десятки листов гравюр, офортов, литографий, которые отразили широкий круг интересов нашей молодежи, показали высокий уровень техники художников-графиков. Здесь — впечатляющий диапазон работ: от карандашного наброска до станковых рисунков, многоплановых серий, плакатов, проникнутых искренней любовью к Родине, к людям труда. Правда, порой виртуозность формы, техническое совершенство достигаются за счет содержания, образности. Но не это определяет графику молодых художников России. В целом она богата, глубока, гражданственна.

В небольшом разделе декоративно-прикладного искусства (условия не позволили сделать его более представительным) также были интересные работы, отличающиеся мастерством и тонким вкусом. Среди них — керамика Т. Абкиной из г. Калинин, произведения художников Палеа и целый ряд других интересных и оригинальных работ.

Словом, встреча молодых художников России в залах Академии удалась. Она стала важной вехой их творческого пути.



Е. ВИНОКУРОВ (Уфа)

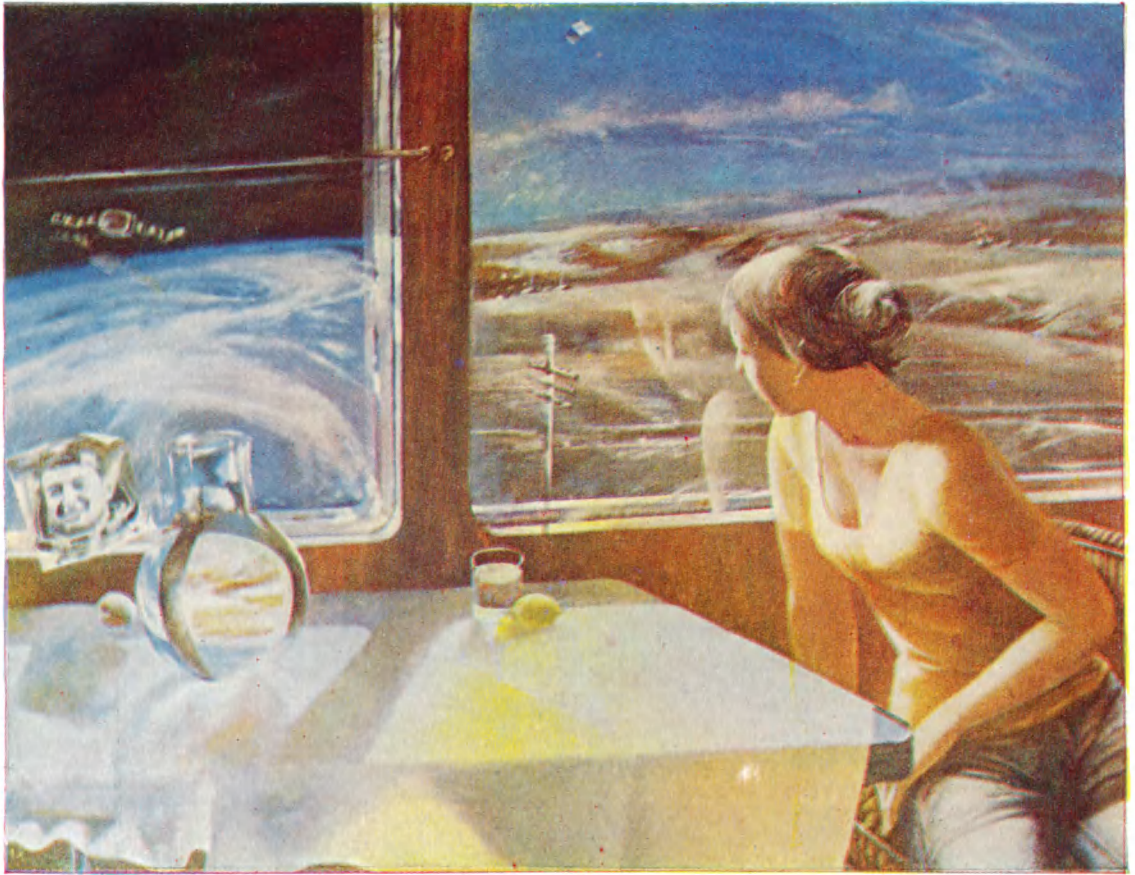
Встреча.

По залам выставки «Молодые художники России —
60-летию Ленинского комсомола».



А. КАЛАШНИКОВ (Свердловск).

А. П. Гайдар.



С. КРАСНОВ
(Москва).
Путешествие.



А. КОПОТИН
(Сыктывкар).
**Молодые
сплавщики.**



Е. КОРПЕЕВ
(Москва).
Тютюн.

Р

адио разнесло по всей стране радостную весть. Наши войска разгромили под Москвой отборные немецкие дивизии. И Гитлер, хваставшийся на весь мир, что в ноябре будет принимать парад на Красной площади в Москве, теперь, в декабре, справлял в Берлине траур по своим солдатам.

Репродуктор городской сети висел в моем кабинете. Сообщение Совинформбюро повторялось несколько раз. Но все столпившиеся у меня не переставали слушать. А когда в репродукторе зазвучала музыка, бросились поздравлять друг друга. Генералы, полковники, комиссары обнимались с капитанами и политруками, целовались с машинистками и секретаршами.

Да, это была Великая Победа. Наконец-то гитлеровская армия остановлена и отступает. Были там, под Москвой, и наши подразделения, сражались в этих боях и всевобучники.

Ф. НАСЕДКИН

ОЗАРЕНИЕ

РОМАН

Но до полного разгрома врага еще далеко, и требовалось немало сил. А эти силы надо было готовить, и готовить самым ускоренным образом.

Возвратившись из Средней Азии, я сделал доклад перед комсоставом управления. Покритиковал местные органы всевобуча, но не забыл и Главсевобуч. Особенно досталось отделу материального обеспечения за то, что оставил среднеазиатские организации без учебных пособий. Начальник этого отдела Мухин, командир кавалерийской бригады Первой Конной армии, пожилой, но на вид молодцеватый генерал с буденновскими усами, признался, что недооценил этот район.

— Думал, какие уж там резервы! — говорил он, выступая по докладу. — В гражданскую и то не могли справиться с какими-то басмачами. А что с тех пор прошло двадцать лет, об этом забыл. Каюсь и обещаю сделать для себя надлежащие выводы...

На этом же совещании была создана оперативная группа. Вошло в нее по одному сотруднику от каждого отдела. Во главе группы поставили начальника третьего отдела — полковника Бусяцкого. И он со своей группой на следующий день выехал в республики Средней Азии.

☆☆☆

Так шли дни, так вершились дела. И все было бы терпимо, если бы не положение Ани. Она все еще жила в гостинице. А гостиницу по-прежнему не отапливали. Зима же в этом году в Ташкенте выдалась на редкость суровой. И Аня с детьми не выезжала из теплой одежды.

А последнее письмо и совсем расстроило. Валерий заболел воспалением легких. Врач сказала: результат продолжительного пребывания в холоде. Я послал письмо Рахимову. Просил выполнить обещание и помочь семье. А жену в письме к ней призывал потерпеть еще немного.

Думал я забрать семью в Оренбург. Но для этого надо было ехать за ней. Одной Ане трудно совершить подобный переезд. Да и вряд ли можно везти в такую даль больного ребенка. А кроме того, в Оренбурге я занимал крохотную комнату. Жить вчетвером в ней было невыносимо. Найти же более подходящую уже было невозможно. В последнее время и в этот город прибыло много эвакуированных, и с жильем здесь стало также трудно.

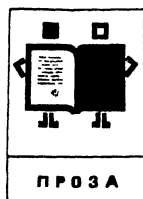
☆☆☆

Вскоре ЦК партии и правительство возвратились в Москву. Дела на фронтах улучшались, и прямой угрозы для столицы уже не существовало.

Вернулись в Москву некоторые наркоматы. Переехал ЦК комсомола. Получили разрешение на переезд и многие другие центральные организации, связанные с обороной.

Задумались над такой проблемой и мы с Прониным. Главсевобуч СССР был са-

Рисунки
Марины
ПИНКИСЕВИЧ.



Окончание Начало см. в № 9 за 1978 год.

мостоятельным учреждением. Все же ему приходилось работать в тесном контакте со многими другими организациями, уже находившимися в Москве. Поддерживать контакты на большом расстоянии было трудно, и мы решили попытаться счастья.

— Отправляйся сначала ты один,— сказал Пронин.— Тебе сподручней решить эту задачу. В крайнем случае можешь подключить ЦК комсомола. А мы с Блатовым будем потихоньку готовиться к отъезду. Конечно, без огласки, чтобы не будоражить людей. А то захнычут, если потерпим неудачу...

Решили сперва отправить Федосова. Новичков загрузил «эмку» нашими скудными вещами, раздобыл дополнительный паек для шофера. И он в добром настроении отчалил в далекое путешествие.

А через пять дней, рассчитавшись с хозяевами квартир и простившись с сослуживцами, самолетом вылетели в столицу и мы с Новичковым.



Москва выглядела суровой. На улицах возвышались горы снега. Его не убрали. Все так же бумажные ленты перекрещивали стекла в окнах домов. А над бульварами парили подвешенные на тросах аэростаты. На ночь они поднимались в небо и замирали там, мешая налетам вражеской авиации.

И все же в городе не чувствовалось прежней тревоги. Исчезли противотанковые «ежи». Женщины с детьми не спешили с вечера в метро, чтобы занять место на ночь. Бесперебойно работали магазины, отоваривая карточки. Даже открылись рестораны, где можно было по коммерческим ценам пообедать и поужинать.

Сначала я заехал на квартиру. Она оказалась в полном порядке. Только пыль покрывала все толстым слоем. Да воздух был такой тяжелый, что можно было задохнуться.

Из дома я позвонил в ЦК комсомола. Ни один телефон не ответил. Молчал и коммутатор. Значит, дом на Маросейке пустовал. Куда же все девались?

Позвонил в городской комитет комсомола. Сочным баском отозвался дежурный.

— А Цекамол у нас,— сказал он мне.— Живем и трудимся под одной крышей. А крыша эта все в том же Колпачном переулке.

— Что заставило вас объединиться?

— Бомба.

— Какая бомба?

— Фашистская. Которая упала возле Цекамола.

— Когда и как это произошло?

— Об этом лучше расскажет Романов. Он был в то время там. И на себе испытал, как все было...

Романова я нашел в небольшой комнате, служившей ему кабинетом. Мы потискали друг друга.

— Рад видеть тебя невредимым,— сказал я, оглядев его.— И здорово тебе пошло?

Романов смущенно отмахнулся.

— Да ерунда. Чуть стукнуло. Только и всего.

— Как же это случилось?

Романов подумал, словно припоминая.

— Ночью мы сидели в первом кабинете. Я перебрался туда из-за «ВЧ», чтобы не бегать каждый раз к этому телефону. И вдруг где-то рядом бабахнуло. В тот же миг меня сбросило со стула и ударило об стену.

— И здорово ударило?

— Да ерунда,— повторил Романов.— Упал и тут же вскочил. Плечо только болело. Да на голове шишка вздулась.

— А другие ребята?

— Тоже легко отделались...— И добавил, желая переменить разговор:— Сейчас там ремонт. Скоро закончится. И тогда мы вернемся...

Его вызвали в ЦК партии. Он еще раз стиснул меня и убежал. А я присел к столу, чтобы по вертушке позвонить начальству. Но не успел снять трубку, как в комнату ввалился Громов и воскликнул:

— А, комиссар! Прибыл? Очень хорошо!— Он сжал меня в коротких руках.— Вот и не пришлось нам драться за Москву. Без нас здорово управились.

— Питомцы наши дрались,— возразил я.— Десантники и всевобучники.

— Это верно. И дрались, как настоящие богатые. А все же...

Ему тоже не удалось остаться в Москве. Только штаб воздушнодесантных войск находился намного ближе к столице, чем Главсевобуч. К тому же в его распоряжении был служебный самолет. И он иногда прилетал в столицу.

Однажды ему пришлось прибыть в Москву по чрезвычайному делу.

— Это случилось во время боев под Москвой,— рассказывал он.— Получили мы приказ сбросить в тыл немцев десант. Посадили ребят в самолеты, и полетели наши соколы. И, когда оказались в тылу врага, посыпались в темную бездну из воздушных кораблей. Все ринулись выполнять боевое задание. Все, кроме одного. Растерялся один соколенок. Испугался и окаменел перед дверью самолета. Командир приказывает: прыгай! А он ни с места. Стоит, словно прикованный. Ну, как положено— военно-полевой суд и расстрел. За невыполнение приказа в боевой обстановке.

— Комсомолец?

— Комсомолец. Сын коммуниста и фронтовика. Из рабочей семьи. Сам рабочий. Хороший парень. А вот струсил.— И вздохнул.— Зашел я к нему перед расстрелом. Конечно, не исповедовать. Захотелось проститься. Думал, встретит мольбой со слезами. Нет! Вытянулся, руки по швам. Я сжал его плечи и усадил на стул, сам сел напротив. Смотрю в лицо. Строгое и спокойное. А глаза горят. «Может, просьба какая есть?»— спрашиваю. «Жалко умирать трусом,— говорит.— Разрешите умереть с пользой для Родины. Сбросьте на парашюте с взрывчаткой на какой-нибудь недоступный фашистский объект. Чтобы вместе с собой я взорвал и врагов. Об этом прошу.— И посмотрел на меня чистыми и ясными глазами.— Можете не сомневаться, задание выполню беспрекословно». На меня это так подействовало, что я приказал исполнению приговора задержать, а сам на самолете в Москву с докладом в ЦК партии. И доложил все, как было. Спрашиваю: что делать? А мне встречный вопрос: сам что предлагаешь? Ну, я сразу от всего сердца: жизнь сохранить, а вину загладить боевым подвигом. Ручаюсь партийным билетом. Мне говорят: согласны. Жизнь сохранить, проступок искупить подвигом.— И Громов весь засиял.— Я оттуда не вышел, а убежал. И шоферу: гони на аэродром! Гони во весь дух!

И тут Громов задумался.

— Что же было дальше?

— Дальше?— восторженно, и улыбка скользнула по его лицу.— Ну, дальше выстроили часть, привели его, поставили перед бойцами. Командир читает приговор, а он, осужденный, на меня смотрит жаркими глазами. Я тоже смотрю на него. А когда командир подает команду автоматчикам, останавливаю его. И читаю постановление военного совета.

Полное раскаяние, клятвенное обещание... Вину испробовать подвигом... Вот так!

— И что ж боец?

— Заплакал. Со слезами подошел ко мне и от- рапортовал: «Готов выполнить любое задание». — И убежденно заключил: — Война для всех нас — трудное испытание. И на мужество и на чув- ствность. — Громов встал, прошелся по комнате. — Ладно, я отбываю. Вечером встретимся. Будет бю- ро ЦК. Приезжай обязательно.

Не простившись, он вышел. А я подсел к вертуш- ке. Позвонил Андрееву. Доложить о всеобуче в Средней Азии. И попросить разрешение на возвра- щение Главсевобуча в Москву.

☆☆☆

Мы чуть не столкнулись у входа. Сразу я не уз- нал его. А он стоял передо мной и улыбался. И улыбка была знакомой. Но что касалось одеж- ды... Одет он был невообразимо. Потрепанная зеле- ная куртка, потертые галифе в клетку, огромные кирзовые сапоги и облезлый заячий треух. Я обра- дованно воскликнул:

— Валерий! Ты ли?

— Я, — подтвердил Шумов, продолжая улыба- ться. — Собственной персоной. Прошу любить и жа- ловать.

— Откуда ты, Валерий? — спросил я, когда мы поздоровались. — И куда топаешь?

— Скажи лучше, куда сам стопы направляешь? — в свою очередь, спросил Шумов. — Тогда решим, стоит ли запевать песню.

Я сказал, что иду в Наркомат обороны. Шумов вызвался проводить меня. И мы зашагали по улице. На ней было мало народу. Мороз хватал за уши, хлестал по щекам. С неба падали легкие пушистые снежинки.

— Ну, так откуда ты? — снова спросил я, сгорая от нетерпения: уж очень занятным представлялся он в таком виде. — И зачем тут?

Казалось, сейчас он снимет варежку, покрутит указательным пальцем у виска, как делал раньше, и скажет, почему похож на огородное пугало. Но он не сделал этого, а, помолчав, как-то странно вздох- нул и ответил, глядя перед собой:

— Я, брат, из окружения. — И, видя, что я не по- нял, пояснил: — В тылу у немцев был. Почти два месяца по лесам и болотам шел. Больше семисот километров ногами отмерил.

Теперь я смотрел на него с изумлением. Вспом- нилось его большое сердце. Как же оно выдержало? Но я не спросил об этом. Да и глупо было спрашивать. Раз он шел рядом со мной, оно про- должало тарыхтеть в его груди. А Шумов говорил медленно, точно думая вслух:

— Пришлось хлебнуть всего. Теперь и самому не верится, что это было. Невероятным кажется, что выжил.

— А как угодил в окружение?

Шумов помолчал некоторое время.

— Не успели выехать из Киева. А когда оказа- лись отрезанными, двинулись пешком. Первые дни шли группой. Больше всего было журналистов. Но постепенно группа редела. Некоторые оставались в лесах, желая присоединиться к партизанам. А неко- торые неизвестно куда исчезали. Шли мы на восток. Но немцы быстрее нас продвигались. А кроме то- го, приходилось идти ночью, а днем скрываться в лесах. — И с виноватой улыбкой глянул на меня. — Да об этом скоро не расскажешь. Понадобится, может, столько же дней, сколько выбирались от- туда.

Продолжая думать о его сердце, я спросил:

— А как ты себя чувствуешь?

Шумов нахмурился, видно, вспомнив трудные времена.

— Когда выходил из окружения, худо было. Си- лы совсем кончились. А надо было еще фронт пе- рейти. Даже не перейти, а переползти. Ночью по болотистой топи. Вот тогда было плохо. А сейчас уже ничего. Да я уже работаю, — добавил он. — В Куйбышеве. Редакция «Комсомольской правды» там ведь. А сюда приехал в командировку.

— И сколько пробудешь здесь?

— Пока и сам не знаю. Еще не был у руководите- ля московской части редакции. Может, даже в Моск- ве останусь.

— А где остановился?

— Еще нигде. Но думаю, поселюсь в редакции. Там сейчас много свободных комнат.

— А хочешь у меня? — предложил я. — Квартира пустая. И мне будет веселей.

— Спасибо! — сказал Шумов. — С удовольствием. Я достал ключи и протянул ему.

☆☆☆

Заседание бюро затнулось, и я приехал домой поздно. Переступив порог, не узнал квартиру. Она прямо-таки сверкала чистотой. Шумов вытер всю- ду пыль, на кухне вымыл пол и плитку. Даже сам испулся. В этот день была горячая вода, которую по-прежнему давали два раза в неделю, и он вос- пользовался этим. И теперь сам выглядел чистым, сияющим.

— Зачем же ты трудился? — спросил я, осмотрев комнаты. — Тебе же вредно так работать. Сердце же...

Он весело рассмеялся. Но тут же оборвал смех и сказал:

— Сердце мое выдержало не такую работу. При- ходилось делать то, что и силачу не под силу... — Лицо его посуровело, взгляды потемнели.

Чтобы отвлечь его от этих мыслей, я спросил:

— А как с партбилетом? Ты вынес его?

— Да, — с гордостью ответил Шумов. — Я вынес его из окружения...

— Где же ты хранил его?

— В потайном кармане на нижней рубашке. Как раз напротив сердца.

☆☆☆

Вечером в ЦК комсомола мы с Ольгой Сысоевой только что закончили беседу с группой комсомоль- цев, отобранных для военной разведки. Все они в совершенстве знали немецкий язык.

Говорили с каждым в отдельности. Не скрывали трудностей и опасностей. Заверяли, что не упрек- нем, даже не проговоримся, если кто из-за боязни откажется. Но никто не отказался. Все готовы были выполнить любое задание, будь оно даже самым трудным и опасным.

Отпустив Ольгу, я раскрыл папку с материала- ми бюро ЦК. До заседания оставалось два дня, а мне не удалось просмотреть и половины бумаг.

Телефонный звонок прервал работу. На проводе был Ташкент, а у аппарата — Рахимов. Он никогда не звонил мне. По домашнему телефону трудно было соединиться. Значит, звонил из ЦК партии. И, стало быть, по серьезному поводу...

Но я отогнал тревожные мысли и дружески отве- тил на его приветствие. А так как он вдруг замол- чал, словно потеряв дар речи, спросил:

— Как дела?

— Дела? — повторил Рахимов. — Какие дела?
— Обыкновенные, — сказал я. — Комсомольские.
— Ах, комсомольские! — воскликнул Рахимов и торопливо ответил: — Комсомольские — ничего. Идут, как надо. Работаем, соревнуемся. Все делаем для победы.

И опять умолк. Тогда я напрямик спросил:
— А ты что звонишь? Что хочешь сказать?
Рахимов не то вздохнул, не то дунул в трубку.
— Я звоню вот что. Жена твоя Аня — ничего. Володя, старший сын, тоже ничего. А вот младший, Валерий... Младший сыночек твой умер. Вот такое дело, — с горечью добавил он. — Жена твоя Аня просила позвонить. Сама хотела послать телеграмму, но побоялась: не получишь вовремя. А похороны послезавтра во второй половине дня. Она очень хочет, чтобы ты прилетел на похороны. Вот я и звоню. Звоню с этим... как это... с прискорбием. Прими от души и сердца.

И замолчал. Либо положил трубку, либо связь прервалась. А я продолжал сидеть как оглушенный. Что это? Почудилось? Нет, это он, Рахимов. Я хорошо слышал его голос.

Я положил трубку и встал. Комок подкатил к горлу. Дышать стало трудно. И я выбежал из комнаты. Над Москвой стояло высокое небо, усыпанное звездами. Местами его закрывали аэролаты. Они казались темными заплатками на серебристом небе-воде.

Я шел по улице и думал о Валерии. Его уже не было в живых. Он умер — и все. Нет в живых и не будет. И умрет все, что связано с ним. Только в памяти останется. Я видел его живого, ласкового имышленого. Его темные, будто угольки, глаза, вздернутый носик, округлый подбородок с ямочкой, яркие, как бантики, губы, задорный светлый вихор. И голос его словно слышал. Особенно, как пел он любимые песни. А какие это были песни! Да вот же самая любимая:

**Так-так-так, — говорит пулеметчик.
Так-так-так, — говорит пулемет...**

Но почему же Аня не писала? Нет, неправда, она писала. И я знал все. Они прожили в холодной гостинице два месяца. Всю ташкентскую зиму, которая, как никогда, была суровой. Валерий дважды болел воспалением легких. А потом началось мозговое воспаление. Но Рахимов ничего не делал. Даже не показывался в гостинице. И спохватился, когда врач, лечившая Валерия, сама явилась к нему. Она сказала, что ребенок в опасности и что если не будет переведен в теплое помещение, случится несчастье. Только после этого Аню с детьми повезли куда-то на окраину. С помощью шофера она поднялась на третий этаж. Дверь открыла старуха. Увидев Аню с ребятами, она тут же закрыла дверь. Потом показала молодая женщина. Она сказала, что принять не могут, и дверь опять захлопнулась. Обессиленная Аня с Валерием на руках присела на ступеньку и заплакала. А шофер, не сказав ни слова, бросился вниз. Слышно было, как с ревом рванулась его машина. Нет, он не сбежал, чтобы не видеть постыдную картину. Он привез Рахимова и представителя горсовета. Они предупредили хозяев квартиры, что те серьезно рискуют, отказывая женщине с детьми в жилье. Только после этого Аню впустили в теплую комнату. И Аня впервые за два месяца раздела Валерия. А он уже не вставал. Нет, он не плакал. И не жаловался. Он только с мольбой смотрел на мать. И взглядом молил о жизни. А его убивала болезнь. Страшная, смертельная, порожденная равнодушием.

«Ах, Рахимов, Рахимов! Зачем же ты обещал, если не мог выполнить обещание? Ведь я бы обошелся и без тебя. Разве мало эвакуированных приютил Ташкент? Приютил бы он и мою семью. Она же не меньше других имела право на чуткость. Зачем же ты вмешался? Ведь я не просил тебя! Ты же сам вызвался помочь. И случилось страшное горе...»

Становилось холодно. Начинался март. Но весна еще не чувствовалась. А в эту ночь морозило, как в январе. И, как в январе, скрипел снег под ногами. Я обнаружил, что вышел раздетым, без шапки, и замедлил шаги. Это был какой-то глухой переулочек. Куда же я зашел? И спросить не у кого. Все живое спряталось, замерло. А может, прятались люди в своих квартирах от безутешного горя? Война каждый день уносила сотни жизней. И Валерия убила война.

Послезавтра похороны. Я быстро пошел обратно. Покорей бы выйти на Маросейку. Послезавтра. Значит, завтра надо вылететь, чтобы успеть проститься с ним. Завтра вылететь. Ни днем позже. Иначе не успеть.

Переулок вывел в проезд Серова, куда главным входом смотрел комсомольский дом. Я ускорил шаг. Узнать, когда будет самолет на Ташкент. А если его не будет? Они ж летают нерегулярно, гражданские самолеты, и без всякого расписания. А поездом — больше недели. За такое время и могилка зарастет травой.

Лифт оказался внизу. Я поднялся на четвертый этаж и позвонил в агентство Гражданского воздушного флота. Дежурная сказала, что на Ташкент намечается рейс через три дня.

— Мне надо завтра туда! — прокричал я сорвавшимся голосом. — У меня там сын умер! Послезавтра похороны! И я должен успеть!

— Сочувствую, — сказала дежурная. — Но помочь не могу. Завтра на Ташкент самолета не будет. Только через три дня...

Я положил трубку, не дослушав, и ощутил, как отчаяние овладевает мной. Значит, даже не попаду на похороны и не увижу его в последний раз.

☆☆☆

Теперь я и совсем погрузился в работу. Чуть ли не первым являлся в Главсевобуч, кропотливо разбирался с почтой, читал и подписывал приказы. принимал сотрудников с предложениями и просьбами, помогал парторганизации, обсуждал с редактором планы газеты. А вечером уезжал в дом на Маросейке

Аня писала часто. Она все еще горевала по младшему сыну и всю себя отдавала старшему. Но на судьбу уже не жаловалась. Причиной нашего горя была война. А она никого не щадила, ни старых, ни малых. И во время такого лихолетья, какими бы тяжкими ни были несчастья, нельзя падать духом.

☆☆☆

Прилетели из партизанского края Иван Муромцев, Жанна Огнева и Наташа, с которой я познакомился по дороге из Брянска в Орел. Вместе с другими партизанами их вызвали на Большую землю: Жанну за подрыв вражеских эшелонов с вооружением и боеприпасами наградили орденом Красного Знамени, а Муромцева за руководство отрядом — орденом Отечественной войны I степени, Наташу же. партизанскую разведчицу. — медалью «За отвагу».

Об этом они рассказывали, зайдя ко мне, как старому знакомому. Выглядели они веселыми и радостными, словно явились не оттуда, где каждую ми-

нута их окружала опасность, а из далеких от войны мест, где можно было заниматься счастливыми, мирными делами.

Впрочем, Наташу, которая назвалась Ласточкиной, трудно было узнать. Она повзрослела, возмужала. На щеке у нее уже не было красного галстука. Недавно ей исполнилось четырнадцать, и ее приняли в комсомол.

В отряд Муромцева, когда он оказался в тылу у немцев, мы отправили транспортный самолет. Он доставил туда все, что они просили, когда я был у них. Тем же самолетом послали к партизанам группу комсомольцев, вооруженных автоматами.

За все это Муромцев тогда же по радио передал благодарность. Теперь они снова поблагодарили за помощь и положили передо мной новый перечень оружия, боеприпасов и разных вещей, в которых нуждался отряд.

Я позвонил Сысоевой.

— Обсудите вместе, что им нужно,— наказывал я.— Если не все найдется, что требуется, дошлем позже.

Муромцев и Огневая тут же отправились в спецотдел. А Наташу я задержал, усадил в кресло и сказал:

— С тобой надо поговорить, Наташа! Но сперва скажи: чаю хочешь? С конфетами. И не с простыми, а с хорошими.

Наташа глотнула слюнки, но все же мотнула головой.

— Да нет, не надо. Я к конфетам непривычная.

Я попросил Новичкова заказать в буфете чай с конфетами и, когда он вышел, спросил Наташу.

— Как же ты попала в отряд?

Она сузила глаза и, в свою очередь, спросила:

— А почему вы тогда обманули меня?

— Как — обманул? — не понял я — В чем именно?

— Вы же знали, где были партизаны,— сказала Наташа.— Сами же ехали к ним. А мне сказали, что ничего не знаете. Зачем же так?

В голосе ее звучала обида. Мне стало неловко, будто я совершил что-то дурное. Все же я не стал оправдываться и серьезно ответил:

— Не имел права говорить правду. Тайна принадлежала не мне. А кроме того, боялся, что попорюсь с нами.

— Обязательно попорчилась бы,— сказала Наташа.— На колених бы умоляла.

— Вот видишь! — сказал я — А мы не могли взять тебя, если бы даже стала на колени. Не знали, нужна ты им или нет. Так что извини, пожалуйста! Наташа подумала и улыбнулась.

— Я понимаю,— сказала она — Все понимаю. А потому извиняю и благодарю.

Буфетчица принесла чай, сахар, конфеты. Наташа пила не спеша, аккуратно, спокойно. Но по румянцу, проступившему на щеках, видно было, что наслаждение такое ей приходилось испытывать не часто.

Когда мы выпили чай, я спросил:

— За что же ты поблагодарила меня?

Наташа бережно сложила красочные бумажки от конфет и сунула в карман кофточки.

— За отряд,— ответила она — Это ж вы помогли мне попасть к партизанам.

Глаза мои раскрылись от удивления.

— Каким образом?

— Вы же рассказали Жанне обо мне,— пояснила Наташа.— Назвали село, приметы дома. Она и нашла меня, когда фашисты заняли эти места. Напомнила о вас, и я подтвердила, что хочу в партизаны.

— И она взяла тебя с собой?

— Не сразу. Сначала мы с ней одно дело сделали.

И рассказала об этом деле. Жанна узнала от своего человека на станции, когда точно пройдет немецкий эшелон с вооружением. Этот участок состав должен был миновать перед вечером. Жанна и Наташа на закате вышли из села. Лесом вдоль железной дороги прошли несколько километров и остановились в кустах, подступавших к железнодорожному полотну. Жанна на некоторое время отлучилась куда-то, а вернувшись, сказала:

— Слушай меня, Наташа! Здесь ходит патруль. Два немца с автоматами. Ты выйдешь к ним и, когда спросят, кто ты и что тебе надо, скажешь что беженка и что хочешь есть. Один из них потащит тебя в кусты. Понимаешь? Сначала ты не сопротивляйся. Но потом отбивайся и кричи. Я буду рядом и подоспею. Я думаю, будет так.— И посмотрела в глаза девочки.— Боишься?

— Боюсь,— призналась Наташа.— Но пойду. И сделаю, как ты велишь.

И сделала все так. Вышла из кустов и пошла к немцам. Они остановились и настороженно уставились на нее, держа автоматы наготове.

А когда она подошла, долговязый и лупастый спросил, с трудом произнося русские слова:

— Кто такой? Зашем шляешь?

— Беженка,— ответила Наташа.— Есть хочу.

— Што есть «есть»? — переспросил долговязый.

— Хлеб,— сказала Наташа.— Хочу хлеба. Голодная.

— А, хлеп! — воскликнул автоматчик и окинул ее жадным взглядом.— Хлеп можно. Мой есть хлеп.

И что-то сказал другому автоматчику. Тот оглядел Наташу, скабрёзно ухмыльнулся и согласно кивнул. Долговязый взял Наташу за руку и повел в кусты.

— Пошел там,— продолжал он.— Мой есть хлеп. Путем кормить.

Он завел Наташу в глубь кустов и повалил на землю. Наташа стала отбиваться и кричать. Находясь вблизи, Жанна подкралась к ним и выстрелила из пистолета в голову фашиста. Схватив его автомат, она притаилась у края куста и в упор расстреляла бежавшего на выстрел другого автоматчика.

После этого Жанна уложила на дорогу мину, и они, захватив автоматы, отошли в лес. Там подождали, когда появился поезд. А как только он на полном ходу взорвался, Жанна сказала:

— Теперь пойдем в отряд, Наташа! Ты уже партизанка...

Вернулись Муромцев и Огневая. Сысоева лишь незначительно сократила список и поставила под ним свою подпись, что служило гарантией его выполнения.

☆☆☆

Неожиданно и при загадочных обстоятельствах пассажирский самолет воздушнодесантных войск потерпел катастрофу. В самолете была группа старших командиров этих войск во главе с членом Военного совета Грозовым.

Погибли все, командиры и летчики. Сгорели вместе с самолетом. А Грозова выбросила какая-то сила. Выбросила далеко, словно опасаясь, как бы огонь не достал его.

Полдня он пролежал без сознания у проселочной дороги, пока не подобрали случайно проезжавшие колхозники. Они доставили его в местную больницу. Там раненого привели в чувство и обнаружили пе-

реломы рук и ног. Для лечения такой травмы в этой больнице не было условий, и Громова переправили в саратовскую городскую больницу. Здесь руки и ноги его замуровали в гипс, а самого подвесили на блоки.

И он надолго погрузился в тяжкую неподвижность.

Мы были потрясены катастрофой. Жалко командиров и летчиков. Тяжело надолго расставаться с Грозовым. Врачи заявили, что раньше чем через полгода не поднимут его с постели. А что будет с ним, когда поднимут? Не останется ли на всю жизнь инвалидом?

Поправлялся он медленно. Почти точно по графику, установленному врачами. Мы писали ему письма, не скупившись на добрые слова, призывали не думать о делах, которые шли как надо, а сами холодели от мысли, что дни и ночи переносит он нестерпимые боли. И всем сердцем желали, чтобы время двигалось быстрее и чтобы скорей он снялся с блоков и стал ногами на землю.

☆☆☆

Наступила осень. Погода резко ухудшилась. Часто сыпал мелкий дождь, порывами налетал ветер. Тучи так низко спускались, что чуть не задевали кремлевские башни. Москва-река покрывалась холодной рябью и казалась хмурой.

Хмурились и сами москвичи, становившиеся угрюмыми. Война затягивалась. Ежедневно она губила множество людей и причиняла семьям непереносимые страдания. Ничего хорошо не сулила и надвигавшаяся зима. Предстояло снова жить в холодных квартирах и мерзнуть в очередях за скудными продуктами.

В один из таких дней позвонили из Госкомитета Обороны, передали приказ забрать в артиллерийском управлении кем-то изобретенный миномет-лопату и немедленно начать готовить для него минометчиков. Из артуправления Пронину ответили, что оружие такое имеется и что приказ о передаче его в Главсевобуч также получен.

На вопрос Пронина, что это за штука, артиллерист сказал:

— Штука простая и удобная. Пустотелая ручка лопаты выполняет функции ствола миномета. В наступлении и обороне боец таким минометом выкапывает укрытие и ведет огонь. Одним словом, соединение боевого оружия с шанцевым инструментом...

Пронин, положив трубку, заметил:

— Любопытно! Лопата стреляет. Первый раз слышу такое.— И обратился к сидевшим у него генералу Кольцову и полковнику Бусяцкому: — Что скажете, товарищи?

Кольцов и Бусяцкий переглянулись, словно спрашивая, кому первому отвечать.

— Война совершенствует технику,— сказал Кольцов.— В большом и малом. А что мы не слыхали о стреляющей лопате, ничего удивительного. Мы хоть и работаем для фронта, все же непосредственно не связаны с ним. А потому и не в курсе всего, что там делается.

А Бусяцкий практически подошел к делу.

— Давайте сначала посмотрим на эту лопату,— предложил он.— Сами изучим ее. А потом начнем и бойцов готовить...

☆☆☆

Два дня я мотался по Москве. Заезжал в райвоенкоматы и райкомы комсомола, договаривался с ними. Потом с их представителями отправлялся на предприятия и там с помощью руководителей этих

предприятий комплектовал подразделения. Конечно, я рассказывал о чудо-миномете всем, с кем встречался, и все с живостью воспринимали новинку, возгораясь неуместной мыслью военных изобретателей. И безоговорочно шли навстречу, видя в новом оружии чуть ли не залог скорой победы над врагом.

В моей полевой сумке теперь уже лежало несколько списков призывников, которых горвоенкомат по нашему представлению должен разбронировать и призвать в армию. Это были молодые рабочие, комсомольцы. Скоро они возьмутся за учебу, а потом с грозным оружием вольются в воинские части и повысят их ударную силу.

За два дня я порядком намерзся. В тонкой шинели и гимнастерке я чувствовал себя чуть ли не раздетым. Вот и пускались зубы в пляс. А на нос не хватало в день и полдюжины платков.

В этот вечер я покончил с делами раньше, чем в предыдущий. Надо было заехать в управление и посмотреть, как там идут дела. Но я не устоял перед соблазном побывать дома. Может, есть письмо от Ани? Уже неделя, как от нее ничего не было. И это начинало тревожить. Не случилось ли еще чего?

Предложив Федосову ждать у подъезда, я поднялся на третий этаж. Почтовый ящик был пуст. Почему же молчала Аня? Или письма застревали где-то? А может, мои не получила и решила, что меня нет в Москве? Скоро ли настанет день, когда она и Володя вернутся домой? Какой это будет счастливый день для нас!..

В квартире было тепло. Хотелось сбросить сапоги, сунуть ноги в домашние тапочки, выбрать в шкафу интересную книгу и читать. Читать запоем, следить за удивительными похождениями героев, переживать их успехи и неудачи. Но времени на книги не было. Все поглощала работа. Даже на сон приходилось меньше, чем положено.

Подавив желание побыть еще хоть немного дома, я надел тяжелую от сырости шинель и, закрыв квартиру, сбежал вниз. Федосов, дремавший за рулем, встрепенулся и, помотав головой, разгоняя сонливость, запустил мотор.

Мы поехали в управление. Два дня я не был там. Даже не звонил по телефону. Неоткуда было. Нет, телефоны всюду стояли. Но вокруг толпились и люди. А на глазах у посторонних нельзя было распространяться о военных делах.

Москва уже куталась в темноту. Но я надеялся застать Пронина у себя. И не ошибся. Он ходил по кабинету и говорил что-то Бусяцкому, стоявшему у окна. Меня встретил упрямом:

— Ты куда ж это запропал, комиссар?

— А что-нибудь случилось?

— Миномет-лопата не годится,— сказал Пронин.— Досужая и неуклюжая выдумка.

Я присел к столу.

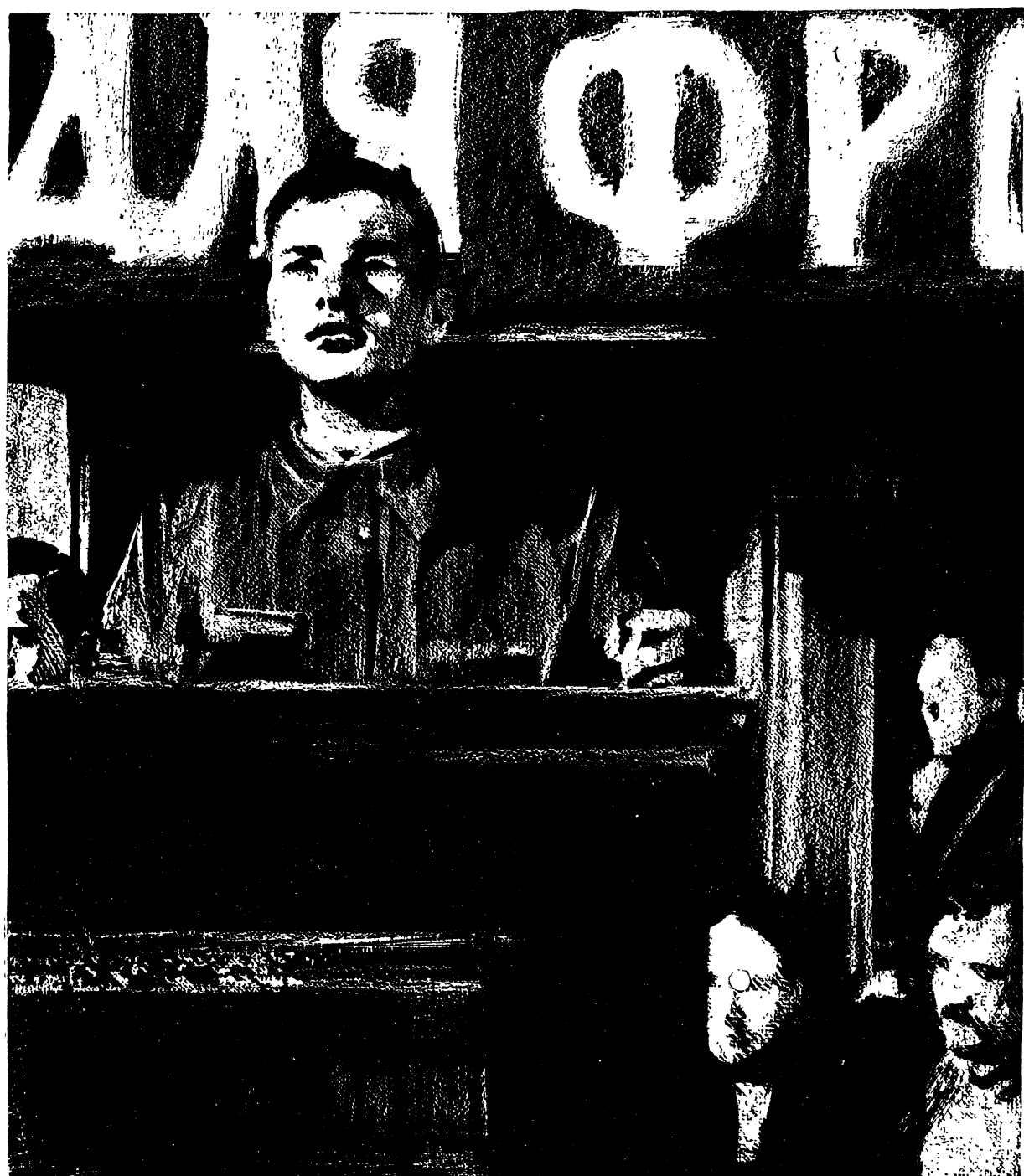
— Почему не годится?

— А вот спроси у полковника,— показал Пронин на Бусяцкого.— Он оформлял передачу их нам и ознакомился. Сам я еще не видел его, этот миномет. Но если все так, как рассказывает полковник, в чем я не сомневаюсь, то следует серьезно подумать, прежде чем действовать.

И предложил Бусяцкому повторить все. Тот рассказал, как устроен миномет, как действует и каковы его боевые качества. И под конец уверенно заключил:

— Оружие для индивидуального пользования непригодно. Ни в наступлении, ни в обороне. К тому же это мини-миномет с весьма ограниченной площадью поражения.

Я прервал его:



— Обо всем этом наверняка известно тем, кто решал принять его на вооружение. А до решения он, безусловно, проходил проверку и, может, в боевой обстановке на фронте. Так что мы с вами, если вздумаем возражать против него, должны подвергнуть сомнениям не только сам миномет, а и всю предварительную работу по внедрению его в армию.

— Нет! — возразил Пронин. — Мы должны иначе подойти к делу. Нам дают оружие и предлагают готовить для него бойцов. Мы устанавливаем, что оружие это непригодно для вооружения. Это обязывает нас, выполняя приказ, сказать свое мнение без оглядки на прошлое, каким бы оно ни было. За то, что миномет этот приведет к неоправданным жертвам, будем отвечать мы, а не кто-то другой.

Мне трудно было спорить. Я не видел этого миномета. И мало разбирался в них вообще. Поэтому я, не возразив, спросил:

— И что же вы предлагаете?

— Мы должны проверить его, — сказал Пронин. — Самым придирчивым образом. И непременно в боевых условиях.

— Как вы собираетесь это сделать?

— Надо подумать, — сказал Пронин. — Вот получим его, ознакомимся с ним и тогда решим.

Бусяцкий был такого же мнения.

— Только никто не должен знать об этом, — предупредил я. — Всем известно, чье это задание. И наша проверка может быть расценена как недоверие.

Условие это было принято, и мы решили на следующий же день самым доскональным образом изучить новое оружие.

☆☆☆

Особая команда была сформирована из рабочих-комсомольцев. По нашему списку горвоенкомат призвал их на военную службу. Перед тем, как отправить такую команду на фронт, мы с Прониным решили, что возглавит ее полковник Бусяцкий. И что следует поехать еще кому-либо из нас. Не исключено было, что о результате этой проверки миномета придется докладывать в самом Госкомитете Обороны. А с докладом туда могут вызвать нас самих, решившихся на дополнительную проверку уже проверенного оружия. Тогда легче будет защищать результаты, опираясь на собственный, а не чужой опыт.

После недолгих размышлений пришли к выводу, что лучше всего мне отправиться в такую поездку. А я, как назло, чувствовал себя очень плохо. Страшно болела голова, всего обдавало то жаром, то холодом.

Погода ухудшалась. Лил дождь вперемежку со снегом. Ветер порой чуть не валил с ног. Видимо, я серьезно простудился. А это было опасно для меня. Врачи предупреждали, чтобы я остерегался простуды.

Но думать об этом некогда было. Приходилось ездить за город на учения с целой кипой носовых платков и коробкой стрептоцида, который я глотал чуть ли не ежечасно. Было уже ясно, что оружие непригодно для вооружения бойца. Но чтобы доказать это, надо было овладеть им в совершенстве. И я в роли бойца испытывал миномет в различных боевых ситуациях, и ни в одной из них он не выдержал испытаний.

...Выехали рано. Дождь не переставал ни на минуту. Рваные тучи низко двигались над землей.

Утром я еле встал. Дико болела голова, противно ныли кости. Шумов озабоченно посмотрел на меня и сказал:

— Ты скверно выглядишь. Может, тебе лучше не ехать?

Я притворно рассмеялся.

— Пустяки! Крошечная простуда. Только всего. А не ехать нельзя. Боевое задание. — И дружески сжал его плечи. — Не беспокойся. Все будет в порядке. На фронте хвороба испугается и улетучится. Вернусь без насморка. А ты тут трудись и дома хозяйничай...

Мы с Бусяцким ехали впереди. За рулем сидел Федосов. Он фыркал, ругался. «Дворники» не успевали очищать стекло. И дорога едва проступала за водяной кисеей.

За нами следовали два зеленых грузовика, оборудованные для перевозки бойцов. В кузовах на скамейках жались друг к другу минометчики. Они были в новеньких шинелях и кирзовых сапогах. На голове у каждого — металлическая каска. Вооружены ребята были минометами-лопатами. Минометчики добросовестно изучили новое оружие и верили в его грозную силу. А о наших сомнениях даже не подозревали. Мы не делились ими не только с бойцами, а и с преподавателями. И никто, кроме нас, не знал о назначении этой особой команды.

Ехали медленно. Навстречу ежеминутно проносились военные тяжеловозы. Они неожиданно возникали из снежного дождя, и Федосов еле успевал давать дорогу.

Но нас с Бусяцким это не занимало. Сидя позади, мы говорили о войне. Впрочем, говорил больше Бусяцкий. Он был кадровым военным и хорошо разбирался в военном деле. Убежден был, что наши готовят немцам западню.

— Либо отрежут кавказскую группировку, — рассуждал он, — либо в «котел» угодят войска, рвущиеся к Волге. И это будет такое поражение, от которого фашисты уже не оправятся...

Бусяцкому было за пятьдесят. Виски его блестели седой, большой лоб пересекали морщины. Но выправкой он не уступал молодому. Говорил неторопливо, мысли выражал четко и смело. Высказывал свое мнение. Так было и с минометом-лопатой. Он знал, что это приказ высшего командования и не побоялся выступить против этого оружия.

Я чувствовал себя скверно. Жар сменялся ознобом, продолжала болеть голова. А ломота в костях становилась нестерпимой. Теперь же лежать в постели и ни о чем не думать. Но нет! Надо было ехать в холод и сыкоть. Мало того, предстояло мокнуть под дождем и, может, ползать по грязи.

«Не хныкать! — приказывал я себе. — Не время нежиться в постели! Выполнить боевую задачу! Об этом надо думать. И ни о чем больше...»

Вехали в какой-то поселок. Федосов остановился, вынул на обочину. Бусяцкий вылез из машины и направился к регулировщице, стоявшей на перекрестке в дождевике. Она вытянулась перед ним и стала что-то объяснять, показывая разрисованной палкой в сторону. Бусяцкий откозырнул и вернулся в машину.

— В переулок. За поселком в двух километрах будет съезд направо, — сказал он Федосову.

Федосов закрутил так, что повел машину вблизи регулировщицы. И, поравнявшись с ней, протянул руку, чтобы тронуть ее. Не оглянувшись, она наотмашь ударила его палкой по руке. Ойкнув, Федосов шумно подул на пальцы и проворчал:

— Скажите, какая недотрога!

Мы рассмеялись.

— Она ж на работе, — пожурил я его. — А ты лапять.

— Я не лапять, — сказал Федосов, разгоняя ма-

шину.— Я погладить хотел. Значит, поблагодарить. А она уж и драться..

«Эмка» поползла по укатанной щебенке, часто ныряя в колдобины с водой. Вдали сквозь водяную завесу проступил лес.

☆☆☆

Ночью дождь перестал, а на рассвете даже подморозило. Но в окопе было сыро и гулял промозглый сквозняк. В штабе полка нам выдали маскировочные плащи. Они предохраняли и от дождя. Сменили мы на металлические каски и свои шапки. В таком виде ничем не отличались от бойцов, заполнивших окоп.

По приказу командира батальона команду нашу рассредоточили в первой роте. Я занял место между двумя минометчиками. Они полулежали на бруствере и смотрели вперед. В руках у меня тоже был миномет-лопата, висела на боку и сумка с минами.

Бусяцкий устроился недалеко. Также с минометом он стоял возле наших бойцов и что-то рассказывал. Должно быть, еще раз повторял, как действовать минометом.

А я лежал молча. Боль сверлила голову, по телу волнами прокатывался озноб. Ночь я почти не спал. В землянке было душно, воздух казался густым и клейким. А Бусяцкий лежал рядом и храпел. Я завидовал ему и в то же время досадовал. Он мешал и спать и думать.

Впрочем, спать мешал не только Бусяцкий. Это была землянка батальонного командного пункта и всю ночь в ней продолжалась работа. Входили и выходили дежурные, связные, слышались рапорты и приказы, беспрерывно жужжал телефон, и телефонист кричал в трубку, то отвечая кому-то, то вызывая кого-то. Чтобы спать в такой обстановке, надо было привыкнуть к ней. Когда же привык Бусяцкий?

Внезапная мысль обожгла мозг. А если меня убьют? Я же буду наступать вместе с бойцами. Может, даже впереди них. Если вражеская пуля сразит меня? Вспомнилась Аня. Как будет жить с малым сыном? Но тревога недолго сжимала сердце. Аню не оставят без помощи. А она станет гордиться мужем, погибшим в бою.

А может, все же я зря лезу в пекло? Советовал же вчера командир полка сидеть в укрытии и наблюдать за боем в бинокль. Я отказался и заявил, что пойду вместе с бойцами. Бусяцкий последовал моему примеру. Командир полка не стал увещевать нас. Только неопределенно пожал плечами, как бы говоря: «Смотрите, не пришлось бы раскаиваться, что не послушались...» Может, сейчас послушаться и сменить миномет на бинокль?

Уже совсем развиднелось. Впереди обозначилась возвышенность. Она тянулась вдоль фронта. Бойцы прозвали ее заколдованной и поносили самыми нелестными словами. Немцы превратили высоту в неприступную крепость. Дважды полк пытался взять ее штурмом и оба раза откатывался назад. Сегодня предстоял третий штурм. В нем будут участвовать и наши минометчики. А среди них и мы с Бусяцким. Чем-то он кончится этот новый приступ?

Внезапно все вокруг содрогнулось от мощного грохота. Это позади окопов ударили наши крупнокалиберные орудия. В тот же миг над головами со свистом пронеслись, точно загадочные птицы, невидимые снаряды. А еще через мгновение над высотой взметнулась черная земля.

— Перелет! — с сожалением воскликнул мой со-

сед, веснушчатый и сероглазый минометчик.— Чуток бы ближе. И тогда б в самый загравок.

За первым залпом последовал второй. Немцы ответили таким же артиллерийским шквалом. Их снаряды провалились над нашими головами и вздыбили землю где-то позади нас. Также перелет. Но сероглазый минометчик молчал. И, наверно, радовался этому перелету?

В грохоте и шуме трудно было думать и соображать. Прижимаясь к земле, мы лежали на окопном скате, крепко держа в руках минометы. И воспаленными глазами смотрели вперед. А кругом грохотало, гудело, бухало. Вздыхалась земля, содрогался воздух. Но еще не было самолетов и танков. А когда появятся те и другие, не только земле, но и небу станет жарко.

И они появились. Сначала бомбардировщики с ревом вылетели из-за деревьев. За ними истребители. А навстречу им — вражеские «мессершмитты». И над нейтральной полосой завязалась яростная схватка. Истребители налетали друг на друга, поливая свинцом один другого, разлетались, чуть ли не столкнувшись грудью, и снова с ревом бросались в бой. Некоторые неожиданно устремлялись вниз, оставляя в воздухе столбы черного дыма. А прикоснувшись к земле, взрывались, как могучие снаряды, выбивая в ней глубокие раны. Но бомбардировщики, прикрытые истребителями, достигали цели, и на горбатую поверхность сыпались бомбы, поднимая в воздух все, что таилось в ней.

«Как в пятидесятой», — думал я, вспоминая Брянский фронт. — Сейчас наша артиллерия перенесет огонь в глубь обороны противника. И тогда поднимемся мы, бойцы.»

Я лежал и ждал. Лежали и ждали бойцы. А кругом ревели, грохотало, бухало. В воздухе визжали и выли снаряды, противно свистели осколки и пули. То там, то сям сползали на дно окопа красноармейцы. Санитары подхватывали их и уносили куда-то. А оставшиеся тесней смыкались ряды.

И вот она, эта минута. Огненный вал на той стороне вдруг переваливается еще дальше. Туда же устремляются и бомбардировщики со своим смертоносным грузом. Я невольно весь подобрался, готовясь к прыжку из окопа. Но команды нет. Что же еще? Почему задерживается атака? Ах, танки! Их не было в пятидесятой. А тут появились. Вы ползли откуда-то, будто из-под земли, и тяжело двинулись к высоте, громыхая и пязгая. И тогда над окопом раздалось.

— В ата-ку! За Ро-ди-ну! Уррра!

В ответ из множества глоток вырвался яростный и многоголосый крик.

— ..та-ку!.. ди-ну!.. ррра!

Из окопа выскакивают бойцы с автоматами. Я тоже выскакиваю. За мной выпрыгивают и оные москвичи, наши минометчики. Держа в руках миномет-лопаты, мы бежим вперед и кричим, как все, одно звучно и душераздирающе:

— ..ррра!.. ррра!.. ррра!

Бежим во весь дух, кричим во все горло. А впереди движутся танки. Башни их медленно поворачиваются то в одну, то в другую сторону. На высоту летят пушечные снаряды, огненным дождем поливают ее пулеметы. Но с высоты тоже стреляют. Ухают противотанковые пушки, стрекочут пулеметы и автоматы. Вот танк вдруг остановился, словно споткнувшись, и завертелся на одном месте. Бледные языки пламени поползли по его стальной броне. Из люка один за другим выпрыгивают танкисты и, пригнувшись, бегут назад.

А мы продолжаем нестись вперед. Останавливает нас новая команда:

— Ло-жи-ис!

Я падаю на землю и вспоминаю, что в руках у меня не только оружие, а и лопата. И лежа начинаю копать. Стараюсь изо всех сил. Ничего не получается. Земля проросла крепкими корнями. Лопату в нее можно вогнать только ногой. Но для этого надо встать. А как встать, если голову поднять страшно? Над ней, как ядовитые пчелы, пискают пули.

Бросаю взгляд на соседнего минометчика. Он тоже ковыряет землю лопатой. У него, кажется, что-то выходит. Либо земля податливей, либо сил больше?

Я удваиваю усилие. Озноба и след простыл. Всего обдаёт жаром, а глаза заливают пот. Скоро ямка будет готова. Она сровняет меня с землей и сделает неуязвимым для вражеских пуль и осколков. Но команда прерывает работу. Снова раздаётся тот же зычный голос:

— Впе-ре-ед! Уррра!

Я вскакиваю и бегу вперед. Бегут и мои минометчики. Надрывая глотки, мы орем вслед за всеми:

— ...ррра!

И держим перед собой свои беззвучные минометы-лопаты. А справа и слева стрекочут автоматы. Это бойцы батальона обстреливают высоту и мешают окопавшимся там немцам вести прицельный огонь.

Все ближе заветная и страшная высота. Сквозь пыль и дым уже виднеется ее изрытый гребень. Вражеские пули пискают звонче и чаще. И каким-то чудом не задевают нас. Нет, задело сероглазого паренька. Упал он, перевернулся на бок. Из рта хлынула яркая кровь. Остановиться? Нет, нельзя. Вперед и только вперед. На заколдованную высоту. Вон он, бугор с закриком. Кажется, это он сказал так, убитый минометчик?

Еще два наших танка охватывает огонь. Ганкисты выскакивают из люков, бросаются назад. Нет, не все выскакивают. Один, сраженный пулей, переваливается через стенку башни и повисает вниз головой. Огонь, лизавший танк, набрасывается и на него. И опять пронзительная команда:

— Ло-жи-ис!

Снова падаю на землю, тяжело дышу и крепко держусь за оружие. Что это? Миномет или лопата? Копать ямку? Не успеть. Лучше стрелять без ямки. Втыкаю лопату в землю, направляю ствол в сторону высоты, опускаю в него мину. Раздается выстрел. Невидимая мина летит куда-то. Прислушиваюсь. Взорвалась или нет? Не слышать. Да и как услышать взрыв крохотной мины в адском грохоте?

Выпускаю вторую, третью. Палю наугад. И замечаю: другой минометчик тоже не копает, а стреляет. Сам додумался или с меня взял пример? Только смотрю и невольно замираю. Ствол его миномета накренился так, что мины летят на выдвинувшийся фланг нашего батальона. Кричу ему. Не слышит. Собираюсь подползти, но команда удерживает:

— Впе-ре-д! Уррра!

Так повторяется несколько раз. Ложусь, вскакиваю, бегу. Снова ложусь и снова бегу. Загораются еще два танка. Остальные поворачивают назад и, лязгая гусеницами, несутся к своим позициям.

За танками поворачивается и бежит назад пехота. Я делаю то же. И, подгоняемый неприятельскими пулями, мчусь во весь опор. И уже ничего не кричу, а только думаю: скорей в окоп, чтобы оборвался этот непереносимый писк и чтобы сердце перестало рваться наружу.

☆☆☆

Четверо бойцов нашей команды полегло на поле боя. Все другие просили заменить минометы на автоматы. И командир батальона своей властью исключил миномет-лопату из вооружения.

Но нам этого было мало. Требовалось заключение штаба полка. А для этого необходимо встретиться с его командованием. Оно же не торопилось с нашим делом. Своих немало было. И все мрачные. Опять заколдованная высота оказалась неприступной.

Только перед вечером занялись нами. Угрюмые, сумрачные, собрались в блиндаже. Говорили одно и то же: миномет-лопата не пригоден. Мощность ничтожная, площадь поражения крошечная. Индивидуальным оружием служить не может.

— Я наблюдал за вашими бойцами,— говорил, подводя итог, командир полка.— Они палили в белый свет. А некоторые чуть было не поддали своим. Сегодня наше наступление опять не удалось. Правда, мы уничтожили большое количество живой силы и техники немцев. Все же поставленную задачу не решили. Но мы расколдуем эту высоту. В связи с этим по поводу миномета-лопаты хочется сказать вот что. Фрицы не очень смелые вояки. Потому-то не выбрались из своих нор, когда наши повернули назад. А что было бы, отважись они на преследование? Автоматчики отстреливались бы и сдерживали их. А что делали бы ваши минометчики? Дрались лопатами наотмашь? Они могли решиться и на такое. Ребята храбрые. Но в таком случае немцы перестреляли бы их всех. Защищаться же минометом, как огнестрельным оружием, они не могли. Для этого у него нет прицела. Да и надо было бы прижимать острую лопату к плечу. И они скорей угробили бы себя лопатами, чем истребили бы врага минами...

Мы с Бусяцким согласились с такими выводами и попросили выдать нам официальное заключение. Командир полка поручил начальнику штаба приготовить такое заключение. И, предложив нам располагаться в соседней комнате, вместе с полковым комиссаром отбыл в штаб дивизии.

☆☆☆

Комната оказалась довольно уютной. Две кровати, застланные байковыми одеялами, стол, покрытый клеенкой, умывальник с полотенцами на вешалке. Освещалась землянка керосиновой лампой, подвешенной на стене. И воздух в комнате был свежим. Она проветривалась вентилятором, устроенным в потолке.

Разувшись, но не раздевшись, мы улеглись на кровати поверх одеял и накрылись шинелями. Долго говорили о неудавшемся наступлении. Бусяцкий раскритиковал его. Нельзя такие укрепления брать лобовой атакой. И согласованности между родами войск не было. Поэтому передний край противника остался недостаточно обработанным, а танки выступили с непростительным опозданием. И получилось то, что должно было получиться.

— Каждый дул в свою дуду,— говорил Бусяцкий.— И вместо симфонии звучала какофония...

Потом поговорили о нашем участии в наступлении. Бойцы особой команды, и правда, показали себя героями. Но с таким оружием, будь они даже богатырями, им не удалось бы победить. Поэтому то они так дружно отказались от него.

— Я очень опасался за вас, товарищ комиссар!— неожиданно сказал Бусяцкий.— Огонь немцев был весьма интенсивным. А вы держались слишком от-крыто.

— А я боялся за вас, товарищ полковник! — в тон ему ответил я. — Вы хоть и соблюдали осторожность, все же больше меня подвергались опасности.

— Это почему же!

— Фигура ваша намного крупнее моей. И потому была гораздо больше уязвима...

Потом погоревали о погибших бойцах. Пожелали, чтобы родная земля была им пухом. Не удержавшись, я сказал:

— А может, не стоило затевать эту проверку? Ведь и без нее было ясно, что оружие не годится.

— Да, — согласился Бусяцкий. — Но оно уже принято на вооружение. И чтобы исключить, требовалось доказать его непригодность. А доказательство могло дать нам только такое испытание.

— Оно досталось нам большой ценой.

— Да, — снова согласился Бусяцкий. — Мы скорбим об этом. Но насколько больше было бы потерь, вооружив мы этим минометом многие подразделения. И я готов был погибнуть в этом бою, лишь бы предотвратить гибель многих других наших людей...

Мы замолчали. Бусяцкий через минуту захрипел. А я лежал с закрытыми глазами, и картины пережитого проносились в воображении. Неотступно стояло перед взором веснушчатое лицо с окровавленным ртом. Кто же эти люди, выдавшие лопату за миномет?

Сон одолел и меня. Только спал я тревожно. И проснулся от головной боли. Голова болела так, что я не знал, куда положить ее. А все тело было охвачено сухим жаром.

Я открыл глаза. В комнате было темно. Кто же потушил лампу? Или она сама потухла? Прислушался и не уловил дыхания Бусяцкого. Может, его нет? Может, он потушил лампу и ушел? Я приподнялся на локте и тихо позвал:

— Товарищ полковник? Вы спите?

Он пробормотал что-то и зашуршал постелью. Я осторожно опустил голову на казавшуюся каменной подушку и закрыл глаза. Уснул, во что бы то ни стало уснул! Может, во сне все успокоится?

Вскоре забываюсь. Но тут же вздрагиваю от головной боли. Снова открываю глаза. Та же темнота. Хочется пить. Вспоминаю — не было ли воды в комнате? Нет, не было. Только в умывальнике. Но как найти его в темноте? Прислушиваюсь. Из-за перегородки доносятся голоса. Тем дежурят командиры и бойцы. Пойти и попросить воды? Но как найти дверь? И жалко тревожить Бусяцкого. Вон как сладко посапывает.

Облизываю пересохшие губы. И снова погружаюсь в тяжелое забытие. Но боль в голове чувствую даже сквозь сон. Так она еще никогда не болела. Кажется, ее просверлила пуля. Нет, не просверлила, а застряла где-то в затылке. Там болит сильнее всего. И боль такая острая, будто пуля и впрямь бурлит мозг.

Время тянется медленно. Все же наступает утро. Усиливаются голоса за перегородкой. Просыпается и Бусяцкий. Слышу, как потягивается, зевает. А потом вдруг спрашивает:

— Вы уже не спите, товарищ комиссар?

— Не сплю, — подтверждаю я. — А как вы догадались?

— Не догадался, а вижу. Лежите с открытыми глазами.

— Как же вы видите в такой темноте?

— В темноте? — переспрашивает Бусяцкий и некоторое время молчит, словно не зная, как продолжать. — Разве в землянке темно?

— Конечно! — подтверждаю я. — Ничего не видеть. Зажгли бы лампу. У вас есть спички?

Он не отвечает. Слышу, как шуршит его постель. Наверное, сел. Сейчас зажжет лампу, и я выберусь наверх. Может, там боль скорей утихнет?

Но Бусяцкий не зажигает лампу. Он подходит ко мне. Скрипит табуретка возле моей кровати. Теплым дыханием обдает лицо. И слышится надо мной его тревожный голос:

— Что с вами, товарищ комиссар? В землянке светло.

— Светло? — переспрашиваю я. — Как — светло?

— Горит лампа, — отвечает Бусяцкий. — Та, которая горела вечером.

Я привстаю, сбрасываю ноги на пол, пальцами протираю глаза.

— Это правда? Лампа не потушена?

— Лампа горит, — подтверждает Бусяцкий. — В землянке светло.

Я закрываю глаза. Так сижу несколько минут. Снова открываю их. И снова ничего не вижу. Темнота. Нет, уже не темнота, а грязный туман. Он затопляет комнату, плотно окутывает меня.

— Дайте больше света, — прошу я. — Выдвиньте фитиль.

— А я уже выдвинул, — слышу голос Бусяцкого в стороне. — Больше некуда.

Я опять протираю глаза, напрягаю зрение. Грязный туман не рассеивается. Хочется разогнать его руками. Но я удерживаю себя. Бесполезно.

Я ослеп.

— Ничего не вижу, товарищ полковник! — обращаю я к Бусяцкому. — Ничего. Ослеп. Везите меня в Москву. Как можно скорей. Очень прошу!..

☆☆☆

Бусяцкий моими ключами открыл квартиру. В передней я снял шинель, шапку и сказал:

— Благодарю вас, товарищ полковник! Теперь поезжайте в управление. Передайте генералу заключение командования полка и доложите все, как было.

— А вы, товарищ комиссар? — спросил Бусяцкий. — Как вы один?

— Обо мне не беспокойтесь. Я у себя дома. Все будет в порядке...

Простившись, Бусяцкий уехал. А я несколько минут стоял в передней, прислонившись к стене. Я очень торопился домой, всю дорогу мысленно подгонял шофера. В душе теплилась надежда, что дома прозрею. Лишь войду в квартиру, темнота исчезнет. И я снова буду видеть, как видел. Надеялся, что родные стены помогут, и обманулся. Я был в родной обстановке, а темнота не исчезала. Она все так же плотно окутывала меня. И я все таким же беспомощным был перед ней.

— Не падать духом, — сказал я себе. — Не сдаваться, а бороться. Всеми силами и до полной победы.

Сбросив сапоги, я нашел тапочки. В углу передней нащупал тумбочку, на которой стоял телефон, принялся набирать номер, пальцем отсчитывая цифры. И набрал, не сбился. В трубке раздался знакомый голос. Это был Шумов. Я спросил, не может ли он сейчас же приехать домой. Я старался говорить спокойно, но голос мой сорвался. И Шумов, ни о чем не спросив, сказал:

— Сейчас приеду.

Положив трубку, я по памяти прошел в спальню. Там разделся и, достав пижаму, также по памяти шагнул в ванную. Как раз был «горячий» день.

Приняв душ, я лег в постель. Отдохнуть, успокоить нервы и собраться с мыслями. Бусяцкий, конечно,

но, расскажет, что случилось. А что сделает Пронин? Вызовет врачей? Да, конечно, так и будет. Их надо обязательно вызвать. И как можно скорей, чтобы срочно приняли меры. Такие, которые разогнали бы темноту и вернули бы зрение. А если таких мер нет? Если ничто не поможет? Ледяной озноб пронизал меня. Как же можно жить без зрения? И зачем тогда жить?

Стук входной двери прервал раздумье. Это был Шумов. У него были ключи, и он вошел без звонка. Сейчас он разделется и зайдет ко мне. И я скажу ему... Спазма сдавила горло.

«Спокойно! — сказал я себе. — Не распускать нюни. А то мне стыдно будет за тебя».

В тапочках он вошел неслышно и произнес своим мягким, слегка певучим голосом:

— Привет, Федя! С приездом! Что нового?

Я посмотрел туда, откуда доносился его голос и взволнованно ответил:

— Я ослеп, Валерий! Ничего не вижу. Непроглядная темнота. Ослеп, понимаешь?

Он приблизился ко мне, пристально посмотрел в глаза. Почувствовав это, я невольно напрягся.

— Не волнуйся, Федя! — все так же мягко сказал он. — Это пройдет. Не может не пройти. — И, словно догадавшись по моему виду, спросил: — Ты сегодня ничего не ел?

Я проглотил слюну и признался.

— Со вчерашнего вечера в рот ничего не брал.

— Сейчас состряпаю что-нибудь, — сказал Шумов. — Потерпи немного.

Он ушел и загремел на кухне посудой. А я мысленно поблагодарил его за то, что не расспрашивал. И снова подумал о своем положении. Шумов сказал, что это пройдет. Ну, конечно, это пройдет. Не может не пройти. Я буду стараться. Нет, не стараться, а бороться. Всеми силами и средствами. Но страх опять сжал сердце. А если ничто не поможет? Если слепота останется на всю жизнь? Как тогда жить?

Каким ударом это будет для Ани... Как перенесет она этот удар? Выдержит ли ее любовь? Не уйдет ли от меня, слепого? Нет, нет! Только не это! Без нее я не смогу жить.

— Сейчас обед будет готов, — объявил Шумов, снова появившись в дверях. — А пока я почищу твои сапоги. На них уйма грязи.

Он вышел на лестничную площадку и долго оставался там. Должно быть, я и впрямь порядком вымазался, когда под руку с Бусяцким пробирался к машине. Теперь вслепую все будет сложнее. На каждом шагу, каждой мелочью жизнь будет напоминать об ущербе. О том, что ты беспомощный, несчастный калека и что лучше бы тебе умереть, чем так жить.

Наконец Шумов вернулся и заботливо спросил:

— Тебе помочь одеться?

— Спасибо! — отказался я. — Сам справлюсь. Нетрудно.

Шумов снова отправился на кухню. А я, одевшись, подошел к окну. С улицы доносились ребячий голос, просигналила машина. Там была жизнь, а я не видел ее. Темнота застилала все. И ребят, игравших в скверике, и машину, прокатившую по асфальту, и солнце, тепло которого я чувствовал на лице. Это же тяжелей смерти!

Шумов позвал меня. Вытянув руки, я направился в столовую, присел на свое место. Шумов поставил передо мной разогретую тушенку. Потом принес чай.

— Помочь?

— Спасибо! — вновь отказался я. — Попробую сам. Надо учиться. Ты-то чего не садишься?

— Я уже пообедал, — сказал Шумов. — В редакционном буфете. Есть не хочу. А чаю выпью с удовольствием...

Мы сидели друг против друга. Я слышал, что он отхлебывает чай, и ждал, когда он спросит, как это случилось. Но он так и не спросил. И не потому, что был равнодушен к моему несчастью. Нет, конечно! Он даже переживал это несчастье, как свое собственное. Я был уверен в этом. А не спрашивал из-за боязни причинить мне боль. И я опять про себя поблагодарил его.

Мне удалось аккуратно поест. И чай выпил, не пролив и капли. Успех приободрил. И я, встав, сказал:

— Спасибо тебе, Валерий! Накормил досыта. Даже на душе полегало.

Перейдя в переднюю, я присел возле тумбочки с телефоном. Позвонить Пронину Бусяцкий, конечно, уже доложил обо всем. Результатами проверки миномета генерал остался доволен. И без нее он не признавал это оружие. Теперь прибавилось официальное заключение. И уже не трудно доказать никчемность выдумки. И о моей беде Бусяцкий рассказал. Пронин, конечно, испугался. И, может, забил тревогу. Чего доброго получит нагоняй. Дополнительную проверку лопаты мы учинили без ведома наркомата.

Нащупав диск, я собрался набрать номер, но звонок опередил меня. У телефона был Пронин. Он спросил, когда можно приехать ко мне. Я сказал, что скоро сам буду в управлении.

— Через час вызову машину и приеду.

— Через час у тебя будут врачи, — сказал Пронин. — Так что сиди дома и жди. А до этого я хочу повидать тебя. И сейчас приеду, если ничего не имеешь против...



Несколько дней я пролежал в постели. Держалась высокая температура, непереносимо болела голова. За это время меня искололи так, что живого места не было. Проглотил множество разных таблеток, выпил немало противной микстуры.

Кроме регулярного приема лекарств, врачи требовали, не думать о работе и не встречаться с сослуживцами. Но это уже было выше моих сил. Как это можно не думать о работе? Ведь мы работали на войну, а она продолжалась. Что же до сослуживцев, то они навещали меня чуть ли не каждый день. И я сожалел лишь о том, что, щадя меня, они не задерживались.

А противная, грязная темнота не исчезала. Я едва мог отличить день от ночи. И врачи не обещали ничего хорошего. Начиняли лекарствами и успокаивали. Я нервничал. И без конца думал об одном и том же. Неужели не буду видеть? Как же тогда жить? Жить-то надо. И не просто жить, а с пользой. Что полезного может делать незрячий?

Однажды, вернувшись из редакции, Шумов объявил, что будет работать дома.

— Статьей разных надавали, — пояснил он, чтобы я не сомневался. — Не очень срочные, но важные. Требуется сосредоточиться. В редакции это трудно. Разговоры, споры и всякие дискуссии. Вот начальство и разрешило. Думаю, ты не будешь возражать?

— Спасибо тебе, Валерий! Все понимаю. И очень рад.

— Пожалуйста! — с деланным равнодушием отве-

тил Шумов и, показалось повел плечами.— Ничего особенного. Просто так удобней. Больше и лучше сделаю. А потому не стоит благодарности...

И он работал дома. Неожиданно появлялся передо мной и спрашивал, не нужно ли чего-либо. Он не надоедал мне, но и не оставлял одного надолго, видимо, догадываясь, каким нелегким было для меня одиночество.



Любимым нашим занятием было чаепитие. Шумов искусно заваривал чай. Пили вприкуску, из блюдца. Шумов звонко разгрызал рафинад, дул в блюдце и, отхлебнув, чмокал губами. В этом он был настоящим деревенским, хотя всю жизнь прожил в городе.

Конечно, говорили больше о войне. Она бушевала не только вблизи Москвы, а и в глубине страны. Ожесточенные бои шли у Кавказского хребта и на подступах к Волге.

Но в этот вечер мы за чаем читали письма Ани. Их пришло сразу три. Написанные в разное время, они, конечно, были разными. Но одинаково интересными и подробными.

Больше всего Аня писала о Володе и о жизни в Ташкенте. Писала, что скучает обо мне. Она надеялась на скорую встречу и напоминала о моем обещании осенью приехать к ним. Но она знала, что это зависит не только от меня.

Шумов читал медленно. Видно хотел, чтобы я запомнил каждое слово. А когда кончил, мы молча допили чай, и я попросил прочитать еще раз. Мне и в самом деле хотелось запомнить все. И я повторял про себя дорогие слова. Повторял с любовью и горечью. Она и не догадывалась, что письма ее читает мне другой.

Когда Шумов закончил второе чтение, мы долго молчали. Мне стоило немалых усилий казаться спокойным. Хотелось разодрать глаза, броситься куда-нибудь, разбить голову об стену. Я ненавидел себя и готов был покончить с собой. Потому, что был беспомощным и знал, что это нанесет тяжелый удар ей, которую любил.

— Что же делать, Валерий? — наконец спросил я, еле сдерживая отчаяние. — Я же должен написать Ане. Она уже спрашивает, почему молчу. А я не могу писать. Если ты сделаешь это за меня, придется рассказать правду. А я не могу решиться на это. Она не перенесет... Ну, скажи, что делать, Валерий?

Секунду-две Шумов молчал. Казалось, я слышал тарахтение его сердца. Я спрашивал о том, чего он, как и я, не знал.

Ему тоже было нелегко. Он напряженно думал над неразрешимой задачей, а это, наверно, отражалось на больном сердце.

— Прежде всего не падать духом, — ответил Шумов просто, как о чем-то обычном.

— Как же не падать? — застонал я, ломая пальцы. — Рушатся все надежды. Ничего не остается.

— Как ничего? — возразил Шумов. — А жизнь? Жизнь-то куда делась? Она же есть и будет.

— А, жизнь! — с болью произнес я. — Мне нужна полезная жизнь. А пустая, никчемная... На что мне такая жизнь?

— Почему никчемная? — продолжал Шумов. — Разве ты не можешь приносить пользу?

Я изо всех сил смотрел на него, стараясь увидеть лицо, чтобы прочесть на нем, так ли он думает, как говорит.

— О чем ты толкуешь? Какую пользу может принести слепой? Что может он делать?

Шумов опять не сразу ответил. И опять сказал, как о чем-то простом и ясном.

— Что может делать слепой? Да то же, что и зрячий.

— Как так? — с удивлением спросил я. — Ну-ка, поясни.

— Пожалуйста! — сказал Шумов. — Разве ты не можешь работать, как работал? Даже комиссаром Главсевобуча? Что тебе мешает завтра отпрагиться туда и занять свое место?

— Но я же не вижу, — ответил я. — Как же я могу работать?!

— У тебя есть помощники, — продолжал Шумов. — Они будут читать тебе, писать за тебя. С людьми ты можешь разговаривать и без помощников, как разговаривал раньше. — И решительно предложил. — Поезжай завтра же и работай с полной нагрузкой. Хватит сидеть дома и изводить себя переживаниями. Труд — самое лучшее лекарство, когда врачи бессильны.

По мере того, как он говорил, я расслаблялся. Пальцы разжимались, боль в мышцах загудела, и становилось светлей. Нет, глаза по-прежнему не видели. Светлей становилось на душе. И самому делалось легче, будто я обрел какую-то опору.

— Ты веришь в меня? — спросил я, глядя туда, где был Шумов.

— Как в самого себя, — ответил Шумов. — Надевай завтра форму и отправляйся на работу. У тебя есть все, чтобы работать, как работал. Только смей берись. Конечно, тебе будет трудней, чем другим. Но ты же коммунист. В партии с семнадцати лет. А коммунисту трудности не страшны. Особенно, когда война и когда гибнут люди. Начинай работать. Если нужно, возьми меня. Помощником или кем хочешь. Я буду рядом с тобой. Глазами своими поделюсь. Поделюсь всем, что есть у меня и что нужно тебе. Только не оставайся дома и не мучай себя. Будь и в таком положении комиссаром.

Я вышел из-за стола, протянул руки.

— Валерий, дорогой! — произнес я, сдерживая слезы. — Дай же я обниму тебя.

Он тоже встал, шагнул ко мне. И мы крепко обнялись, как родные братья в тяжкую минуту.



Утром, когда я облачился в военный костюм, Шумов осмотрел меня и довольно произнес.

— Все в порядке, товарищ комиссар! Можно приступать к работе!

Я вызвал машину. А когда со двора донесся ее гудок, под руку с Шумовым сошел вниз. Он вызвался проводить меня до Главсевобуча. И мы сели позди.

Федосов спросил, куда ехать.

— На работу, — ответил я, стараясь быть спокойным. — В управление.

Федосов машину повел медленно, словно опасаясь быстрой ездой повредить мне. И с затаенным восторгом, как о чем-то праздничном, сообщил:

— А Николая Нилыча в звании повысили. Теперь он генерал-лейтенант. — И, помолчав, спросил не без огорчения: — А почему вам не дают, товарищ комиссар? Вам же положен дивизионный.

Я обрадовался за Пронина. А о себе ответил Федосову без обиды:

— Значит, не положено, раз не дают.

После этого Федосов погнал машину с такой скоростью, что через несколько минут мы были у

подъезда особняка. Я простился с Шумовым. Федосов подхватил меня под руку и повел на второй этаж, сам, как слепой, с опаской ступая по лестнице.

В кабинет меня провел Новичков. Он хотел помочь снять шинель, но я отказался.

— Спасибо! Сам...

Раздевшись, я повесил шинель в шкаф, безошибочно подошел к столу и опустился на стул. Да, надо привыкать к новым условиям, приспосабливаться ко всему, чтобы как можно меньше зависеть от других. Конечно, я не собирался всю жизнь оставаться в темноте. Всем сердцем верил, что снова буду видеть. Но, кроме веры, пока не было ничего... И потому, надеясь на лучшее, следовало готовиться к худшему.

— Что будем делать, товарищ комиссар? — спросил Новичков, о котором я, задумавшись, забыл.

— Потом скажу, — поспешно ответил я, почувствовав неловкость. — Пока можете быть свободны.

Новичков вышел, прозвучали четкие шаги, глухо стукнула дверь. А я подумал, с чего начинать. И вспомнил Пронина. Прежде всего позвонить ему.

Пронин зашел тут же после моего звонка. Облапил меня, потискал и не без сожаления заметил: — А ты сдал, комиссар! Похудел, побледнел. Ну, да ничего. Поправишься. Молодость переможет...

Я поздравил его с повышением в звании.

— Спасибо! — ответил Пронин и спросил: — А как твои дела?

— Вот приехал, — сказал я. — Соскучился по работе. Безделье надоело.

— А зрение? — продолжал Пронин. — Со зрением как?

Я опустил глаза. Стало жалко их. Нормальные, они не видели не по своей вине. Нервы не передавали изображение в зрительный центр. Что-то мешало им выполнять свои функции. А что, никто не знал. И хуже всего, не знали этого врачи. Они только гадали и руками разводили.

— Со зрением пока без перемен. Темнота не рассеивается. — И посмотрел туда, где был Пронин. — Но я надеюсь. А только ждать не буду. Сегодня приступаю к работе.

— И как же ты думаешь работать?

— А как работал, так и буду работать. Только помощнику прибавится дел.

Пронин не возражал; не то согласился, не то не захотел спорить. Мы присели к столу. С минуту молчали. Пронин, наверное, смотрел на меня с жалостью. Я чувствовал это и еле сдерживал раздражение. Жалость причиняла боль. Неужели он не понимал этого?

— Что с минометом-лопатой? — прервал я молчание. — Что-нибудь сделано?

Пронин покряхтел. Так покряхтел он всякий раз, когда приходилось решать что-либо трудное. И со вздохом ответил:

— Пока ничего. Надо докладывать Верховному!

— Почему же ты не доложил?

— Ждал тебя. Ты ведь проверял этот миномет. Пошли ко мне. Буду говорить по своему телефону. Мы перебрались в его кабинет. Усадив меня в кресло, он покашлял и снял трубку вертушки. Четырежды прожужжал диск аппарата, и Пронин чуть громче обычного произнес:

— Здравствуйте, товарищ Сталин!.. Докладывает начальник Главсевобуча генерал-лейтенант Пронин!.. Нам передали приказ о подготовке бойцов для миномета-лопаты. Мы уже создали несколько подразделений и организовали учебу. Но миномет этот оказался непригодным оружием. — И повторил, должно быть, отвечая на вопрос: — Да, полностью непригод-

ным... Мы установили это проверкой на фронте в боевых условиях... — И коротко рассказал, как создали особую команду, как отправили ее на фронт и как после боя все минометчики сказали, что это оружие непригодно. — С командой ездили и участвовали в бою один наш опытный полковник и комиссар Главсевобуча... — продолжал Пронин. — И, видимо, отвечая на вопрос, назвал мою фамилию. — Да, он тоже участвовал... Так точно, с этим минометом... А он сейчас у меня... Слушаюсь! — И ткнул трубку мне в руку. — Тебя просит.

Я не ждал этого и растерялся. Но сказал спокойно, хотя и повышенным голосом:

— Слушаю вас, товарищ Сталин!

Он поздоровался и спросил:

— Вы участвовали в наступлении с командой минометчиков?

— Так точно! — ответил я. — Рядовым бойцом.

— С минометом?

— С минометом-лопатой.

— И как себя чувствовали в бою?

— Безоружным. Окапываться не было времени.

А стрелял, когда подавалась команда ложиться. Стрелять на ходу из него нельзя. Лопата во время выстрела плечо поранит. Да и заряжать его в таком положении невозможно. А лежать палил наугад.

— А другие как?

— И другие так же. Сам видел, как один минометчик направил миномет в сторону нашего фланга.

— Это уж совсем не годится, чтобы еще свои стреляли по своим, — сказал Сталин. — С нас хватит немцев! — И, помолчав, спросил: — Командование полка участвовало в проверке?

— Да, — ответил я. — Мы привезли заключение. Миномет-лопата считается непригодным оружием.

Сталин опять помолчал и сказал:

— Я и сам сомневался. Дальность полета небольшая. Каждый раз надо ставить на землю, а для этого задерживаться. Да и минка крохотная, площадь поражения незначительная. Сомневался, но уступил. Надеюсь, что вы разберетесь. И очень хорошо, что разобрались.

И простился. Я передал трубку Пронину, носовым платком вытер пот со лба.

— Одобрить, что мы разобрались?

— Так, — сказал Пронин. — Значит, стменил приказ?

— Да, — согласился я. — По-моему, так надо понимать...

☆☆☆

Каждый день к девяти утра я приезжал в Главсевобуч и работал до позднего вечера. Новичков читал почту и писал на письмах мои указания. Под диктовку правил деловые бумаги. Он исполнял все старательно, и, казалось, такая работа нравилась ему. Все же однажды я в шутку заметил:

— Работы прибавилось, а зарплата та же.

— Это ничего, — ответил Новичков. — Работа как работа. А зарплату хватит и без доплаты...

Вечером я отправлялся на Маросейку и там до глубокой ночи занимался неотложными делами. С помощью того же Новичкова разбирал почту, принимал отобранных на подпольную работу комсомольцев, выслушивал возвратившихся из партизанских отрядов наших работников. Ольга Сысоева, обычно представлявшая ребят, не говорила им обо мне ничего, и они не догадывались, что я не вижу. Глаза у меня по-прежнему оставались живыми, зрачки суженными. Ориентировался я по голосу,

глядя прямо на собеседника, и у того не возникало никаких подозрений.

Работа поглощала все время. Домой я приезжал усталый, кое-как делился новостями с Шумовым и валился на кровать. Хотелось крепко уснуть, чтобы забыть обо всем, но это не удавалось. Я лишь дремал, чуть ли не поминутно вздрагивая от боли в голове. И ничто не забывалось в дремоте. Утром вставал не отдохнувшим, а еще более разбитым. Может, потому и работа не разгоняла темноту?

— Надо лечиться, комиссар! — однажды сказал Пронин. — Ложиться в госпиталь. Пока болезнь не застарела.

— Ни в какой госпиталь не лягу. Буду работать до конца войны.

— Но ты же слепой, — возразил Пронин. — Нетрудоспособный.

Его слова вызвали обиду. Все же я не поддался ей.

— И что ж что слепой? Мало ли слепых, которые работают не хуже зрячих? И ничего плохого, если тут будет слепой комиссар. А насчет трудоспособности ты зря, Николай Нилыч! Посиди со мной рядом день и понаблюдай, как я работаю. Не хуже, чем раньше, и не меньше...

— Извини, пожалуйста! — сказал Пронин. — Я не хотел тебя обидеть. Без наблюдения знаю, что много работаешь. Потому и беспокоюсь. А что до трудоспособности, об этом сказано в заключении врачей. Инвалид первой группы. Какая уж тут трудоспособность. — И озабоченно добавил: — А работать до конца войны... Не поздно ли будет потом лечиться? Никому ж неизвестно, когда она кончится, война. Может, успеешь и вылечиться и снова потрудиться на победу?

— В госпиталь не лягу, буду работать. И прекратим этот разговор. Все равно он ни к чему не приведет.

Помолчав, Пронин глухо произнес:

— Твоя воля. Но я оставляю за собой право...

Не знаю, какое право он оставлял за собой. Да и что он мог? Призвать на помощь кого-то другого? И другому скажу то же. Никто не принудит меня покинуть этот пост.

Но когда Пронин ушел, я почувствовал горечь. Инвалид первой группы! И это в моем-то возрасте. Может, из-за этой мерзкой погоды? Не будь ненастья, я не простудился бы, здоровым поехал бы на фронт.

Мысленно я увидел Аню. Она все еще ничего не знала. И пусть пока ничего не знает. Вдруг темнота исчезнет? И тогда расскажу об этом, как о кошмарном сне. А если не исчезнет и я навсегда останусь слепым, успеет наплакаться.

☆☆☆

Федосов знал, где находился заводской клуб, в котором собрались бойцы спецподразделений. Он домчал нас туда за полчаса. Там уже все были в сборе.

Из президиума я не видел ребят, сидевших в зале. Но они казались мне похожими на комсомольцев, сменивших минометы на автоматы. Недавно мы получили письмо командира полка, в котором они служили. Все они были живы и здоровы. Геройски дрались за неприступную, заколдованную высоту, которая была покорена. Такими же будут в боях и эти московские парни. Вернуться бы им всем с войны живыми и невредимыми...

Я выступал последним. Новичков подвел меня к трибуне. Нащупав ее боковины, ногтями впился в

дерево. Я говорил то же, что и предыдущие ораторы. Враг будет разбит, имена героев навсегда останутся в памяти народа. А героями будут все они, которых страна посылает в бой с врагом и которых будет встречать с победой.

Чтобы перевести дух, я остановился на секунду. И тогда в зале раздался изумленный ребячий голос:

— Смотри-ка! Комиссар-то слепой! Как же он комиссарит?

По залу прокатился шум. Но он тут же схлынул. Тишина снова повисла в воздухе. Теперь ребята смотрели на меня еще более пристально.

— Да, я не вижу, — подтвердил я. — Это правда. Но у меня бьется сердце. И пока оно бьется, я останусь в боевом строю.

Бойцы ответили громкими аплодисментами. Это были единственные аплодисменты за все время митинга. Но и те продолжались недолго. Я снова заговорил о бойцах, отправлявшихся на войну.

Закончил призывом беспощадно уничтожать врага и быть бесстрашными в борьбе с ним.

Обратно мы ехали медленно. Погода внезапно ухудшилась. Валил густой, мокрый снег. И Федосов вел машину очень осторожно. Вполголоса ругаясь, он то и дело тормозил.

Я же, сидя рядом с шофером, продолжал думать о митинге. А больше всего о парне, который заметил мою слепоту. Как же он догадался? Мне говорили, что глаза мои оставались живыми. Некоторые даже признавались, что не могут поверить, что я не вижу. Но главное все же было не в этом. Все-вобщем ответили мне шумными аплодисментами. А подумали, может, так же, как и парень: «Как же он комиссарит?» Да, я буду работать, пока жив. Но зрячий на моем месте сделает больше и лучше меня. Как бы я ни старался отдать себя всего делу, мне это не удастся. Незрячий — беспомощный, каким бы здоровым ни был. И, может, я зря не слушаюсь товарищей, убеждающих меня лечиться?

☆☆☆

Однажды раздался звонок вертушки, и кто-то незнакомый спросил:

— Вы куда не собираетесь?

Вопрос удивил меня, но я все же ответил:

— Нет. А что?

— Сейчас за вами приедут, — сказал незнакомец. — Подождите у себя...

И действительно, через некоторое время в сопровождении Новичкова кто-то вошел в кабинет. Подсказавшись, сказал, что из ЦК партии, и попросил поехать с ним. Не расспрашивая, я оделся, с помощью Новичкова сошел вниз и сел в машину.

Ехали молча и скоро остановились. Сидевший рядом со мной вышел первым, взял меня под руку и провел в какое-то помещение. Там я снял шинель, шапку. Потом на лифте поднялся на какой-то этаж и зашагал по мягкой дорожке.

Вошли в комнату. Кто-то предложил мне стул и попросил подождать. Сопровождавший меня пошептался с кем-то и вышел. А я остался ждать. Куда привели меня? Кому и зачем понадобился?

Раздумье прервал мелодичный звонок. Послышался легкий щелчок. И молодой голос произнес:

— Слушаю вас... Да... Андрей Андреевич занят... Не знаю... Пожалуйста!

И звякнула трубка, положенная на рычаг. А я невольно выпрямился. Андрей Андреевич. Так это же секретарь ЦК партии Андреев. Значит, меня привезли к нему. О чем же он собирается говорить со мной?

Послышались шаги, приглушенные голоса.

— Пожалуйста, идемте!

Кто-то взял меня под руку и повел. Прошли двойные двери и остановились. И тогда раздался знакомый голос:

— Здравствуйте!

Да, это был Андреев, секретарь ЦК партии. Он пожал мне руку, помог сесть в кресло, сам опустился в кресло напротив. Несколько секунд смотрел на меня. Я чувствовал его пронизывающий взгляд.

— Что это у вас такое?

Я опустил глаза, словно сам был виноват в своей беде.

— Врачи говорят: осложнение после простудного заболевания.

— То же написали и нам,— сказал Андреев.— А еще написали, что предупреждали вас об этом, а вы пренебрегли этим предупреждением.

Я молчал. Он — тоже. Потом Андреев сказал:

— А нам говорили, когда мы утверждали вас во всеобщем, что все у вас прошло. Съездил в Кисловодск, провел курс лечения, и опасность миновала. А выходит, не так?

Хотелось спросить, кто это сказал. И как могли сказать такое, если в Кисловодске никакого лечения не было. Но я молчал, и в глазах начинало пощипывать, словно в воздухе появилась пыль.

— Да,— продолжал Андреев.— Надо лечиться. Врачи не теряют надежды. А вы не лечитесь. И продолжаете работать. Конечно, вас можно понять. Война, долг, молодость. Все правильно и похвально. Но работать на полный износ нельзя. Даже во время войны. Там, где можно, мы должны беречь себя и других. Вы же относитесь к себе не по-хозяйски.— И после паузы спросил: — У вас семья, кажется, в Ташкенте?

— Да, Андрей Андреич! — подтвердил я.— Жена и сын. Снимают комнату.

Андреев подумал и продолжал:

— Врачи предлагают провести лечение. Обязательно в спокойной обстановке. У вас это связано с нервами. Вот мы тут думали и решили. Вам надо ехать в Ташкент. Но лечиться не в самом городе, а где-нибудь поблизости. Говорят, у них там есть хорошие санатории. Да это мы сейчас узнаем.— Он встал и позвонил. Тотчас раздался шаг.— Вызовите Ташкент,— сказал Андреев помощнику.— Юсупова.— Стукнула крышка папиросной коробки, чиркнула спичка, и в воздухе запахло приятным дымком.— И погода сейчас там хорошая. Осень стоит теплая, фруктов много, винограда. А лучший санаторий у них где-то в горах. Воздух там, говорят...

Снова послышался шум двери, и молодой голос сообщил:

— Ташкент на проводе, Андрей Андреич!

Андреев заговорил с Юсуповым обо мне, что направляюсь в Ташкент на лечение и что надо оказать мне помощь. Потом некоторое время слушал. И, поблагодарив, простился.

— Юсупов обещал сделать все, что необходимо. Отсюда полетите самолетом. Сопровождать вас будет медсестра.

— Спасибо, Андрей Андреич! — взволнованно произнес я.— Признаю свою ошибку. Жил одним днем. И потому относился к себе не по-хозяйски. Больше этого не будет. Даю вам слово!

— Я верю вам, — сказал Андреев, и голос его дрогнул. — И вместе с вами надеюсь. Крепче держитесь, — продолжал он, подходя ко мне. — И верить не только лекарствам, а и в свои силы.

☆☆☆

В Ташкент прилетели в полдень. Из самолета меня вывела медсестра Тоня. Она всю дорогу ухаживала за мной. И теперь должна сдать Ане, которая, конечно, встречала в аэропорте. Я послал телеграмму о вылете и надеялся, что она получила ее. В лицо ударили теплые лучи солнца. Был конец ноября, а здесь продолжалось лето. Я вздохнул полной грудью и почувствовал, как закружилась голова.

Мы медленно спускались по трапу. У самой земли я услышал радостный и в то же время тревожный голос:

— Федя! Федечка!

Это была Аня. Она поцеловала меня, головой припала к моей груди. И беззвучно заплакала, вздрагивая плечами.

— Милый! — наконец сказала она. — Что ж это с тобой? За что ж нам такое горе?..

У аэропорта ждала машина. Аня пригласила и Тоню. Меня усадила рядом с шофером. Он повел машину медленно. Легкий ветерок приятно обвевал лицо. На поворотах в машину проникали косые лучи солнца.

Аня и Тоня, сидевшие позади, вполголоса разговаривали. Медсестра работала в хирургическом отделении и часто помогала врачам делать мне внутривенные вливания. Кое-что знала и о том, как все случилось. И теперь рассказывала Ане, часто прерывая рассказ успокоительными словами.

Я радовался, что прилетел в Ташкент, и в то же время испытывал гнетущее чувство. Должно быть, так бывает со всяким, кто приносит родным не радость, а горе. А впереди предстояла еще встреча с сыном.

Скоро машина остановилась, и Аня объявила:

— Вот мы и приехали!

И первой открыла дверцу. Я тоже вылез и тут же почувствовал, как кто-то обхватил меня. Это был Володя. Он радостно прокричал, словно возвещая всему двору:

— Папа приехал! Мой папа!

Я ошупал его голову, плечи. Он заметно подрос и окреп под благодатным южным солнцем. Я поднял его, поцеловал в щеку.

— Сынок!..

Он обвил мою шею руками, тоже чмокнул меня.

— А почему ты плачешь, папа?

Я снова поцеловал его и опустил на землю. И услышал, как он с тем же недоумением спросил Аню:

— Ты тоже плачешь, мама? Что с вами? Отчего вы плачете?

— От радости, Володенька! — ответила Аня.— Встретились, обрадовались и расплакались.

— Я тоже рад, — сказал Володя.— А плакать мне не хочется. Ни капельки. Как можно плакать, когда радуешься?

Мы отправились в дом. Аня держала меня под руку, Тоня и Володя шли позади.

На лестнице Володя полушепотом спросил медсестру:

— Что с папой? Почему мама ведет его?

— Немного нездоров, — также полушепотом ответила Тоня. — Но это скоро пройдет. Не беспокойся.

Аня познакомила меня с хозяевами квартиры. Они оказались добрыми. А когда узнали, какая беда приключилась со мной, искренне опечалились.

— У нас тут хороший климат, — сказала старая Рахиль Моисеевна. — Очень полезный для нервной системы. Обязательно поправитесь.

А хозяин Иван Герасимович сказал, что завтра же принесет самого лучшего пива. Он работал на пивоваренном заводе и гордился своей продукцией.

— Наше пиво лучше всякого лекарства,—говорил он вполне серьезно.—Чуть ли не от всех болезней излечивает.

Я поблагодарил его. Но умолчал, что в числе многих «нельзя» для меня на первом месте стояло пиво.

☆☆☆

Аня приготовила вкусный обед. За обедом она шутила, даже смеялась. Но это был смех сквозь слезы. Она старалась для меня и не жалела себя.

А вот Володя не лукавил. Он то и дело заглядывал мне в лицо. Я еле сдерживал желание опустить голову.

После обеда Тоня решила посмотреть город. Сопровождать ее вызвалась молодая хозяйка Полина Самойловна. Володя спросил, можно ли уйти к ребятам, и, когда Аня разрешила, ушел с неохотой, словно жалея, что отпустили. А мы с Аней снова сели за стол друг против друга. Некоторое время молчали, переживая горе и радость. Наконец Аня спросила:

— Как же это случилось?

Я рассказал обо всем. Аня вздохнула и сказала: — Бедный! Сколько перемучился! И слава богу, что уцелел в бою... А когда это было?

Я назвал число, которое запомнилось на всю жизнь. Аня всплеснула руками.

— И ты столько времени один был дома?

— Почему один? — возразил я.— С Шумовым. Я же писал тебе, что он поселился у нас.

— Да, я помню. Но ты писал, что он только ночует. Значит, днем ты был один?

— Он взял работу на дом, чтобы не оставлять меня одного. И все по дому делал. За мной ухаживал, как за малым ребенком.

— Какой он хороший, Валерий,— произнесла Аня.— Я так ему благодарна.

— Без него мне было бы туго. А с ним... Мы часто говорили о войне, о тебе. Много рассказывал он, как выходил из окружения. Горячий привет тебе передавал.

— Спасибо! — сказала Аня.— Передай и ему сердечный привет. Ты ведь увидишься с ним раньше меня.

— Да, я увижусь с ним раньше,— сказал я.— Вот пройду лечение, рассеется темнота, и я вернусь в Москву.

— Дай-то бог, чтобы она рассеялась,— вздохнула Аня.— И чтобы ты опять увидел все. А в первую очередь нас с Володей.

— Увижу,— горячо ответил я.— Врачи надеются. И я верю. Верю всем сердцем. Ты тоже верь. Тогда болезнь отступит.

— Я верю,— сказала Аня.— И буду верить всей душой, чтобы это горе оставило нас. А если уж суждено, я буду любить тебя все так же.

Ее слова взволновали меня. Хотелось встать, обнять Аню. Но я продолжал сидеть. Может, на пути опрокину, а то и разобью что-либо. И тогда исчезнет радость.

Зачем-то я достал из кармана пачку папирос. Положил на стол, а на нее коробку спичек. И опустил руки. Аня, видимо, следившая за мной, сказала:

— А ты закури. Я открою дверь на балкон.

Я покачал головой и пояснил:

— Врачи запретили мне курить. Никотин — злейший враг для моих зрительных нервов. И вот однажды я взял эту пачку, с наслаждением выкурил

одну папиросу и закрыл. С тех пор ношу ее с собой, распечатанную и начатую. И всякий раз кладу перед собой, чтобы можно было в любой момент закурить. Кладу вот так, со спичками. Часто протягиваю руку и сдерживаюсь. Спросишь: зачем так? Хочу победить врага в открытом бою.

— И когда ж ты перестанешь возвать со своим врагом? — спросила Аня, удивившись такому способу борьбы.

— Когда рука перестанет тянуться к пачке,— ответил я.— И желание выкурить любимую папиросу окончательно исчезнет...

☆☆☆

Юсупов принял нас радушно. Крепко пожал Ане руку, порывисто встряхнул мою.

— Прощу к нашему шалашу! — произнес он.— Так, кажется, по-русски приглашают гостей?

Некоторое время, словно не зная, кому начинать, молчали. Неожиданно Юсупов спросил:

— Как думаете, чем закончится Сталинградская битва?

— Наши не сдадут город,— твердо ответил я.— Будут защищать до последнего, а не сдадут.

— Так и я думаю,— сказал Юсупов.— Этот город сдавать нельзя. Он символ нашей победы. И там должен наступить перелом. Окончательный и решительный. И он наступит, такой перелом...

Ташкент был далеко от Москвы и Сталинграда. Но уверенность, с какой он сказал о Сталинграде, показалась мне пророческой.

— На Сталинградском фронте немало узбеков,— с гордостью продолжал Юсупов.— И они там дерутся храбро, как настоящие джигиты. Многие из них погибли на подступах к этому городу... Голос его замер на высокой ноте. С минуту он сидел молча, как бы успокаиваясь. А глаза, продолговатые и черные, сверкали сталью. — Всеобщим мы занимаемся,— внезапно переменял он тему.— И хорошо, что вы тогда потревожили нас. Теперь воинские части нашего округа помогают органам всеобща — и материальной частью и преподавателями. А военный совет следит за этим со всей строгостью...

Он говорил так, будто я был у него не со своей бедой, а по делам всеобща, и я вдруг с особой остротой почувствовал, что не должен уходить в себя, замыкаться в свою скорлупу. Да, лечиться надо, победить болезнь и жить. Но не просто жить, а бороться, трудиться, творить.

Незаметно Юсупов заговорил обо мне:

— У нас тут, в Ташкенте, Филатов Владимир Петрович. Вместе со своим Одесским глазным институтом. Мы приняли его приветливо, институт обеспечили всем необходимым. И академик платит нам за это особым вниманием. Мы уже договорились с ним о вас. Он посмотрит и скажет, что делать, тогда вы поедете в горы.— И обратился к Ане: — Вы можете поехать с ним?

Аня вздохнула:

— Нет, к сожалению. У нас тут и сын маленький. Не на кого оставить.

Юсупов подумал и сказал:

— Ну, если на все время не можете, будете навещаться. Можете ездить туда с сыном. Машину получите в любое время. Звонить нужно прямо в гараж. Там будут знать...

Мы простились. Машина уже стояла у подъезда. Аня и я сели на заднее сиденье. Провожатый что-то сказал шоферу. Тот молча включил скорость.

Ехали через центр. В машину залетала людская разногласица. Над Ташкентом светило яркое солнце. Лучи его через раскрытые боковые окна падали на

лицо. Может, скоро я увижу этот ласковый свет? Ведь мы ехали к Филатову, которому многие слепые обязаны прозрением.

Через несколько минут машина остановилась. Мы вошли в подъезд, потом в комнату. Здесь провожатый просил подождать и скрылся куда-то.

Аня приблизилась ко мне и прошептала:

— Я очень волнуюсь. Что-то он скажет?

Я тоже волновался, но тщательно скрывал это. Аня немного успокоилась. Она достала из сумочки заключение московского консилиума, чтобы показать Филатову. Но надеялись мы, конечно, на него самого.

Провожатый вернулся с какой-то женщиной. Она приветливо поздоровалась и попросила следовать за ней. Прошли еще одну комнату и вошли в третью. Здесь кто-то взял мою руку и мягким голосом произнес:

— Здравствуйте!

Я ответил порывистым рукопожатием, догадавшись, что это Филатов.

— Здравствуйте, Владимир Петрович!

Он выпустил мою руку и сказал кому-то:

— Посадите его в кресло.

Меня усадили на жесткий стул с подлокотниками. Филатов сел напротив, коленками уперся в мои.

— Что там в Москве?

— Москва ждет, — ответил я. — Что-то должно произойти. И в самом скором времени.

— Да, — сказал Филатов. — Вся страна ждет. И ожидание — как перед грозой, после которой наступает прояснение, а воздух очищается от пыли...

Он долго смотрел в мои глаза. Заставлял меня поворачивать их вправо и влево, поднимать вверх и опускать вниз. А потом спросил, что предложили московские врачи. Аня дала ему заключение консилиума. Он прочитал, подумал и сказал:

— Давайте так и сделаем. Проведите этот курс. А потом приезжайте ко мне. Тогда будем думать, что дальше.

Я не выдержал и спросил:

— А что у меня, Владимир Петрович? И можно ли надеяться?

Филатов позвякал стеклышками, очевидно, укладывая их в футляр.

— Атрофия зрительных нервов. А о надежде... — Он помолчал и, в свою очередь, спросил: — Не правда вам не нужна?

— Нет, — ответил я. — Только правда. Какая б ни была.

Филатов помедлил, словно не зная, на что решиться, и мягко сказал:

— А с правдой давайте подождем. Посмотрим, что даст лечение. Тогда и поговорим...



Это оказался небольшой двухэтажный дом. Стоял он на ровном плато в горах недалеко от Ташкента. Вокруг дома — фруктовый сад. Но на деревьях уже не было плодов.

Меня поместили в одиночную палату на втором этаже. В комнате стояли кровать, платяной шкаф и небольшой столик. Полусветлая дверь вела на балкон.

Народу в санатории было немного. Встречались только в столовой. Там звучала узбекская и русская речь. А в остальное время кругом царил тишина. Больные бродили по саду или уходили пешеходными тропами в горы.

У меня был медицинский пост. Ежедневно, кроме воскресенья, дежурила медсестра Халима Шарипова. А ночью я оставался на попечении дежурной по

санаторию. Но я обходился и без нее. Сам ложился, сам вставал, убирал постель, одевался. И скоро так освоился, что управлялся не хуже иного зрячего.

Лечили уколами. Кололи по несколько раз в день. Пичкали таблетками. Одними — до обеда, другими — после. Принимал еще какую-то микстуру, похожую на самогон. Аня говорила, что от меня за версту пахнет лекарствами. Чувствовал я это и сам. А во рту постоянно ощущал привкус чего-то больничного.

Режим был строгий. Не очень обильная диета, достаточный сон, послеобеденный отдых и прогулки на воздухе. Под руку с Халимой я часами ходил по аллеям сада. Иногда отваживался и на далекие маршруты. Даже поднимался на невысокую гору. Там немного кружилась голова. Зато воздух был такой чистый, словно не вдыхался, а вливался в легкие.

Уже наступила зима, но здесь было тепло и почти каждый день светило солнце. Сквозь прозрачный воздух отчетливо проступал заснеженный хребет. Но меня по-прежнему окружала темнота, а все это я представлял со слов Халимы. Она почти без акцента говорила по-русски и без умолку рассказывала обо всем, что видела. Она казалась простой, скромной и счастливой. Однажды я так и сказал:

— Вы, наверно, очень счастливая, Халима?

Она прижалась ко мне плечом и с горечью ответила:

— Нет, я совсем несчастная. Даже несчастная. Может, самая несчастная на свете.

Сердце мое наполнилось жалостью.

— Что с вами? Почему?

Халима долго молчала. Наконец, с грустью сказала:

— Я некрасивая. Совсем, совсем некрасивая. Меня никто не любит. И я на всю жизнь останусь одна.

Ее слова поразили меня. Халима — некрасивая. А я думал: она красавица. Почему же? И отчего она думает, что никто не полюбит ее?

— Это неправда, — сказал я. — Вы красивая. Я знаю. И чувствую. Пусть не лицом — душевная красота дороже всякой другой. И вас любят. Вас нельзя не полюбить.

— Я все понимаю, — печально ответила Халима. — Вы успокаиваете меня. Благодарю вас! Но это горе останется со мной навсегда.

— Неужели никто не любил вас? — спросил я после некоторого молчания. — И вы сами, неужели вы еще не испытали любовь?

Халима вздохнула, и я понял, что ей нелегко было говорить.

— Были разные, — ответила она. — Приставали. Но я видела: им хотелось позабавиться. А почему? Красивые надоели. Говорят же, и белый хлеб надоедает. И потому временами хочется черного. А мне такая любовь не нужна. Я не хочу быть черным хлебом. Мне нужен человек на всю жизнь. Который принадлежал бы только мне и у которого была бы только я. А такого не будет...

Я уже не решался успокаивать ее. И сама она больше не заговаривала об этом. А спустя несколько дней вдруг сказала:

— Жена у вас красивая. Такая красивая, что глаз не отведешь. И вас очень любит. Так любит, что, когда смотрит на вас, вся сияет.

Я удивился. Они никогда не встречались. Аня приезжала по воскресеньям, когда Халима была выходной. Чаще одного раза в неделю Аня стеснялась просить машину. А воскресенье выбрала потому, что в этот день я оставался без сестры.

— Разве вы видели мою жену?

— Видела, — ответила Халима. — В прошлое воск-



ресенье приходила сюда: надо было. Вы сидели в саду на скамейке. А я напротив вас. Вы не знали этого, а жена ваша не догадывалась, кто я. И я наблюдала за вами. Она очень, очень любит вас.— И помедлила.— Да вас и нельзя не любить.

Я повернулся к ней, словно мог увидеть по лицу, шутит или говорит правду.

— Что же во мне хорошего?

— Все,— не задумываясь, ответила Халима.— Весь хороший. И потому жена так любит вас.

Неожиданная мысль мелькнула в голове, и я спросил:

— А вы бы полюбили меня, если бы жена бросила?

— Жена вас никогда не бросит,— убежденно ответила Халима.— Что бы ни случилось, вы не расстанетесь. А если б вы не были женаты, я бы полюбила вас. Полюбила бы всем сердцем и на всю жизнь.

— Даже такого? — спросил я, все еще сомневаясь в ее искренности.— Слепого?

Она снова прислонилась ко мне плечом.

— Даже незрячего.

Я крепко сжал ее руку.

— Благодарю вас, Халима!



В санатории был свой терапевт. А невропатолог и окулист приезжали из Ташкента. Они внимательно осматривали меня и говорили, что все идет, как надо. И сам я чувствовал, что все идет, как надо. Нервы приходили в порядок, сон становился крепче, я уже не вздрагивал при малейшем звуке. Но темнота не рассеивалась. Казалось, немного поредела, стала не такой плотной. Но, может, это только казалось. Да и значения это не имело. Даже если и впрямь поредела, по-прежнему оставалась непроницаемой. И все так же, точно траурным пологом, закрывала от меня чудесный, красочный мир.

Самыми счастливыми были воскресные дни, когда Аня приезжала с Володей. Приезжали они утром, и мы весь день до вечера втроем бродили по саду. Володя без конца рассказывал о своих играх с друзьями и забавных приключениях, которыми полна была его жизнь. Хватало что поведать и Ане. Разумеется, она тоже говорила о сыне, о его делах и проделках. И потому часто они рассказывали вместе, поправляя и дополняя друг друга. А я слушал и так увлекался их рассказами, что забывал о себе.

Володя не заговаривал со мной о слепоте. Он знал, что я не вижу, но не решался на расспросы. Должно быть, детским чутьем угадывал, как нелегко мне говорить об этом. Все же неведение, как видно, мучило его, и он не выдержал. Однажды, когда мы с Аней присели на скамью в саду, он остановился передо мной и в упор спросил:

— Папа, отчего ты ослеп?

Слова его прогормели, как выстрел. Растерявшись, я сказал, что пришло в голову:

— Оттого, что глаза не видят.

— А отчего они не видят? — продолжал Володя.— Они ж у тебя, как у всех.

— Значит, не как у всех, если не видят.

— Нет, как у всех,— настаивал Володя, и голос его начинал звенеть.— Я же смотрю, какие у всех, и с твоими сравниваю. Такие же, несколько не хуже.

Я не знал, как продолжать разговор. За меня сказала Аня:

— Папа в Москве простудился и заболел. Но пришлось и больным работать. Надо было лежать,

а он работал. И произошло осложнение. И не на что-нибудь, а на глаза. И они перестали видеть.

С минуту Володя пристально смотрел на меня. Потом уткнулся лицом мне в колени и зарыдал.

— Я не хочу, чтобы ты был слепой! — выкрикивал он, содрогаясь всем телом.— Не хочу! Будь, как все! Я не хочу, чтобы у меня был слепой папа!..

Я гладил его мягкие волосы и не мог произнести ни слова. Спазмы сдавливали горло. По щекам тоже скатывались слезы. Я знал, что принесу и сыну не радость, а горе. Но не думал, что оно будет для него таким тяжким. И теперь готов был убить себя за бессилие. Аня притянула Володю к себе и стала ласково успокаивать его.

— Не плачь, мой мальчик! Будет и наш папа видеть. Обязательно будет. Вот вылечится и станет, как все. Не плачь, родной! Он еще будет тебе книжки читать. И солнце жаркое нарисует. Настоящее, ташкентское. Успокойся, малыш! Будем и мы с тобой счастливы. Скоро папа порадует нас. И ты уже не будешь горевать...

Под ласковые слова матери Володя плакал все тише и скоро совсем затих. Потом поцеловал мать. Я услышал, как чмокнул он губами. А меня не поцеловал. И до самого вечера ходил один. Ходил, как взрослый, медленно, задумчиво. Возможно, не поверил тому, что сказала мать, и, наверное, серьезно задумывался о будущем.

А в следующее воскресенье Аня приехала одна. Володя отказался ехать с ней.

— Не поеду, пока папа не будет видеть,— сказал он.— Пусть скорей вылечивается и становится, как все. Тогда поеду.

Подражая сыну, Аня рассказала об этом в шутилом тоне. Но я до боли в сердце почувствовал, как нелегко им, родным и близким. Может, даже трудней, чем мне самому, не видящему их. Конечно, я не был виноват в этом. Но и они расплачивались за то, в чем были неповинны, дорогой ценой.



Радио в санатории не было. Приемник, украшавший гостиную, молчал. Вышли из строя какие-то детали. А достать новые нигде было. С тех пор, как началась война, их не выпускали. И приемник лишь вызывал раздражение.

И газеты приходили в этот глухой угол нерегулярно. А к тому же в небольшом количестве. Одна газета на троих. Многие поджидали почту у входа на территорию и вырывали газеты прямо из рук почтальонши.

А Халима моя почти всегда возвращалась с пустыми руками.

— Опять не досталось,— виновато объясняла она каждый раз.— Последнюю передо мной забрали...

И все же мы были в курсе событий. На фронтах, несмотря на сильные морозы, шли жаркие бои.

Особенно волновали нас известия о Сталинграде. Там разгоралось небывалое сражение. Фашистские танки яростно атаковали укрепленные окраины города, бомбардировщики обрушивали на жилые кварталы тонны бомб. Пламя пожаров, поднимавшееся к небу, озаряло все вокруг. Но защитники славного города не сдавались.

Неожиданно приехал Рахимов. Нашел меня в саду, неловко обнял. Что-то сказал Халиме по-узбекски и, когда она отошла, взял меня под руку.

— Погуляй со мной...

Некоторое время мы ходили молча. Потом Рахимов сказал:

— Я поддерживаю связь с врачами, которые лечат тебя. Они говорят: лечение проходит хорошо.—

И, взглянув мне в лицо, спросил:— А сам как чувствуешь? Лучше или нет?

Я старался подавить неприязнь к нему. Конечно, он не хотел того, что случилось. Может, и правда, не мог сделать, как обещал? В то же время, зачем было обещать? Уж лучше бы сразу отказался. Тогда бы нас не постигло горе. Через эвакупункт Аня с двумя детьми получила бы комнату. Может, ту же самую, которую получила с помощью Рахимова. Все же я ничем не выдал себя и спокойно ответил:

— Пока ничего хорошего. Хожу с поводирем.

Опять помолчали. И вдруг Рахимов глухо, словно его душило что-то, заговорил:

— Я понимаю. Все понимаю. Иначе не можешь. Трудно. Приехал и не зашел. У Юсупова был, а ко мне не зашел. Понимаю. Трудно со мной. Все понимаю. И хочу откровенно. Я тоже переживаю. Мне тоже нелегко. Я мог бы сделать, что сделал, в первый же день. Но хотел получше. Мне обещали, и я все ждал. И вот так получилось. Я очень переживаю. Твой мальчик у меня перед глазами. Беленький, с вихорком. Славный паренек. Я бы отдал любого из своих. Но так не бывает. Мой не заменит тебе твоего. Это тоже понятно. И я прошу тебя. У меня не было зла. Доброта обернулась злом. Хотел сделать лучше, а сделал плохо. Тебе причинил беду и свою совесть подвел. И сейчас прошу тебя. Прошу от сердца, от души, как родного брата. Сними тяжесть. Поверь, что невольно. И прости!

Он с трудом выговаривал слова, запинаясь, путаясь. Я чувствовал, ему было нелегко, но жалости не испытывал. Да, он не хотел зла, но и добра у него не было. То, что имела теперь Аня, он мог помочь получить не через два месяца, а через два дня. А больше ей и не надо было. Так почему же заставил всю зиму жить с детьми в холоде? Неужели не понимал?

И все же надо было простить его. Его муки не облегчали моих страданий. Да и утрату уже не вернуть. Так зачем же носить камень за пазухой! И я сказал, стараясь быть искренним:

— Пожалуйста, не тревожься! Ничего плохого не держу в сердце. Сам во всем виноват. Надо было делать, как все. С двумя детьми Аню горсовет ваш устроил бы сразу. Я знал это, а поступил иначе. И потому не имею права винить других. А тебя, если это снимет тяжесть, прощю.

Рахимов порывисто обнял меня, поцеловал, словно мое прощение и в самом деле принесло ему облегчение.

— Спасибо тебе большое! — дрогнувшим голосом произнес он. — Я знал, что ты добрый, и рад, что не ошибся. Пусть русский мальчик, который лежит в узбекской земле, зовет нас не к вражде, а к дружбе.

После этого он заторопился. Пора в Ташкент, где ждала работа.

— Побудь тут, — сказал Рахимов, выпуская мою руку. — Я найду твою сестру.

Он ушел и скоро вернулся с Халимой. Простились у калитки, где стояла его машина, и он уехал. А Халима опять повела меня в сад. Я чувствовал усталость, но не отказался. Прогулка в саду считалась лечебной процедурой. А я строго выполнял все, что предписывали врачи.

☆☆☆

Случилось это, когда курс лечения был закончен и врачи ломали голову над тем, что делать дальше. Всю ночь я спал как убитый. Даже ни разу не повернулся, чего не было уже давно. А проснувшись,

чуть не лишился сознания. Темнота исчезла. И глаза видели. Перед ними была картина в деревянной раме. Большой букет роз в красивой вазе.

Я не отрывал глаз от картины. Боялся моргнуть. Казалось, стоит зажмуриться, как все погаснет. И никогда больше не появится. И я изо всех сил держал глаза открытыми. Но долго так не могло продолжаться, и я моргнул. Моргнул раз, другой, третий. Закрыв глаза и снова открыл. Картина не исчезла. Розы все так же горели на полотне.

Присев на постели, я осторожно повел глазами. И различил зеленые стены, белый потолок, желтый пол. В широком окне увидел мягкий свет утреннего солнца. А за окном — деревья, украшенные багряными листьями.

Дрожа от волнения, я встал, босиком прошелся по комнате. Нет, это не сон, а радостная явь. Я вижу, вижу своими глазами. Темноты уже нет. Правда, осталась дымка, прозрачная кисея, но и она исчезнет. И мои глаза будут, как у всех зрячих.

Я оделся, обулся и вышел на балкон. Свежий воздух ласково обнял меня. Перед домом был сад. Ровными рядами стояли яблони. Между яблонями лежали аллеи, окаймленные зелеными бордюрами. А за садом виднелись горы. Виднелись сквозь серый туман. И трудно было разобрать — то ли это настоящий туман, то ли вдалеке сгустилась моя прозрачная дымка?

Перед домом пробежала женщина в белом халате. Откуда-то на дорожку вышли старик и старуха. На обоих серые плащи и красочные тюбетейки. Старуха держала старика под руку, а он с увлечением рассказывал что-то.

Проходя мимо, они посмотрели на меня. Старуха шепнула мужу что-то. Тот закивал головой. Потом они снова посмотрели на меня. Посмотрели с сожалением, как на слепого. А я видел. Захотелось сказать им об этом. Сказать громко, во весь голос, чтобы услышали и другие, считавшие меня слепым. Я приготовился прокричать такие слова, но стук, раздавшийся позади, остановил меня. Вернувшись в комнату, я увидел девушку в белом халате. Это была красивая узбечка. Она смотрела на меня большими черными глазами. А потом тихо, чуть ли не с испугом спросила:

— Вы что?

— Да! — воскликнул я. — Вижу! Все вижу! И вас, Халима! Вы такая красивая! — И, подойдя к ней, сжал ее плечи. — Все вижу! Конiec низо! Да здравствует утро!

Вскрикнув, Халима бросилась из комнаты. Понеслась докладывать врачу. О том, во что, может, и сама еще не верила. Я не ошибся. Вскоре они вбежали в палату и замерли, глядя на меня. Я улыбнулся и взволнованно сказал, угадав в пожилой женщине врача:

— Это правда, доктор! Все вижу. Хотя не совсем ясно, но вижу.

И стал рассказывать, как выглядела она. Даже не упустил родинку под левым глазом. Она рассмеялась и сказала:

— Не родинка, а бородавка. Но это неважно. Важно, что вы видите. Какое счастье! — И обняла меня. — Поздравляю вас! От всего сердца.

В свою очередь, я обнял ее, поцеловал в щеку.

— Спасибо вам, доктор! Спасибо за все! Я никогда не забуду вас! — Потом обнял Халиму, у которой пылали щеки — И вам спасибо, сестра! За ваш труд и терпение! Прошу простить, если капризничал!

Халима еще пуще зарделась и смущенно воскликнула:

— Ой, что вы! Какие капризы? Да вы у нас самый лучший!

Чтобы окончательно уверить их, что прозрел, я застегнул пуговицу на халате врача. Они радостно рассмеялись. Халима даже захлопала в ладоши. А я попросил:

— Можете исключить меня из списка больных и упростить в моей палате медицинский пост.

Но врач отрицательно покачала головой.

— До консилиума все останется по-прежнему. Вы больной, и пост не упростится.

— А когда будет консилиум?

— Сегодня у нас суббота,— сказала врач.— Во вторник придут консультанты. И может, сразу после этого соберемся.

Еще раз поздравив меня, она вышла. А Халима осталась дежурить на посту. Окинув взглядом прибранную комнату, она сказала:

— Очень хорошо. Теперь пойдемте гулять. Потом будем завтракать. А потом процедуры.

— Нет, постойте!— остановил я ее.— Сначала скажите, ради чего вы обманывали меня?

— Ради вас самого,— ответила Халима, опустив глаза.— Извините!

— Охотно извиняю. Но как это — ради меня?

Халима снова подняла на меня блестящие глаза.

— У вас было большое горе. Я очень жалела вас. И думала так: если рядом с вами будет человек, у которого тоже большое горе, вам станет легче. Вы скажете: не один я, другие тоже страдают. Вот я и обманула.

— А как на самом деле?

— На самом деле?— переспросила Халима, и смуглое лицо ее засветилось мягкой улыбкой.— Я замужем. Муж на фронте. Командует ротой. Орденом награжден. И я счастлива.

— Значит, все, что вы говорили мне, неправда?

— Нет, не все,— сказала Халима.— Есть и правда.

— В чем же она, эта правда?

Халима снова опустила глаза, помолчала и опять глянула на меня.

— Если б вы не были женаты, а я не была замужем, я бы полюбила вас. Вот это было без обмана.

Секунду мы смотрели друг на друга. Потом я спросил:

— Даже такого, как сейчас, не слепого?

Халима кивнула и тихо, признаваясь в сокровенном, произнесла:

— Даже такого, зрячего...



А на следующий день, в воскресенье, приехала Аня. Я встретил ее там, где останавливались машины. А раньше встречал в палате: в выходной некому было вести за ворота.

Увидев меня, Аня остановилась, и на лице у нее отразилось тревожное удивление. Потом она медленно и осторожно подошла ко мне, посмотрела в глаза и, обняв меня, заплакала. Только теперь это были слезы радости. Я понимал это и не удерживал ее. Она много плакала с горя. Пусть же вволю поплачет с радости.

Вытерев слезы, Аня снова посмотрела на меня. И словно все еще не веря тому, что видела, тихо спросила:

— Ты видишь меня?

— Вижу,— ответил я.— Ты все такая же. Только седина больше.

— Да,— со вздохом подтвердила Аня.— Совсем как старуха.

Я поцеловал ее и горячо возразил:

— Нет! Ты все такая же молодая. И седина не

старит тебя. Теперь я сам это вижу. И люблю тебя еще больше...

Врач и Аня сказали то же: необходимо посоветоваться с консультантами и собрать консилиум.

— Если он решит, что опасности больше нет, мы отпустим его,— говорила она.— Нет ничего приятней, чем выздоровление больного. Мы все переживали за вашего мужа. И теперь все радуемся его выздоровлению. Только бы оно было устойчивым...

Но консультанты не пожелали так скоро расстаться со мной. Они предложили побыть под врачебным надзором еще неделю. Аня тоже посоветовала не торопиться.

— Мало ли, что может произойти?— сказала она.— Лучше еще неделю побыть здесь, чем снова надолго вернуться сюда...

И я уступил, хотя так и подмывало сбежать. Время, которое я провел здесь, как в темнице, казалось вечностью, и не терпелось поскорей вырваться на волю.

Но неделя не показалась трудной. Я ходил по саду без сестры. Один отправлялся в горы. Я чувствовал не только подъем духа, а и прилив сил. И без усталости бродил повсюду, взирая на все так, как будто впервые видел.

И вот он наступил, радостный день. Вместе с Аней приехал и Володя. Осторожно подошел ко мне, недоверчиво посмотрел в глаза. Я рассмеялся, подхватил его, приблизил к лицу.

— Смотри, сын! Папа твой, как все! И горю нашему конец!

Он обвил мою шею руками, прижался ко мне. Потом опять посмотрел в глаза и серьезно произнес:

— Спасибо тебе, папа! За то, что опять видишь!..

Вместе мы собирали и укладывали мои пожитки. Аня рассказала, как звонила Филатову. Хотела, чтобы поехали к нему. Надо было посоветоваться, как быть дальше. Да и он просил после лечения показаться. Но ей ответили, что Владимир Петрович болен и никого не принимает.

— Может, ты подождешь в Ташкенте?— сказала Аня.— Ты же не ограничен сроком?

— Сроком не ограничен,— подтвердил я.— А ждать не могу. Да и когда он выздоровеет? В таком возрасте можно долго пролежать. Нет, поеду в Москву. А там видно будет. Понадобится, опять зайвлюсь.— И с уверенностью добавил:— Да ты не тревожься. Страшное позади. Теперь со мной ничего не случится. Разве что смерть подстережет где-либо на фронте. Так это ж будет почетная смерть...



И снова Москва, родная столица. Окраина ее проплывает под крылом самолета. Он мягко опускается на бетонную дорожку, очищенную от снега. И на приглушенных моторах подруливает к аэровокзалу.

Встретили меня Шумов и Федосов. С двух сторон подхватили под руки. Но я отстранил их. И не без гордости сказал:

— Спасибо! Сам пойду!..

Через полчаса мы въехали в Москву. Она была в глубоком снегу. Хребтами он возвышался на улицах. А крупные снежинки продолжали падать с облачного неба. И все кругом рядилось в причудливые снежные кружева.

По улицам торопливо бежали москвичи. Запорошенные снегом, они кутались в меховые воротники. Из рта у них валил густой пар, будто все усердно курили. А щеки девчат румянились от жгучего мороза.

Но в машине было тепло. И Федосов, как всегда, вел ее уверенно. Он любил свою работу и к машине относился, как к живому существу. Ласково разговаривал с ней, чистил, холил, не жалея труда. Только одно не нравилось: выжимал из нее все, на что способна. А от меня, когда я пытался урезонить его, отмахивался:

— Война же!..

Хотелось сначала побывать дома. Шумов же торопился в редакцию. Надо было сдать в номер какой-то материал. И мы, даже не обменявшись новостями, расстались. Федосов вызвался подбросить его в «Комсомолку». А я с чемоданом поднялся на третий этаж.

В квартире было чисто и опрятно. Динамик радиосети на кухне передавал марши. Была приготовлена еда. Та же тушенка с картошкой и чай. На столе в тарелке под салфеткой лежали сухари, а в блюде леденцы вместо сахара.

Но я недолго пробыл дома. В Главсевобуче меня ждал Пронин. Об этом сказал Федосов, вернувшийся из «Комсомолки». Ни о чем другом шофер не обмолвился, и я догадался, что в управлении меня ждет не только Пронин, а и что-то важное.

Пронин долго тряс мою руку, улыбался всем лицом.

— Превосходно! — басил он, разглядывая меня. — Загорел. Даже покрасивел. Ха-ха! А как упрямылся. Ты. Помнишь? «Буду слепым комиссарить». Что было бы, послушайся ты меня?

И принялся расспрашивать, как лечился, что говорят врачи, здоровы ли жена и сын, как летелось одному. А когда я рассказал обо всем, побарабанил пальцами по столу и сказал, смущенно покашляя:

— А у нас тут для тебя новость. Пока ты лечился, принято постановление. И ты уже не комиссар Главсевобуча. Освобожден по состоянию здоровья. В связи с заболеванием органов зрения.

Глаза мои сами собой широко раскрылись, как-бы желая показать, что они такие же, как у всех.

— Я же вижу, Николай Нилыч! Вылечился. Один приехал в Москву.

— И слава богу! — сказал Пронин. — Будем надеяться. А только атрофия, извини за прямоту, процесс необратимый. Против такой болезни медицина пока что бессильна. И армия считает таких больных негодными к военной службе. С военного учета ты снят.

Обида сменилась возмущением.

— Она у меня и тогда была, атрофия, когда назначали комиссаром.

— Это была ошибка, — сказал Пронин. — А произошло она потому, что там, где назначали, не знали о твоей болезни.

— Моя болезнь не мешала мне выполнять свои обязанности.

— Верно, — подтвердил Пронин. — И в этом все дело. Ты должен был беречься. А беречься не мог. Обязанности не позволяли. И, может, это явилось причиной. Тебе нужен строгий режим, условия для лечения. А это в армии, да еще во время войны, невозможно. — И мягко добавил: — А ты не расстраивайся. Когда это решали, не в последнюю очередь думали о тебе. Хорошо, что видишь. Очень хорошо! Но двойная нагрузка не по тебе. Хватит одного ЦК комсомола.

— В ЦК знают об этом?

— Конечно! — подтвердил Пронин. — Со всеми согласовано. И все согласилось.

Я встал, прошелся, чтобы успокоиться, и остановился перед ним.

— Пусть будет так. Партии видней. А мне тут больше нечего делать.

Пронин вышел из-за стола, обнял меня.

— Я с удовольствием работал с тобой, — сказал он дрогнувшим голосом. — И с удовольствием работал бы до конца войны, если бы не эта атрофия. Но расстаемся мы, чтобы опять работать вместе. Будем и дальше крепить связь всеобуча с комсомолом. И я надеюсь, теперь ЦК комсомола еще больше будет помогать нам.

Мы простились. Я зашел в свою комнату. Захотелось проститься с ней. Здесь пережито немало радостного и тревожного.

Вошел Новичков, грустно поздоровался.

— Вы вроде и не рады, что я вылечился? — спросил я.

Новичков простодушно замахал руками.

— Что вы, что вы! — воскликнул он. — Как можно этому не радоваться? — И глухо добавил: — Жалко, что от нас уходите. Потому такое настроение.

— А вы разве останетесь здесь? Разве не вернетесь со мной в Цекапол?

— Останусь в армии до конца войны. И буду служить до победы.

Я не скрыл сожаления. Мы неплохо работали. И могли бы продолжать там, где начали...

Разговор прервал Блатов. Он ворвался в кабинет с радостной улыбкой на краснощеком лице и совсем не по-военному сжал мои плечи.

— Услышал и прибежал, — взволнованно проговорил он. — Очень рад за вас. И весьма сожалею.

— Ничего, Илья Семеныч! — сказала я и тоже не по-военному похлопал его по плечу. — Мы еще поработаем с вами. Я останусь в ЦК комсомола. Останется и дружба комсомола с всеобучем.

— Нет, мы с вами уже не поработаем вместе. Когда вас освободили, я написал рапорт в Политуправление с просьбой послать на фронт. И просьба моя удовлетворена. В ближайшие дни отправляюсь на передовые позиции.

Теперь я потискал его за плечи и с чувством произнес:

— Желаю вам удач в борьбе с врагом и благополучного возвращения с победой!..

☆☆☆

В приемной за столом сидела Таня. Она была в синем костюме и белой кофточке. Только светлые волосы оставались после армии короткими.

Я смотрел на нее, не скрывая удивления. Кого угодно, а ее никак не ожидал встретить здесь. И готов был поверить в привидение. Но это была она, и я, опомнившись, протянул руку.

— Здравствуйте, Таня! Надеюсь, меня не обманывает зрение?

Она ответила на приветствие и с улыбкой сказала:

— Нет, зрение не обманывает вас.

— Значит, вы опять здесь?

— Да, опять, как видите.

— И будете работать со мной?

— С удовольствием, если не откажетесь.

— Даже с радостью. Я ведь тоже сожалел. Но иначе нельзя было. Адынтанов женского пола в армии не было и пока нет...

В кабинете был полный порядок. На письменном столе лежало толстое стекло с округлыми краями. Под ним — список телефонов ответственных. Длинный стол у глухой стены покрывало зеленое сукно. На окнах висели тяжелые шторы с маскировочной подкладкой. Три телефонных аппарата треугольником располагались на маленьком столике.

Я сел за стол. Да, кабинет выглядел прежним. Но работать здесь предстояло заново. И в душе смешивались радость и горечь. Радовался, что вернулся в родной дом, каким был ЦК комсомола. А горечь

испытывал от сознания собственной неполноценности в трудное время.

Впрочем, встреча с Таней немного смягчила горечь. Аккуратная, заботливая, она была надежной помощницей. Два года совместной работы сблизили нас, и я доверял ей во всем. А теперь больше, чем раньше, мне нужна была внимательная помощница.

Я вызвал ее. Она вошла строгая, словно готовясь держать экзамен. И остановилась передо мной, солдатски опустив руки.

— Ну, так рассказывайте, что случилось. Почему сменила военный костюм на гражданский?

— Отвоевалась,— ответила Таня, прямо глядя на меня.— Вот и переоделась.

— А почему отвоевалась?

— Вышла замуж, забеременела.

Откровенность ее смутила, и я торопливо спросил, будто это было главное:

— А муж кто?

— Лейтенант нашего подразделения,— сказала Таня.— Да я, помнится, говорила вам о нем. Тот, который сначала нос задирает. Так вот он потом так влюбился, что чахнуть стал. Я тоже полюбила его.—И вздохнула, словно сожалела о чем-то.— Время военное, а любовь свое взяла. И мы поженились. По всем правилам, с разрешения командования.

Она выглядела все такой же стройной. И не верилось, что должна стать матерью.

— А когда ожидается боевое пополнение?

Таня смущенно рассмеялась и махнула рукой.

— Да еще не скоро. В конце лета.

— А до этого — декретный отпуск?

Лицо Тани посуровело, и она снова опустила руки по швам.

— Декретного отпуска не будет.

— Почему? — не понял я.— Разве закон такой отменен?

— Война,— объяснила Таня.— Не до отпусков. Буду работать до последнего дня.—И вдруг встрепенулась.— Ой, простите! Совсем забыла. Одну минутку.— Она выбежала из кабинета и, вернувшись, протянула мне скатанный ремень.— Ваш подарок. Еще раз спасибо. Но мне он больше не нужен. А вам может пригодиться.

Я бросил ремень в ящик стола.

— А что же не подарила мужу?

— Подарки не передаривают. Да ему и не нужен. Свой имеется.— И деловито спросила: — Там есть бумаги. Давать?

— Давайте,— кивнул я.— Начнем с бумаг.

Она принесла несколько папок, положила на стол.

— Больше ничего не надо?

— Спасибо, пока ничего.

Она вышла. А я подумал, что прежде надо позвонить Михайлову и доложить о возвращении не только из Ташкента, а и из Главсевобуча. И спросить, чем заниматься на этом месте, которое оставалось за мной.

У Михайлова было какое-то совещание. Оно подходило к концу, и он пообещал позвонить сразу, как освободится.

☆☆☆

Я с жадностью набросился на работу, которую любил и по которой соскучился. Да, я любил работать в комсомоле. И вся моя жизнь была связана с ним. И вот теперь, признанный негодным к военной службе, я снова полностью погрузился в родное дело.

Таня оказалась еще более аккуратной. Видно, армия в этом отношении принесла пользу. Теперь она все делала точно и умело. Понимала меня с полуслова, с одного раза запоминала даже трудные поручения.

Руководители отделов, которыми я снова занимался, были те же, что и до войны. Пока не было только помощника. А он очень нужен был. Приходилось много читать. Я же читал медленно. Глаза быстро уставали. Помощник облегчил бы работу. Он прочитывал бы материалы и докладывал содержание. Тогда мне не пришлось бы читать все подряд.

Очень выручила Таня. Она раздобыла где-то лупу, большую, с костяной ручкой. Вначале я ничего не понял и с недоумением вертел в руках стекло, обрамленное медью. Заметив это, Таня сказала:

— Когда вы читаете, у вас краснеют глаза. Попробуйте с лупой. Может, легче будет?

И правда, с лупой дела пошли легче и быстрее. Она увеличивала буквы и не позволяла им прыгать в строчках. Оттого не ощущалось прежнего напряжения в глазах. И я прочитывал бумаги почти так же, как в лучшие времена.

...Радио отвлекло меня. Музыка сменилась позывными. Я увеличил громкость. Почти тут же комнату заполнил звучный голос диктора:

— Внимание! Говорит Москва! В последний час. Передаем специальный выпуск Совинформбюро...

И дальше сообщалось о том, что наши войска окружили двухсоттысячную армию немцев под Сталинградом. Как обрадуются люди, как воспрянет народ, как загорится он еще большей решимостью выбросить врага из нашей страны!

Когда диктор замолчал, я выключил приемник. Какая-то сила потянула меня на улицу. Я выбежал из кабинета. Тани в приемной уже не было. Из коридора доносились возбужденные голоса. Это работники ЦК спешили к лестнице. С каждым этажом на ней становилось все больше людей. А на улице мы вывалились толпой. Она уже была запружена народом. В людском потоке я шел широким шагом, чувствуя необыкновенный подъем духа. Вот оно, свершилось долгожданное. Сломлен хребет гитлеровской машины. Двести тысяч фашистов в тисках наших армий!

Незнакомая женщина прокричала что-то на ухо. Я тоже прокричал что-то в ответ. Она вдруг, взяв меня под руку и выровняв шаг, высоким голосом запела «Катюшу». Я тоже запел во все горло. Подхватили песню другие. И скоро улицу заполнил многоголосый хор. Так, не жалея глоток, выражали мы свою радость.

☆☆☆

Держа лупу перед глазами, я читал справки на руководящих работников, подлежавших утверждению в ЦК ВЛКСМ. Это были больше всего секретари и заведующие отделами обкомов освобожденных областей.

Работа подвигалась медленно. Уже и через лупу буквы прыгали, а строчки расплывались. От напряжения болела голова, а малейший звук высекал искры в глазах. Приходилось прерывать работу, чтобы передохнуть. В такие минуты я откидывался на спинку стула, закрывал глаза и безжалостно поносил себя.

«Сдурел ты, что ли? Работаешь чуть ли не в теплице, а пользы от тебя — на грош. Брал бы пример с рабочих. Они неделями из цехов не вылезают. И никто не хнычет. А ты размагнитился. Неужели ж тебе не совестно?..»

И снова читал анкеты, коряво написанные биографии, характеристики. Кому и зачем это нужно? Ребята уже работают. Никого из них мы не отстраним. Так на что же это утверждение?..»

Опять запрыгали буквы, поплыли строчки. Я положил лупу, откинулся назад и снова мысленно набросился на себя

«Да, распустился ты, брат! На фронт бы тебя, на самые передовые. Бросками в атаку с автоматом. Сразу бы очухался. И хворобы след простыл бы. А уж если бы вражеская пуля сразила, что ж, такова судьба. Может, до этого сам уложил бы десяток-другой фашистов. Неплохая была бы польза..»

Но надо же читать. Снова беру лупу, раскрываю очередную папку...

Неожиданно вошел Громов. С тростью в руке и улыбой на лице. Сжал меня в объятиях. Я почувствовал, что руки у него срослись, как надо.

— Здорово, чертяка! — произнес он. — Рад лицезреть! Только что это ты так швыдко сменил военный мундир на гражданскую робу? Или войну за тебя должны выигрывать другие инвалиды?

Я усадил его в кресло, сам сел напротив.

— Когда прибыл?

— Вчера вечером, — ответил Громов, переходя на серьезный тон. — А сегодня побывал в своем заведении. И вот в родной комсомол завернул. Надо же проводить одноклассников. — Он вдруг сморщился и жалобно продолжал: — Ужасно есть хочу. Кишки марш играют. Может, покормимся?

Я попросил Таню заказать что-нибудь в буфете. И пока там стряпали, мы делились своими бедами. У него и впрямь все обошлось благополучно. Срослись кости, зарубцевались раны. А укороченная нога не очень беспокоила.

— Пока палкой подпираюсь, — говорил Громов, показывая на старинную трость. — Но думаю, это поначалу. А как натренируюсь, буду хромать и без подпорки. — И пылливо посмотрел на меня. — А твои как дела? У тебя, кажись, посерьезней, чем у меня?

Я рассказал обо всем, что было со мной. Громов подвигал темными бровями и сказал:

— Аню надо возвращать домой. Без нее тебе нелегко.

Я и сам думал о том же. И с каждым днем все сильнее чувствовал, как неоставало мне семьи.

— Аня очень нужна, — сказал я. — Без нее трудно. Но это же от нас не зависит. Семьям разрешение на возвращение в Москву пока не дают.

— Завтра начнут давать, — сказал Громов. — Под Сталинградом-то немчуру разгромили, устранена опасность большого окружения Москвы, вот и разрешено возвращение москвичей домой. Давай команду управделам, чтобы завтра мчались в Моссовет за пропусками для наших домочадцев...

Буфетчица принесла бутерброды и чай. Мы принались за еду. Я думал о новости, которую принес Громов. Значит, Аня и Володя скоро будут в Москве. Шумов заботливо помогал мне, поддерживал порядок в квартире. Все ж это было не то, что надо. Аня лучше наладит и мою жизнь и мое лечение.

— А помнишь, я рассказывал тебе об одном нашем десаннике? — прервал мои мысли Громов. — Который отказался прыгать с парашютом? И которого приговорили к расстрелу. Помнишь?

— Еще бы не помнить! — сказал я. — Такие вещи на всю жизнь остаются в памяти.

— Так вот, — продолжал Громов. — Сегодня узнал. Парень проявил храбрость. Тяжело раненный, целую роту фашистов уничтожил из пулемета. К званию Героя представлен. — И, отодвинув пустой стакан, добавил: — Вот она какая, наша жизнь. К ней нель-

зя подходить с одинаковой для всех меркой. И требования к ней даже во время войны надо предъявлять не формально, а со смыслом...

Поговорив еще немного, мы расстались. Громов заковылял по своим делам. А я позвонил управляющему делами и предложил завтра же заняться оформлением пропусков на возвращение наших семей в Москву.

☆☆☆

Вскоре после этого в Москву прибыл Филатов. Сказала мне об этом лечащий врач. Вернувшись в Москву, я побывал у нее. Рассказал о лечении и о встрече с Владимиром Петровичем. Посетовал, что из-за болезни академика не попал к нему после лечения. И вот теперь врач, вспомнив наш разговор, позвонила.

— Вам надо показаться ему, — посоветовала она. — Завтра с трех дня он будет принимать у нас. Я записала вас к нему...

Так мы снова встретились. Он вспомнил меня и, оправдываясь, сказал:

— Мне передавали. Ваша супруга звонила. Но я был болен.

— Мы очень сожалели, — признался я. — Но у меня не было возможности ждать. Должен был срочно выехать в Москву. Намеревался позже прилететь в Ташкент. И очень рад, что вижу вас здесь.

— Я прибыл сюда на несколько дней, — продолжал Филатов, с интересом рассматривая меня. — Тоже неотложные дела. — И заметил: — В тот раз, помнится, вы были военным?

— Комиссарил в Главсевобуче, — подтвердил я. — А теперь демобилизован со снятием с военного учета. И все из-за этой атрофии.

— Да, — согласился Филатов. — С таким заболеванием в армии делать нечего. И может, хорошо, что вас уволили. Военная служба требует большого напряжения нервов. Но я рад, что вы обходитесь без помощи. Пребывание в Ташкенте не было напрасным.

— Очевидно, результат проведенного там лечения, — сказал я. — Хотя как-то внезапно прозрел. Ложился спать слепым, а проснулся зрячим. Прямо как чудо какое-то.

— Всякое бывает в нашем деле, — сказал Филатов. — Там, где не в порядке нервная система, немало загадок. И даже таких которые кажутся чудесами. А все дело в том, что мы еще мало знаем, как устроен головной мозг...

В белом халате и такой же белой шапочке на седых волосах он сидел напротив меня, коленками упираясь в мои колени. Вид у него был усталый. Должно быть, сказала перенесенная болезнь. А может, путешествие из Ташкента в Москву было нелегким?

— Меня не покидает страх, — признался я. — Зрение вернулось, работаю, можно сказать, с полной нагрузкой, а перед глазами — дымка. Неприятная, раздражающая. То реже, то плотней, но совсем не исчезает. И это очень тревожит.

Подавшись вперед, Филатов с минуту смотрел мне в глаза. Потом предложил:

— Давайте проверим, есть ли у вас какие-либо изменения?

И долго рассматривал мои глаза через стекла. Потом долго молчал, словно решая трудную задачу. И, наконец, сказал:

— Если бы вы сейчас сказали, что ничего не видите, как и в тот раз, я бы поверил вам.

— Не понимаю, Владимир Петрович! — признался я, почувствовав внезапный озноб. — Что это значит?

— Это значит, что объективно у вас ничего не изменилось, — ответил Филатов. — Соски какими были бледными, такими остались.

— Почему же я стал видеть?

— На это трудно сразу ответить, — сказал Филатов. — Но так бывает, хотя и редко. Субъективные ощущения не совпадают с объективными показателями. — И, уложив стекла на место, продолжал: — Не хочу обманывать вас. Положение ваше не так благополучно, как кажется вам. Дымка может превратиться в темноту, которая окружала вас раньше. Вы снова можете внезапно ослепнуть, как прозрели. И если это случится, то, может, уже навсегда...

Его слова, как тяжелые удары, били по голове. А я-то думал: страшное осталось позади. И верил, что снова стану таким, каким был раньше. Но, оказывается, до этого далеко. Да еще и неизвестно, что будет. Субъективные ощущения и объективные показатели. Неужели в моих глазах навсегда погаснет свет?

— Что же делать, Владимир Петрович?

Филатов восторженно, словно ждал этого вопроса, и заговорил своим негромким, но твердым голосом, стараясь, чтобы я запомнил каждое слово:

— Вы можете бороться и даже победить, если будете жить в определенных условиях. Условия же эти нелегкие. Они связаны с большими ограничениями. Но они ничто в сравнении с полной слепотой, которая вам угрожает. А потому я хотел бы, чтобы мой совет стал для вас непреложным законом. — И помолчал, словно обдумывая что-то. — А совет мой такой. Исключить из жизни все, что хоть в малейшей мере расстраивает нервную систему. Установить строжайший режим труда и отдыха. Ни в коем случае не перегружать себя ни физически, ни умственно. Обязательно минимум два часа ежедневно в любую погоду дышать свежим воздухом. В течение года ничего не читать, особенно газеты и другую литературу, напечатанную мелким шрифтом. Обязательно по утрам заниматься гимнастикой с последующим обтиранием прохладной водой. В питании не должно быть ничего острого. Совершенно исключается в любом виде и в любых количествах алкоголь. Курение категорически противопоказано. — И, снова помолчав, словно припоминая, все ли сказал, закончил: — Я понимаю: не все в нынешних условиях выполнимо. Понимаю. Но прошу вас понять и меня. Долг врача обязывает сказать вам правду. И я поступил бы своей врачебной совестью, если бы хоть в чем-то смягчил эти условия.

И встал. За ним поднялся и я.

— Если наступит ухудшение, приезжайте ко мне, — сказал Филатов, пожимая мне руку. — Постараемся сделать что-либо. А если ухудшения не будет, подождите до освобождения Одессы. Надеюсь, после Сталинграда скоро дойдет очередь и до нашего города. А тогда вы можете приехать в наш институт. — И таинственным полупешепотом добавил: — Тогда испробуем метод тканевой терапии.

Я не удержался и спросил:

— А что это за метод?

— Имплантация человеческой кожи под кожу больного. — И прервал себя, словно решив, что проговорился. — Да об этом еще рано. Когда придет, все узнаете. А сейчас... Мобилизуйте свою волю и смелей смотрите в будущее...

Но ни мобилизовать свою волю, ни тем более смело смотреть в будущее я не мог. Во всяком случае, после того, как мы расстались. Это был разговор, которого я никак не ожидал. Он осуждал меня на такую жизнь, которая хуже самой смерти. И я был так подавлен, что не помнил самого себя.

Наконец приехали Аня и Володя. Они добирались поездом и провели в пути десять суток.

Встречали их мы с Федосовым. Вещи погрузили в «эмку», стоявшую у вокзала, сами втиснулись в нее и помчались домой. А дома их ждала родная квартира и вкусный обед, приготовленный Шумовым. Каким-то образом он раздобыл в редакционном буфете курицу и сварил крепкий бульон, а к курятине нажарил картошки. Даже сделал компот из сухих фруктов.

За обедом шутили и смеялись. Володя рассказывал забавные истории. Конечно, они были очень детские, но он передавал их с таким серьезным видом, что от одного этого становилось смешно.

Аня часто останавливала взгляд на мне. Это было нелегко, но я все же не опускал глаза. В письмах Аня не спрашивала о моем зрении. Я тоже молчал. Теперь предстояло сказать правду. Сделать это было трудно, но я готов был на все.

После обеда Володя убежал во двор, а мы еще некоторое время обменивались новостями. Говорили о войне, о жизни в Москве и Ташкенте, о трудностях, которые приходилось переносить. А когда встали из-за стола, Шумов неожиданно объявил, что уезжает от нас.

— Приятель уговорил погостить у него. Я все отказывался, а вчера сдался. И теперь прошу прощения!

Это была выдумка. Никакого приятеля, который таял бы его, не существовало. Он переселился в редакцию. Там у него была маленькая комната с письменным столом и продавленным диваном. Конечно, у нас ему было удобней, но он боялся стеснить и не поддался нашему уговору остаться.

Простившись с ним, мы перешли в мою комнату. Аня посмотрела во двор, где резвилась детвора, и со сдержанной радостью сказала:

— Как я рада, что мы дома! Даже не верится, что это не сон. В последнее время я так скучала, что день казался вечностью. Никак не могла дожидаться пропуска.

— Да, с пропусками затянулось, — подтвердил я. — Думали, сразу получим, а пришлось ждать. Очередями возвращали москвичей.

— Да это я так, — сказала Аня. — Главное, мы снова вместе. И не где-нибудь, а дома, в родной Москве...

У нее был немного усталый, но какой-то мечтательный вид. Густая просесть в темных волосах облагораживала лицо, черные глаза излучали мягкий, искрящийся свет. Одно то, что я видел ее, делало меня счастливым.

Мы сели на диван. Аня посмотрела на меня долгим взглядом и спросила:

— Ну, как твои дела, Федечка? Как со зрением?

Я ответил не сразу. Я всегда был с ней правдивым. Даже в мелочах. Иначе нельзя. Теперь же речь о самом главном. И кривить душой было непозволительно.

— Дела в порядке, не жалуюсь. А со зрением неважно. Дымка перед глазами не исчезает. А временами даже сгущается. И я очень опасаясь...

И рассказал о встрече с Филатовым, точно передал его совет. Аня подумала и спросила:

— Что же мы будем делать?

Ей нелегко было. Нелегко было и мне. Но я решил быть откровенным до конца. И сказал все, что не один раз обдумал:

— Придется уйти из ЦК комсомола. Такая работа не по мне. Много читать приходится. Сидим до рассвета. Нервы так взвинчиваются, что часами ку-

выркаешься в постели без сна. А утром едешь туда с головной болью. И, конечно, лечение не помогает.

Аня молчала. У нее был печальный вид. Мысленно я выругал себя. Не дал даже отдохнуть после дороги. Но тут же возразил себе. Слишком долго мучился, чтобы выдержать. Да и затягивать небезопасно. Может, положение уже такое, что не только день, а и час решает.

— Извини, Анечка! — сказал я. — Может, не надо было затевать этот разговор в первый же день. Но я боюсь, как бы не опоздать.

Аня глянула на меня и с затаенным страхом спросила:

— Как же мы будем жить?

Об этом я тоже думал и теперь уверенно сказал:

— Пройду ВТЭК. Так называется врачебная трудовая комиссия. Пройду эту комиссию, получу группу инвалидности и оформлю пенсию. Правда, это не так много. Но как-нибудь будем обходиться. Может, новый режим улучшит зрение. Тогда найду другую работу, более подходящую для меня.

— А почему ты до сих пор не прошел эту комиссию?

Вопрос ее смутил меня, и все же я признался: — Нелегко было решиться. Инвалид в таком возрасте. Да еще в военное время. Стыдно было...

Выражение лица Ани сделалось строгим.

— Этого не надо стыдиться. Мало ли сейчас инвалидов? Сколько людей изуродовала война? Безногие, безрукие. Да и слепых немало. Дорогой насмотрелась. Чуть ли не на каждой станции сидят калеки. По вагонам песни жалостные поют. — И с уверенностью добавила: — Нет, стыдиться этого не надо. Ты же не где-нибудь, а на работе потерял зрение. И, может, потому, что не жалел себя ради дела. Нет, не стыдись, спокойно иди туда. — И, подумав, продолжала: — Только на одну твою пенсию жить не будем. Я пойду работать. Поступлю в школу учительницей. Теперь, когда у нас один Володя, управлюсь с работой и домом. И мы будем жить без большой нужды...

Я вынул из ящика стола пистолет и протянул Ане.

— Спрячь куда-нибудь.

Глаза Ани широко раскрылись. Догадавшись, я успокоил ее.

— Не волнуйся. Володя же приехал. А он любопытный. До всего тянется.

Аня вздохнула с нескрываемым облегчением.

— Это правда, — сказала она, и лицо ее снова просветлело. — Он любознательный. И не дай бог...

Она осторожно взяла пистолет и торопливо направила в спальню.



Однажды у главного входа в дом на Маросейке меня окликнула какая-то красивая девушка. Вглядевшись, я рассмотрел ее. Под руку с высоким парнем она шла ко мне и улыбалась. Молодые люди показались знакомыми, и я остановился. А когда они приблизились, узнал их. Лина Соболева и Слава Устинов. Обрадовавшись, я поспешил к ним.

— А мы к вам, — сказала Лина, когда мы поздоровались. — И очень рады, что встретили.

— Также очень рад, — ответил я. — Совсем не ожидал. Идемте ко мне.

— А может, на бульвар? — предложил Слава. — День уж больно хороший. Солнце, тепло.

— Пойдемте на бульвар, — попросила и Лина. — Там и правда дивно. Деревья зеленые, цветы... Идемте!..

— С удовольствием, — согласился я, хотя мне надо было на работу. — День такой, что не хочется сидеть в помещении.

Лина взяла меня и Славу под руки, и мы, перейдя улицу, вышли на бульвар. Здесь и верно было красиво. Деревья, одетые в молодую листву, казались изумрудными. Разноцветными огоньками вспыхивали цветы на клумбах. Ярко зеленела молодая трава за подстриженными бордюрами. Так говорила Лина, обращаясь ко мне. А для меня все уже представлялось другим. Деревья казались грязными, газоны землистыми, а клумбы — невзрачными горками.

Лина предложила посидеть. Выбрали скамейку перед цветником и сели. Теперь я заметил у них на груди орденские ленточки.

— Ну, рассказывайте, — предложил я. — Обо всем, что было после того, как мы расстались.

Они переглянулись, как бы спрашивая, кому начинать, и Лина сказала:

— Мы оказались в Орле, когда немцы заняли его. Спрятались у дальней родственницы Славы. Она жила на окраине в собственном доме. Муж и сын с первых же дней ушли на фронт. И она, одинокая, приютила нас...

Первое время они почти не вылезали из подпола. Гестаповцы с помощью местных предателей чуть ли не ежедневно устраивали облавы и обыски. Хватали и увозили всех подозрительных. Грабили квартиры. не брезгуя ничем. А когда налеты прекратились, Лина и Слава вышли из убежища. А еще через несколько дней Лина решила на вылазку в центр. Она была из другого города, и ей нечего было бояться.

Но хозяйка, предупредив, что немецкие офицеры среди белого дня хватают русских девушек и затаскивают в дома, сделала Лину горбуньей: распорол старый ватник, обшила ком ваты материей и прикрепила к лифчику Лины под платьем.

— Теперь на тебя никакой фашист не позарится. — А если догадаются? — сказала Лина. — Тогда мы мне несдобровать?

— Догадаются, прикинься простушкой, — наставляла хозяйка. — Боялась, мол, приставать будут. Вот и превратила себя в горбунью...

И горб сработал безотказно. Гитлеровцы заглядывались на нее. Но она тут же, будто заинтересовавшись чем-то, поворачивалась боком, и похотливое выражение на их лицах сменялось брезгливым.

Все же понервничать пришлось немало. Казалось, все чересчур внимательно рассматривали ее. А один полицейский даже остановился, выпучив глаза. Так и чудилось: сейчас подойдет и распорет горб саблей.

Но никто не заподозрил ее. Лина благополучно добралась до базара и остановилась у палатки, где продавался маргарин. И почти тут же позади нее оказался тот, кто был нужен. Во время шума, который из-за чего-то женщины подняли в очереди, он шепнул ей, чтобы она устраивалась в городе, а другу предложила переправиться к Муромцеву.

Расставались тяжело. Внезапно вспыхнувшая любовь оказалась такой сильной, что трудно было жить друг без друга. Но долг перед Родиной был превыше всего, и они простились. Слава сказал, что обязательно даст о себе знать и придумал слова, которые скажет тот, кто явится от него, и которые она запомнила на всю жизнь.

Оставшись одна, Лина вскоре поступила в бакалейный магазин продавщицей. Хозяину магазина выдала себя за беженку из Брянска. Проверить это было невозможно, так как город фашистские бомбардировщики превратили в развалины, а жители

его почти поголовно ушли в восточные районы. И адрес написала выдуманный. Назвал улицу, которая находилась на противоположной стороне от той, где жила.

Известие от Славы пришло неожиданно и совсем не так, как представлялось. Однажды в магазине появилась худенькая девочка. Лина не обратила на нее внимания. В магазин заходили всякие покупатели. Но девочка не торопилась что-либо купить. Она рассматривала товары, лежавшие на полках, и время от времени бросала на Лину пыливый взгляд. А когда перед той никого не оказалось, подалась к ней и чуть слышно произнесла:

— Всегда и навсегда!

Лина вздрогнула и торопливо положила на прилавок корочку леденцов.

— Пожалуйста! — сказала она. — Только такие. — И шепотом назвала свой адрес. — Других нет. И пока не ожидается...

Чуть ли не всю ночь они шептались, лежа в одной постели. Наташа рассказывала о Славе, который был храбрым партизаном. Он смело шел на любое дело. И каким бы трудным оно ни было, всегда справлялся. Командир отряда Муромцев не раз ставил его в пример другим. Неоднократно отмечала его на собраниях и Жанна Огневая. И сами партизаны уважали Славу за храбрость, охотно отправляясь с ним на выполнение опасных заданий.

Встречи с Наташей Ласточкиной стали регулярными. Девочка показывалась в магазине и тут же исчезала. А когда наступала темнота, стучалась в окно Лины. Она передавала ей указания и получала от нее сведения о немцах. Пользуясь этими сведениями, партизаны неожиданно нападали на фашистов, уничтожали предателей, взрывали склады с боеприпасами.

Однажды и сам Слава появился в магазине. Зашел как ни в чем не бывало, улыбнулся Лине, которая прямо-таки остолбенела, и прошел зачем-то в другой отдел, за прилавком которого стоял хозяин. Предстояло вывезти этого хозяина, являвшегося агентом гестапо, в партизанский отряд, и Славе была поручена эта операция. Но ему не удалось осуществить ее. Помешал непредвиденный случай.

На другой день в магазине появился щеголеватый полицейский. К своему изумлению Лина узнала в нем учителя по физкультуре школы, в которой училась. Он тоже узнал ее, направился к ее прилавку и протянул руку.

— Очень приятно! — сказал он, жадно рассматривая ее. — Приехал по служебным делам. Три дня живу в городе и ни одной знакомой души не встретил. И вот она, награда за скуку. Моя лучшая физкультурница.

Слушая его, Лина улыбалась и стояла прямо перед ним. Только бы не заметил горб. Тогда все пропало. Он хоть и глуп, а догадается. И либо сам схватит, либо донесет в гестапо. И она стояла прямо, поворачивая лишь голову к покупателям.

Одна из них, спросив о чем-то, назвала ее Леной. Полицейский с удивлением взметнул рыжие брови.

— Лена? — спросил он. — Разве так ваше имя? Кажется, тогда вас называли по-другому?

— Что вы, господин инспектор! — сказала Лина. — Неужели вы забыли?

— Нет, я ничего не забыл, — ответил полицейский. — Вы же у меня были самой лучшей. А звали вас Лина.

Лина рассмеялась так неподдельно, что полицейский даже смутился.

— Это была шутка, господин инспектор! — сказала она. — Ребята переименовали. Почему-то нравилось больше Лина, чем Лена.

— Возможно, возможно, — согласился полицейский, растягивая большой рот. — Лина, Лена... Вполне возможно. Да и какая разница? Я рад вас видеть, Лена! И надеюсь...

Хозяин позвал ее. Лина сделала вид, что не услышала.

— Я тоже надеюсь, господин инспектор! — ответила она, многозначительно улыбаясь. — Скажите, где вы остановились?

— Городской отель, — прошептал полицейский, раздувая ноздри. — Второй этаж, номер двадцать пятый. Вечером буду ждать...

Хозяин снова позвал ее. Теперь уже громко, властно. Лина кивнула полицейскому, думая, что он уйдет. Но он не уходил, а продолжал пялить на нее глаза. И ей ничего не оставалось, как идти к хозяйину. Извинившись, она боком двинулась вдоль прилавка, надеясь, что он ничего не заметит. И, остановившись перед хозяином, оглянулась. Полицейский смотрел на нее выкатившимися глазами. Через минуту она снова оглянулась. Полицейского уже не было. Конечно, он помчался с доносом. Хорошо, что сам не схватил и не потащил в застенки. Тогда бы наверняка пришлось нелегко. Вряд ли гестаповцы поверили бы, что горб понадобился, чтобы отпугивать пристава. Но опасность не миновала, медлить нельзя было, и она, прервав хозяина, сказала:

— Извините! Мне надо отлучиться.

Хозяин сдвинул клочковатые брови.

— Куда? — спросил он. — Зачем?

— Извините! — повторила Лина и скорчилась. — Живот схватило...

Оставив хозяина с брезгливым выражением на лице, она скрылась за служебной дверью. В передней сорвала фартук, запустила руку под кофточку, чтобы выбросить ком ваты, но удержалась. Полицейские знали ее и, увидев без горба, схватят. Немного надо ума, чтобы догадаться, зачем понадобился маскарад. И она вышла такой, какой была. Конечно, гестаповцы нагрянут с собакой. Ищейка легко возьмет след. В магазине немало вещей, к которым прикасалась Лина. Но след оборвется у трамвайной остановки. Тогда гестаповцы бросятся по адресу, который хранится у хозяина, и не найдут там не только горбунью, а даже такой дом. На заявлении о приеме на работу она написала вымышленный номер дома.

Все же ночь Лина провела беспокойно. Просыпалась от каждого звука, подолгу прислушивалась. А утром попросила хозяйку сходить в магазин и узнать, что там нового. Вернувшись, та сказала, что магазин закрыт, а владелец его угодил в гестапо. А вскоре явилась Наташа. Она увела Лину в партизанский отряд. Там уже знали обо всем. Даже о том, что гитлеровцы расстреляли хозяина магазина, заподозрив в нем шпиона. Оставаться Лине после этого в городе было небезопасно, и она стала партизанкой. Воевала рядом с мужем. А теперь вот вместе с ним приехала в Москву.

— Мы очень вам благодарны, — сказал Слава, когда мы прощались. — За то, что тогда разрешили Лине стать подпольщицей. Если бы отказали, мы не встретились бы. И теперь не были бы самыми счастливыми...



Врачебно-трудовая экспертная комиссия признала меня инвалидом второй группы. Заключение было отправлено в райвоенкомат для назначения пенсии. Мне же об инвалидности была выдана справка форменного образца с гербовой печатью.

Но я никому, кроме Ани, не показывал эту справку. И об освобождении от работы пока не заговаривал. Ждал, когда будет установлена пенсия. Если она окажется небольшой и вместе с зарплатой Ани не хватит на троих, придется работать. Но там, где не потребуются слишком напрягать зрение.

И я продолжал жить по-прежнему. Утром выезжал из дома, возвращался домой глубокой ночью. Часами просиживал в кабинете с руководителями прикрепленных ко мне отделов, подолгу выслушивал инструкторов, обследовавших местные организации. И, конечно, читал бумаги. Читал с лупой, пряча ее всякий раз, когда Таня докладывала о приходе кого-либо.

Аня провожала меня на работу и терпеливо дожидалась, читая в спальне перед настольной лампой. Она никогда не ложилась, как бы долго я ни задерживался. Выглядела она озабоченной, тревожилась за меня и за наше неопределенное будущее. Я понимал это и, скрывая собственные чувства, старался казаться жизнерадостным.

Но однажды она сама заговорила о том, что тревожило. Было воскресенье, и я решил остаться дома. Конечно, мы работали без выходных. Но усталость валила с ног, и надо было хоть один день отдохнуть, чтобы не свалиться совсем.

Володя убежал гулять. Он уже подружился с московскими ребятами и даже был у них заводилой. Они тоже играли в войну, и он командовал «красными».

А мы сидели за столом друг против друга и молчали. Наконец, Аня, не поднимая глаз, сказала: — Все это время я искала работу. Оставляла Володю на соседку и ходила по школам. А вчера была в районе, разговаривала с инспектором по кадрам. Ничего нет и не ожидается. Многие школы закрыты, учащиеся эвакуированы. Видно, до конца войны не удастся устроиться.

Это удивило меня. Я думал, на работу учительницей просто устроиться. Мне уже была назначена пенсия. Вместе с зарплатой учительницы ее хватило бы на нашу семью. И тогда можно было бы перейти на режим, предписанный Филатовым. Теперь же на это нечего было надеяться.

— Ну что ж! — сказал я, стараясь придать голосу бодрость. — Буду работать в Цекамоле. Сейчас всем нелегко. На фронте не то что зрения, жизни люди лишаются.

— А почему тебе не заняться литературой? — спросила Аня. — У тебя ж немалый опыт газетчика. Жизнь неплохо знаешь, особенно деревенскую. Нет, серьезно, — горячо добавила она, словно опасаясь, как бы я не принял это за шутку. — Хочешь, подкажу тему?

— Подкажи — попросил я. — Посмотрим, что придумала.

— «Возвращение», — сказала Аня, и черные глаза ее загорелись. — Село на берегу речки. Жители все были эвакуированы. Обозленные немцы сожгли все дотла. На месте хат остались только остовы печей. И вот в это село возвращаются люди. Выходят из леса партизаны. Прибывают с фронта инвалиды. Появляются из эвакуации женщины, старики, дети. Трудно им, этим людям, ой, как трудно! Но они не только оплакивают утраченное, а и берутся за работу. И трудом своим побеждают разруху. Так возвращается сама жизнь, свободная, трудовая справедливая.

— Да, — согласился я. — Все это интересно. Но для такой книги нужен большой материал.

— Об этом уже пишут в газетах, — сказала Аня. — В ЦК комсомола посмотри. Там, наверно, уже немало отчетов и донесений из освобожденных рай-

онов. Выпиши яркие примеры, факты. А потом, может, удастся поехать куда-нибудь. Берись, Федюша! — горячо говорила она. — А я буду помогать. С нынешнего дня займусь газетами и журналами. Буду выписывать из них все интересное. А потом ты будешь диктовать, а я писать под твою диктовку... Кто знает, может, получится? Это ж будет такая радость. — И убежденно, как о том, что бесспорно решено, заключила: — А с работы уходи. Уходи немедленно. Пока, может быть, еще не поздно...



Наступило жаркое лето, а с ним и Курская дуга, танковое сражение, каких не было на земле и в котором окончательно была сломлена военная машина гитлеровской Германии. Разбитые фашистские полчища катились назад, теряя живую силу и технику. Советские войска преследовали их на всех фронтах, целыми полками и дивизиями брали в плен. Каждый день радио и газеты приносили известия о блестящих победах наших воинов и чуть ли не каждую ночь московское небо озаряли разноцветные огни салюта в честь победителей.

Победы радовали, поднимали настроение. Хотелось оставаться полноценным, и я упрямо лечился. Каждый день ездил в поликлинику. Там меня кололи с помощью электричества, начинали лекарствами. А зрение не улучшалось. Даже наоборот, дымка перед глазами густела, а поле зрения суживалось. Со всех сторон на него наплывала муть. Наплывала медленно, почти незаметно. Но я с ужасом чувствовал, как суживается перед глазами пространство, пропускающее свет. И содрогался от мысли, что придет время, когда эта муть затянется все, и мир для меня погрузится в непроглядный мрак.

Внезапно приехала мать. Воронеж и прилегающие к нему районы, в одном из которых находилась наша Знаменка, были очищены от врага, и уже можно было пробраться в Москву. И она пробралась, моя храбрая мать. С большим трудом, а добилась своего. И предстала перед нами с таким невозможным видом, как будто позади не было ни фашистской оккупации, ни долгого пути через разрушенные войной районы.

Мы обрадовались ее приезду. Ведь так давно не виделись. К тому же, не признаваясь даже самим себе, не надеялись увидеть ее. Да она и в самом деле каким-то чудом избежала смерти.

— Много раз вызывали на допрос, — рассказывала она, глядя куда-то, словно всматриваясь в страшное прошлое. — Все допытывались про вас, сыновей. Где и что делаете. И каждый раз я отвечала одно и то же: сыны у меня хорошие, коммунисты, стало быть, верные своему народу. А где и что делают, не знаю. Но уверена: не прячутся от войны, а в первых рядах дерутся с врагами. Вот так отвечала. Один раз даже сказала: ненавижу немцев. Ненавижу еще с той войны, когда они убили мужа, и молю бога, чтобы послал фашистам гибель. — И презрительно усмехнулась. — Думала: расстреляют или еще как-нибудь казнят. А они ничего не сделали. Побалабонили на своем языке о чем-то и отпустили домой. Но последний раз, когда вызвали перед отступлением, я не пошла. Уж дюже ярые они были в это время. Убивали без всякого допроса. Убили бы и меня, ежели б показалась. Но я не показалась, а ушла в соседнее село к дальней родственнице и укрылась там. И не потому, что боялась смерти, нет! Захотелось дожить до Победы и посмотреть, что будет дальше. И вот приехала к вам. — Она пристально посмотрела на меня,

вздохнула и продолжала: — Был у нас один товарищ из Воронежа. Сказывал, что ты слепнешь. Я встревожилась. Сохрани, помилуй! Лучше умереть, чем ослепнуть. И привезла лекарство. Такое, что не даст твоим глазам помутнеть. А может, и совсем очистит от мути?

Она спросила, почему не видно Валерика, и, когда узнала, что его нет в живых, перекрестилась.

— Богородица приглубит тебя, безгрешное дитя! — произнесла она, как молитву. — И будет тебе вовеки родимой матерью. — И снова осенила себя крестным знамением, узнав, что нет в живых и Дениса. — Пусть родная земля будет тебе пухом, сын мой!

И не уронила ни одной слезинки. А потом всю ночь сидела перед растворенным окном и плакала. Несколько раз я останавливался у двери и слышал ее безутешные стоны.

А утром она опять заговорила о лекарстве. Это было наговоренное вино. Наговорила же его местная бабка, славившаяся врачеванием. Она избавляла многих от разных болезней и убедила мать, что поможет и мне.

— Будешь пить по столовой ложке три раза в день, — наставляла мать. — А я после того буду молиться богу. Просить, чтобы ниспослал тебе избавление...

Принимать знахарское зелье, даже когда грозит слепота, — занятие не очень похвальное. Все же не хватило мужества отказаться. Ради меня она решилась на такую нелегкую поездку, и отказ обидел бы ее на всю жизнь.

Это был обыкновенный портвейн. Мать сама давала мне его и при этом что-то шептала. Потом отправлялась в столовую, ставила карманную икону на радиоприемник и, опустившись на колени, истово отбивала поклоны, бормоча какую-то молитву.

Так продолжались недели две. Я добросовестно выпил всю бутылку и не почувствовал никакого улучшения. Это огорчило мать. Она ходила по квартире суровая, задумчивая, часто останавливалась и что-то шептала, не то жалуясь, не то бранясь. Наконец, объявила, что вспомнила причину неудачи.

— Память уж совсем ослабела, — пожаловалась она. — Бабка предупреждала, что вино потеряет силу, ежели провезти его через речку. А по дороге в Москву их, речек-то, не то, что одна, сотня, небось, будет. Они и вымыли волшебную силу из вина. — И с надеждой посмотрела на меня. — Вот ежели б ты поехал со мной к той бабке и там выпил всю бутылку, тогда б, может, избавился от порчи в глазах.

От поездки я отказался. Очень занят был на работе. И лечения в поликлинике не мог прервать. Мать посокрушалась и вдруг махнула рукой.

— А бог с ней, бабкой! — сказала она. — Может, и верно помогает, а может, и нет. Сама-то я не видела этих исцеленных. И мудрено уж больно: как это речка могла вымыть из вина волшебную силу? Она ж, бутылка-то, вон как была закупорена. Как купила в лавке, так и привезла. Да и в речку я ее не опускала. Видно, брехня все это...



Совет Ани не выходил из головы. На работе и дома я не переставал думать о книге «Возвращение». Да, это может быть интересная книга. Война еще бушует, а горячая молодежь, не жалея сил, восстанавливает жизнь. И не только восстанавливает, а и закладывает основы будущего, более светлого и радостного,

В отделе крестьянской молодежи оказалось немало материалов о первых трудовых делах деревенского комсомола. Я читал эти материалы, не обращая внимания на боль в глазах, выписывал примеры и факты, заносил в блокнот рождавшиеся мысли. Кое-что интересное вычитывала в газетах Аня. Она даже завела специальную папку и складывала в нее газетные вырезки.

И все же того, что мы делали, было мало. Понадобится поездка в освобожденные районы. Туда, где уже закипала трудовая борьба. Конечно, я с удовольствием отправлюсь в такую поездку, какой бы трудной она ни оказалась. А пока предстояло освободиться от непосильной работы. Да и нельзя получать зарплату, а делать свое личное.

И я решился. Написал заявление в ЦК партии. Изложил причину, по которой прошу освобождения, указал, чем намерен заниматься, и прикрепил к листку справку об инвалидности. И на очередном секретариате, когда все вопросы были решены и мы, секретари ЦК ВЛКСМ, остались одни, заявил, что из-за ухудшающегося зрения вынужден покинуть работу.

— Прошу ознакомиться с заявлением, — сказал я, положив бумагу перед Михайловым. — И поддержать мою просьбу.

Михайлов прочитал вслух заявление, потом справку об инвалидности и спросил, какие будут предложения. Громов посмотрел на меня своими умными глазами, шумно вздохнул и сказал:

— Ну, что ж! Раз так, придется поддержать. Не имеем права возражать.

А через несколько дней позвонил Андреев, секретарь ЦК партии.

— Мы получили ваше заявление, — сказал он. — Вы пишете, что собираетесь работать над книгой. Но этого тоже нужно зрение.

— Да, Андрей Андреич! — ответил я. — Но над книгой я буду работать дома, в спокойной обстановке. Если зрение ухудшится, жена будет помогать. Все же я надеюсь... Домашние условия помогут дольше продержаться.

— Пожалуй, это разумно, — сказал Андреев. — Дома вы сможете установить для себя режим, какой нужен.

— Да, Андрей Андреич! — подтвердил я. — Дома я могу создать обстановку, какая требуется в первую очередь для лечения. Поскольку заболевание связано с нервной системой, условия жизни и работы могут оказаться решающими для здоровья.

Андреев согласился с этим и спросил, достаточно ли будет пенсии. Я сказал, что материальная сторона меня не беспокоит.

— Хорошо, — под конец проговорил Андреев. — Условимся так. Мы удовлетворим вашу просьбу. Оставим вас в нашей поликлинике и дадим указание обеспечить надлежащее лечение. А вы, если что, не стесняйтесь. Звоните или пишите. Всегда поможем, что в наших силах. Что касается книги, которую собираетесь написать, желаем удачи и надеемся, что прочитаем ее...

Это было нелегкое путешествие. Война на каждом шагу давала о себе знать. Почти все деревни были разрушены, многие сожжены до последней хаты. Поредели дубравы и перелески. Мосты на реках взорваны, плотины размыты. Даже поля изменили облик. Они покрылись глубокими воронками, изморщились кривыми канавами, вырытыми гусеницами танков.

Но жизнь уже возрождалась. Из лесов возвраща-

лись партизаны. Прибывали из госпиталей бойцы-инвалиды. Спешили в родные места из эвакуации женщины и дети. На пепелищах появлялись землянки с подслеповатыми окнами и соломенными крышами. Выравнивались поля, ремонтировались дороги и переправы. По берегам рек двигались колхозные стада. Седобородые старики с котомками за спиной пешком шагали за скотиной многие версты.

Да, просто залечить раны войны. Многие на всю жизнь останутся незажившими. И всю жизнь будут источать нестерпимую боль. Не вернутся домой мужья, погибшие в боях, родители не дождутся сыновей, павших на полях сражений.

Но уже подрастало новое поколение. Оно заметит отцов и братьев, не пришедших с войны, и достойно понесет их трудовое знамя вперед. Нет такой силы, которая уничтожила бы жизнь. И не может быть такого оружия, которое лишило бы народ свободы, обретенной в борьбе.

Передо мной лежали блокноты, заполненные рукой Ани. Она писала разборчиво, чтобы мне легче было читать. Но не только писала, а и рассказывала. У нее был живой, наблюдательный взгляд. Она видела все, что попадало в поле ее зрения, ярко рисовала картины, точно передавала примечательное в людях. Ее чувства становились моими чувствами, радость познания — моей радостью.



И в этот день я работал с подъемом. Под руками не было часов. Не видно было в окне и солнца. Небо затягивали осенние облака. Но я не думал о времени и не заметил, как прошло полдня. Об этом напомнила Аня. Она вошла и сказала, что пора обедать. А сама присела у стола и, озабоченно посмотрев на меня, спросила:

— Как себя чувствуешь, Федечка?

— Спасибо, Анечка! — ответил я, выпрямляясь и потягиваясь. — Очень хорошо.

— А работаете как?

— Да неплохо. Сегодня уже три страницы нацарапал.

— Очень устал?

— Нет, не очень.

Аня подумала и сказала:

— Хочешь, после обеда я поработаю с тобой?

Я и правда не чувствовал усталости. И мог бы еще работать один. Но она любила помогать мне. Старательно писала под диктовку. Даже иногда подсказывала что-либо. И, чтобы не лишать ее удовольствия, я ответил:

— Хорошо. После обеда поработаем вместе...

В передней зазвонил телефон. Аня вышла и, тут же вернувшись, сказала:

— Тебя просят.

У телефона оказался директор издательства «Молодая гвардия». Он справился о здоровье и прямо перешел к делу:

— Мы узнали, что вы работаете над романом об участии комсомола в ликвидации последствий войны. Это правда?

— Да, — неуверенно подтвердил я, захваченный врасплох. — Собрал кое-какой материал и пытаюсь... Не знаю только, что получится.

— Нас это очень интересует, — сказал директор. — И мы хотели бы, чтобы вы этот роман писали для нашего издательства. А чтобы вы не сомневались в нашей заинтересованности, готовы заключить с вами договор и выплатить вам положенный аванс. Для этого нам нужна только короткая творческая заявка с изложением основного содержания книги. Сможете вы это сделать?

— Да, смогу, — ответил я, сдерживая волнение. — Написать такую заявку нетрудно. Но за то, что получится пригодная книга, за это не ручаюсь. А потому, может, лучше ограничиться договором без аванса? Я не хочу, чтобы издательство из-за меня оказалось в убытке.

— Нет, нет! — возразил директор. — Мы уверены, что у вас получится. Если понадобится, поможем, чтобы получилось. Внимательно обсудим рукопись, дадим опытного редактора. А безавансовый договор не подойдет. Он ни вас, ни нас ни к чему не обязывает. И наоборот, если мы выплатим вам положенные деньги, это обязет обе стороны. — И добавил, видимо, догадавшись о моем волнении: — Да вы не беспокойтесь. Издательство наше, как вы знаете, никогда не было убыточным. А ради такой книги мы готовы на любой риск...

Я поблагодарил его, пообещал прислать заявку, и мы простились. Вернувшись в комнату, я возбужденно спросил:

— Откуда ж они узнали об этом? Ведь я никому ничего не говорил... Ах, да! — вспомнил я. — Секретари ЦК комсомола читали мое заявление. А в заявлении говорилось об этом. Может, кто-то из них подсказал?

— Это я сделала, — сказала Аня, прямо глядя на меня. — Поехала в издательство, встретила с директором и рассказала обо всем.

Ее признание еще больше взволновало меня.

— Когда ж это ты? И почему втихомолку?

— А насчет денег, — продолжала Аня, не ответив, — ты зря отказывался от аванса. Деньги нам очень нужны. Я не говорила тебе, не хотела расстраивать. Мне пришлось кое-что продать. Твое военное обмундирование, один твой гражданский костюм, свой костюм и еще кое-что. — И, заметив мое смущение, мягко продолжала: — Ничего другого не оставалось, милый! На твою пенсию нелегко и одному прожить. А нас четверо. Что же было делать?

— Прости, пожалуйста! — сказал я. — Мне стыдно. Я ничего этого не знал.

— И хорошо, что не знал, — сказала Аня. — Это отвлекло бы тебя, помешало бы работе. — И вздохнула. — А стыдиться нечего. Сейчас многие с трудом перебиваются. И ты ни в чем не виноват. Разве ты хотел того, что случилось с тобой? А вот теперь, когда ты заключишь договор, нам легче станет. И ты более уверенно будешь писать свою книгу.

Я подошел к ней, обнял ее, крепко поцеловал.

— Дорогая моя! Как я счастлив, что встретил тебя! Что бы я делал, если бы тебя не было со мной?

Аня рассмеялась и сказала:

— Ты бы встретил другую. И она была бы такой же... — Голос ее сделался серьезным. — Но не надо об этом думать. Думай о книге. Она наша работа, наша жизнь. Может, нелегкая, но счастливая. Вот так, милый! А теперь пойдем обедать. Иначе он совсем остынет.

Она вышла. А я подошел к окну. В дворовом сквере играли ребяташки. Голоса их будоражили тишину. Я различил голос Володи. Но самого рассмотреть уже не мог. Бега между деревьями, ребята казались одинаковыми. Все же будущее уже не страшило. Я буду жить не только для своей семьи, но и для других людей. А это великое счастье!



НАТАЛЬЯ ГУРЕВИЧ

☆☆☆

Вы помните, совсем еще недавно
Висело в каждой комнате знакомой
По несколько неярких фотографий —
Родителей и бабушек портреты,
И собственные лица молодые.

Теперь такие снимки встретишь реже,
Эстампы нынче в моде и чеканка...

У тети Веры брат ее погибший
Со стенки снят. И там висит гравюра
«Могила неизвестного солдата»...

Еще недавно видела я снимок:
Четыре парня, чем-то очень схожих,
И в середине пожилой мужчина.

— Отец и братья это? — я спросила
С надеждою, что жив еще обычай
Торжественных семейных фотографий.

— Почти, — ответил он, — моя бригада
С наставником своим посередине.

— Здесь ваша мать! — уже в другой квартире
Спросила я, разглядывая фото.

— А что, похоже! — вскинулась хозяйка. —
Ахматовой портрет малоизвестный...

Наверно, это все не просто мода,
Диктующая нам убранство комнат,
А возвышение до кровной связи,
Духовного родства.

☆☆☆

Туристов из Штатов везет по Неве
теплоход,
Остались места — теплоход прихватил
ленинградцев,
Которые вечером после трудов и хлопот
Задумали вдруг просто так по реке покататься.

Туристы, от многих экскурсий заметно устав,
Спустились в салоны
и даже не смотрят на берег.
Стоят у перил ленинградцы, глазами припав
К тому, что вовек не постичь бизнесменам
Америк.

Дома и заводы свои вдоль Невы узнаем,
Скамейки, деревья и весь этот город,
в котором
И общая тайна имеется с каждым мостом
И общая гордость
с возвышенным Смольным собором

Туристы о чем-то друг другу весь путь
говорят,
Не видя Невы. Нам обидно.
Но, может, так надо.
Хоть с первого взгляда понравится им
Ленинград,
Но им не дано ни второго,
ни третьего взгляда.

☆☆☆

Я знаю,
что где-то сегодня несет красный флаг
мой сверстник
навстречу дубинкам, свинцу и арестам.
С такими, как он,
и должна я сверять каждый шаг,
и даже сейчас — под мажорные звуки
оркестра.

Пусть это не зная, а только лишь
праздничный флаг,
пусть наша колонна идет не на бой,
а на митинг,
мне хочется ветра —
такого, чтоб каждый мой шаг
давался с трудом
и чтоб ветер не мог изменить их.

☆☆☆

Сто лет назад пряла, теперь вяжу,
Рукам своим придумываю дело.
Весь выходной на телефон гляжу,
А век назад весь день в окно глядела.

Пошла бы за деревню в хоровод,
Да вдруг к воротам пеший или конный...
Пойти в кино сестра меня зовет,
Но мне не отойти от телефона.

И два тысячелетия назад
Все так же я смотрела на дорогу,
Но не устал и не остыл мой взгляд
И не клянет душа свою тревогу.

И песню, что щемяща и звонка,
Услышала и стала сердцем петь я.
Сижу у телефона, жду звонка,
А впереди еще тысячелетья.



ЕВГЕНИЙ
ДВОРНИКОВ

НЕУТОМИМЫЙ КАЗАКОВ

Сначала считалось, что самое большое богатство этих мест — меха, и не случайно на первом гербе Тюмени было изображение соболя. Позднее оценили значение здешних рек — в геральдике появились суда с золотыми мачтами. Но разве мог кто-нибудь подумать, что истинное богатство болотистых земель к востоку от Урала спрятано в недрах?

Долгим оказался путь к истине. От донесения путешественника и ученого XVII века Юрия Крижанича о наличии в Западной Сибири битумных сланцев (спутников нефти) до планомерного, по широкому фронту, освоения фактически нетронутой земли Тюмени — в советское время. Если вспомнить, что первый нефтяной фонтан близ Шаима ударил в 1960 году, можно представить, какими стремительными темпами идет тут добыча природных богатств.

И перед глазами возникают палатки, вагончики, партии изыскателей — разведчиков и первопроходцев. Теперь геологи и буровики давно миновали Полярный круг и работают в высоких широтах. Пройдены, разведаны, «прошупаны» огромные пространства тайги и тундры. Это сделано руками молодых.

За годы освоения в Тюменскую область приехало почти полмиллиона человек. У каждого своя судьба, свой характер. И только одно у всех общее — подвижность, понимание огромной важности «сибирских десантов», не показное, глубинное осознание короткого слова «надо».

Сколько раз, бывая в Сибири, я задавал людям один и тот же вопрос: «Что вас тянуло в эти края?» Разные были ответы, но чаще других повторялись, пожалуй, два: здесь разворачиваются большие дела; здесь довольно быстро проявляются все твои возможности и молодым доверяют первые роли. Если слову «карьера» вернуть его первоначальный смысл, свободный от более поздних негативных наслоений, можно сказать: десяткам тысяч людей Тюмень сделала завидную карьеру, научила самостоятельности в мыслях и поступках, изменила сам масштаб взгляда на жизнь. И, конечно, волею дала незабываемых трудовых будней — со всеми их радостями, неожиданными, открытиями.

Сейсморазведчики — одни из тех, кто первыми наносят на карту черные значки — пирамиды с маленькими фонтанчиками наверху: так обозначаются нефтяные месторождения. Уже потом в эти места приходят буровики, нефтяники, начинается промышленная эксплуатация скважин, растут вокруг них поселки и города. А геологи торят новые тропы. Об одном из них, молодом начальнике партии Владимире Казакове, этот рассказ.

Рисунки
Л. КУЗЬМОВА.

Грунтовая заснеженная дорожка в таежном лесу. Ровные ряды домов, аккуратно вписанные в пейзаж. Таким я впервые увидел сибирский поселок Тарко-Сале.

В небольшом домике, отгороженном от улицы дощатым забором и именуемом «Управление», располагалась штаб-квартира геофизической партии. Жарко потрескивает печка, к которой приставлена вязанка дров. На дверях таблички с названиями отделов. Надрывается телефон.

Вот уже час, как я хожу взад и вперед по узкому коридору в ожидании какого-нибудь ответственного лица. Никого.

— Все в поле, — говорит женщина-истопник. —

Скоро конец сезона, сам начальник партии Казаков неделю как улетел. Будет дней через пять. Вот так, милок...

Ничего не остается, как первым попутным бортом лететь в отряд. Получаю на складе необходимую экипировку: защитного цвета полевые брюки, портянки, резиновые сапоги, телогрейку.

И надо же, везет: завтра попутный рейс на разведочную буровую. Пилоты обещают выбросить «прямо на голову Казакову».

— Авось выдержит, — смеется один. — Казаковская лысина ИЛ-62 запросто принимать может. Вы с ним не знакомы? Увидите: оригинал.

...Самолет низко виснет над лесом, входит то в левый, то в правый вираж. Кажется, что летчики про-

сто-напросто шалят. Или таким образом они отыскивают вагончики геофизиков на профиле?

А вот и профиль. С высоты хорошо видно, как местность рассекает стремительная прямая, от которой в сторону отходит след гусениц. Круг над лесом, посадка.

Спрыгиваю и оказываюсь по пояс в снегу. Невозможно двинуться с места. Самолет берет разгон, мощная снежная струя закручивает меня в сплошной пелене. Со стороны леса, грохоча, движется вездеход. Чуть опоздал к самолету.

Забрасываю вещи в кузов, карабкаюсь в высокую кабину. Трогаемся. Снег глубокий, до метра, но тягач идет отлично. Через несколько минут в лесу показываются балки и трактора. Здесь стоянка геофизиков.

Вездеход останавливается у «резиденции» Казакова. Запорошенный снегом, вваливаюсь, как медведь, в узкую дверь балка. Навстречу поднимается огромный детина с окладистой рыжей бородой, жизнерадостный и простецкий. Широкое лицо, солидная лысина. Протягивает руку: «Казаков». В отсеке собралось еще несколько ребят, возрастом чуть старше студенческого.

Мне наливают крепкого чая, натопленного из снега. С аппетитом пьем, крикая от удовольствия. Потом Казаков предлагает пройти по профилю.

Снег блестит до рези в глазах. Он покрыт морозной коркой, но человека не держит. Все время проваливаешься. Тишина. Где-то там, впереди, топографы и буровики. По сторонам просеки встречаются поваленные трактором молодые ели. Неизбежные жертвы первой проходки.

Казакову около тридцати. Он из Новосибирска, окончил там геологоразведочный техникум, года четыре работает в Сибири, сначала в партии, базировавшейся в Надыме, теперь здесь — в Тарко-Сале. Женат, недавно родился ребенок. Жена учится заочно в геологоразведочном институте в Москве на третьем курсе.

Ужинаем в походной столовой. Здесь тепло. По стенам одной половины балка — продолговатые столы-доски, вдоль них — по узкой скамье. В другом отсеке — комната поварахи Лидии Михайловны Гутевой. Высокая кровать с подзором и двумя подушками, покрытыми тюлевой накидкой. Поразило: даже на этих четырех квадратных метрах женские руки способны соорудить подобие уюта. Лидия Михайловна наливает борщ с говяжьей тушенкой и перцем. Подает мягкий и горячий хлеб (его предварительно распарили в ведре на печурке). На второе макароны — опять с тушенкой. И все это запиваем компотом.

С людьми Казаков доброжелателен, открыт, но требователен. Дистанцию соблюдают и он сам и подчиненные. Никто по имени его не называет — не иначе, как Владимир Павлович. Уважают.

Сегодня Владимир Павлович держит речь о кадрах и молодежи. Шерстит стариков.

— Если человек работает по старинке, не чувствует требований времени, если не в силах приспособиться к новому — с ним надо расставаться. Негуманно? Может быть. Зато в интересах дела.

Эта тема, видимо, близка Казакову, и он готов раскрывать ее дальше.

— Ну, а если все-таки, то дело не в возрасте. Просто нельзя допускать, чтобы подхалимаж давал дивиденды. А ведь стало модным делать карьеру простым способом — угрожая начальству. Вот и получается, что умение преданно смотреть в глаза шефу и вовремя вставить реплику нередко расценивается как необходимое качество работника. Между прочим, прежде на Севере такого не было.

— А как с романтикой? — спрашиваю я. — Блажь?

Казаков поднимает на меня глаза, они задумчивы, серьезные.

— Если под романтикой подразумевать увлеченность делом, то в такую романтику я верю. Но о Севере частенько пишу розово. Вот мы, геологи, просто привыкаем к своему делу, так же, как привыкают учителя, шоферы, рыбаки. И кто мы — романтики?

Половина восьмого утра. Выскакиваю из балка, хватаю в пригоршни чистого зернистого снега, растираю лицо.

Пора трогаться в путь. Трактор дергает наш вагончик — раз, другой, сильней, еще сильней, но бесполезно. За ночь стальные полозья примерзли к насту, и сдвинуть жилье с места можно только резким ударом трактора под углом к продольной оси вагончика. Эта операция, видимо, хорошо знакома ребятам, они проделывают ее без раздумий. И вот мы в дороге.

Балок ползет со скоростью километров семь в час, покачиваясь с боку на бок, как гусыня, подрагивая на колее, заштрихованной поперечными вмятинами гусениц.

Подрагивает и небольшой столик в кубрике Казакова — то-чье-то-чье такой, как в купе поезда. Плывут стены вагончика, обклеенные цветными фотографиями из журналов.

На одной стене, рядом с телогрейками и гитарой, висит таблица розыгрыша последнего чемпионата мира по хоккею с шайбой. Рядом кадры из фильма «Женщина на один сезон», и чуть повыше — график профилактических ремонтов технических средств.

В отсеке иногда скапливается семь-восемь человек, все курят, и потому дым стоит, как в зале ожидания. Но стоит откинуть форточку в окошке — комнатушка вмиг проветривается.

Казаков связывается с Тарко-Сале, рассказывает своему заму о планах работы на сегодня. При этом в отсеке стоит благоговейная тишина. Володя почти кричит в трубку, но не потому, что плохо слышно: привычка.

— Что бы мы делали без этой штуки? — кивает он в сторону радиостанции, когда разговор окончен. — «Олень». Дальность действия 400 километров.

За окошком лесотундра: перелески да заснеженные равнины. Летом здесь грибы, мхи, а во мху — морошка и голубика. Редколесный край.

Захожу в соседний отсек к инженеру-оператору сейсмостанции Александру Софроновичу Горшкову. Родом он из Тулы, служил в армии и был радистом, потом радиотехником, окончил четырехмесячные курсы операторов в Москве. Вот и все его образование. Горшков — практик, свое ремесло постиг в деле, а не на студенческой скамье.

Горшков старше всех в отряде. Может, оттого он такой малообщительный. Лишь изредка просунет голову в прокуренный «кубрик», бросит реплику, не вынимая изо рта папиросу, и стоит помалкивает.

Александр Софронович знакомит меня со своей техникой. Вот главный прибор: он усиливает электромагнитные колебания, получаемые после взрыва. Усиленные показания прибора записываются на магнитную пленку, а с нее снимаются сейсмограммы. «Читая» их, специалисты определяют глубину залегания и контуры нефтеносных пластов.

Здесь, в поле, инженер-оператор руководит взрывными работами. Это по его команде «огонь!» в отсеке Казакова нажимают кнопку «взрыв».

Взрывчатку закладывают в скважину глубиной метров двадцать. Очень редко эта операция сопровождается выбросом земли. Обычно ощущается только толчок, вздрагивание почвы.

...Сегодня обеда не будет. Столовая уехала на несколько километров вперед, и нам ее не нагнать. Но не беда. Парни жарят на печурке (она расположена в отсеке сейсмостанции) отменную яичницу, достают копченую колбасу, хлеб, конфеты, кипятят крепкий чай из снега. Все с аппетитом работают челюстями.

Самый большой чаевник — Казаков.

— Я и в поле-то отправился из-за чая, — говорит он, прихлебывая. — Разве в Москве такой чай где-нибудь подают? Добавки хочешь? — спрашивает он седа.

Тот молча кивает.

— Плесни, — приказывает Казаков парню, что сидит ближе всех к чайнику. В кружку льется золотой до красноты напиток.

Кто-то решает сфотографировать трех собак, которые путешествуют с отрядом. Это Север, Бич и Бобка. Парень соскакивает на снег, наводит камеру, но собаки не проявляют никакого интереса к съемке.

— Только о тушенке и думают, — сердится фотограф. — Ну, Бич, посмотри на меня. Ах ты, лодырь...

Вскоре выяснилось, что сломался один из трех буровых станков, шедших впереди нас. Колонна останавливается. Казаков нервничает. Приказывает немедленно начать ремонт. Чинят прямо на колее.

Солнце заходит за тучу быстро, будто проваливается в яму. Наступают сумерки. Они голубоватосерые.

К вечеру начинает потихоньку примораживать, но форточку в балке не закрывают.

Ребята мечтают: как придет лето, отправятся на Чертовы озера охотиться. Вот где дичи! Правда, до этих озер с протоками далековато, отсюда километров двести.

В вечерней мгле далеко видны горящие фары. Идет ремонт бурстанка. Тарахтит движок.

Глубокой ночью ремонт кончили. Теперь, казалось бы, все в порядке. Но нет. Утром выясняется, что на некоторых сейсмограммах получен брак. Казаков принимает решение — немедленно приступить к перестрелке. Предстоит повторить взрывы там, где зафиксирована плохая запись. Поэтому отправляемся назад по маршруту, пройденному отрядом в последние несколько дней.

Метет теплая метель. Горизонт в «молоке». Видимость никудашная. Трактористу с трудом удается ориентироваться по пикетам — метровым колышкам, воткнутым в обочину колеи. В хорошую погоду пикеты легко различимы, но в метель их можно и проскочить.

Настроение почти у всех неважное. Ясное дело, брак! На носу конец сезона, многие настроились «на домашнюю волну», а тут перестрелка.

Едем по заснеженной равнине, снег глубокий и рыхлый, видно ни следа. Редкие молодые ели навевают грусть. Только когда попадаем в островки леса, становится чуть веселей. Глаз хоть на чем-то может задержаться. Но потом снова ровное пространство с далекими и смутными силуэтами деревьев, размытыми метелью.

Проходит несколько часов, прежде чем мы сбиваемся с маршрута и теряем из виду профиль. Останавливаемся в лесу, угодив в болото.

— Объясните мне, — кричит Казаков, — что это за шалопайство? — Он высказывает из балка, падает в снег, поднимается и, весь багровый, требует ответа

от начальника отряда Фарита Сунгатуллина. — Почему заплутали? Ты должен мне ответить, почему мы оказались здесь?

Фарит, симпатичный малый, флегматичный очкарик с пышной шевелюрой, растерянно мямлит:

— Это все топики виноваты.

— Топики, топики... Сколько я слышу про этих топиков! У тебя-то башка на плечах есть? Или ты хочешь утопить трактор в болоте?

Топиками геофизики называют топографов. По их пикетам движется колонна взрывников. В этих местах топографы были месяц или полтора назад.

— Пикеты видел? — не отстает Казаков от Фарита.

— Видел, а как же, — оправдывается начальник отряда.

— Где видел? В институте на столе у преподавателя? Я тебя спрашиваю: здесь видел? Сидишь на тракторе, и ты и тракторист в очках, восемь глаз на двоих, неужели пикета нельзя заметить?

Казаков явно выходит из себя, полы его бурки ходят ходуном, серый шарф съехал с шеи и вот-вот свалится совсем. Ребята стоят возле Фарита, ждут, когда Казаков кончит свой обвинительный монолог.

— Пол-оклада срежу, тогда узнаешь, — не унимается начальник партии. — И за бочку порожнюю вычту.

— За какую еще бочку? — недоумевает Фарит.

— Вчера около профиля видел пустую бочку изпод горючего. Наша бочка, по номеру вижу. Это что, по-государственному? По всей тайге бочки, трубы, запчасти. Расхитители добра! Преступники! К маю домой захотели? Так я покажу вам дом! Будете вкалывать здесь. Вот так. И я вместе с вами, как надсмотрщик... Детский сад! — Казаков зло сплевывает, нервно ходит по колее, упрятав руки в карманы брюк, но по всему чувствуется, что гнев его пошел на убыль.

Для того чтобы снять напряженность, я тихо говорю ему:

— Вот в таком примерно состоянии Иван Грозный убил своего сына Ивана.

Казаков не сразу понимает, при чем тут Иван Грозный, но в следующее мгновение смысл до него доходит, и он хохочет «мелкой дробью». Лица ребят постепенно светлеют. Фарит чувствует, что теперь можно перебраться репликой с трактористом, и пытается что-то у него выяснить. Казакову не хочется так легко отпускать «расхитителя» и «преступника» Сунгатуллина, он искусственно пытается взвинтить себя, но ничего не получается. Выговорился. Подходит к Фариту.

— Объясни все же, что случилось? Вы что, с трактористом анекдоты рассказывали? Почему мы попали в чащобу? Где профиль?

Все начинают озираться по сторонам. Просека упирается в густые завалы леса. Трухлявые полусгнившие деревья в беспорядке преграждают ей путь. Совершенно ясно, что испокон веков нога человека тут не ступала.

— Сейчас, — отрывисто бросает Фарит. Он хватает тракториста за рукав, и они вдвоем бегут куда-то назад по следу колеи. Вскоре их фигуры исчезают в снежной пелене. Наступает молчание, слышно даже, как с ветки срывается ком снега.

— Ну и работнички! Ну и спецы! — бурчит Казаков. Но это уже отдаленные раскаты грома. Гроза миновала.

Спустя минут пять появляются Фарит и тракторист. В руках у начальника отряда пикет.

— Вот он, пикет-то... В ста метрах отсюда. А вы



мне об анекдотах.— Фарит победоносно бросает колышек к ногам Казакова.

— Что за фантастика? — Казаков потрясен.— Ничего не могу понять!

Начинается бурное обсуждение. Все сходятся на том, что напортчили действительно топографы. Видимо, они попали в топь, повернули назад, изменили направление профиля, а пикеты по рассеянности не сняли.

— Какая разница, кто виноват? Все равно плохо,— оправдывается Казаков.— Все равно это наша работа. И разбросанные бочки — наша работа. И вычитать из зарплаты за расхлябанность надо сполна. Я тебя уже лишил премии? — он обрывается снова к Фариту.— Лишил. Не помогает. Это и мне урок. Пора переходить к вычетам из зарплаты.

— Да что вы грозите? — вскипает Фарит.— Вычитайте. Хоть двести процентов.

— Ладно. Поговорим отдельно,— примирительно заканчивает Казаков.— Сейчас надо вытаскивать трактор и балок.

Трактор застыл, взгромоздившись на поваленный ствол дерева, резко накренившись вправо. Развернуться в этой чащобе ему будет сложнее, тем более что сзади прицеплен балок. Вагон наклонился влево, как бы для симметрии. Вот такие дела.

Битый час пытаемся выбраться из чащи. Наконец удается. По гусеничному следу выходим на профиль. И начинается перестрелка. Снова вздрагивает земля, снова перописец рисует на сейсмоленге таинственные горы и равнины, снова кубрик Казакова наполняется народом и папиросным дымом. И только начальник партии, раздосадованный происшедшим, угрюмо глядит в окошко.

— Да, нелетная погода,— говорит Казаков.— А за мной сегодня должен был прилететь попутный самолет. Вряд ли разрешат вылет. Вот если только на аварийную буровую отправят. Да и тогда мое дело дрянь. Мы ушли от вчерашней стоянки километров на пятнадцать, и пилоты, конечно, не смогут нас обнаружить, у них старые координаты.

Напротив Казакова сидит грустный Фарит. Он моложе Казакова на год-два. Красивый парень. В городе ему от девушек отбоя не было бы, а он тут, в глуши...

Фарит впервые проводит полевой сезон в роли начальника геофизического отряда. Как-никак, а в его подчинении тридцать человек. У каждого свой нрав, свои претензии... А у него так мало опыта, за плечами лишь геологоразведочный институт. Да еще Казаков ни с чем не считается, при всех стружку снимает.

— И что вы за начальник,— морщится Фарит.— Ну, приехали в отряд на пару дней — и хватит. А то больше недели торчите. Все нотации да нотации. Я почему и на связь-то не люблю с вами выходить, потому что знаю: обязательно за что-нибудь разнос будет.

— Так я за дело ругаю, дурень,— втолковывает ему Казаков.— Ты своей бесхребетностью авторитет у рабочих не заработаешь. А безобразий будет больше.

Казаков улетел из Тарко-Сале, даже не поставив в известность жену Светлану. Случилось так, что в отряд отправляли самолет, а начальник партии в этот момент оказался в порту. Сел и полетел. Больше недели его нет дома. Жена, конечно, знает, ей передали. Но Казаков не был бы Казаковым без этих своих штук. И в этом тоже — Север.

...Целый день перестреливаем брак. В ушах стоит гоминительное поскрипывание полозьев, команда Горшкова «взрыв!» и затем приглушенное уханье из-под

земли. Наконец кто-то берет гитару со стены, трогает струны и звучит негромкая мелодичная песня — «По смоленской дороге леса, леса, леса...»

Метут сильные ветры. Снова начинает подмораживать. Наст становится твердым, теперь во время коротких стоянок мы ходим по снегу, как по асфальтированной площади.

Работа кончается поздним вечером. Повариха Лидия Михайловна заждалась нас и даже вздремнула на кровати. Ужинать бежим так же быстро, как Фарит с трактористом бегали к пикету. Бич скулит, глядя на луну. Она висит на небе, полная и стылая до синевы.

В полдень пад колонной появляется АН-2. Делает широкий круг над нами и искусно садится на поляну, окаймленную зарослями мелкого кустарника. Казаков бежит к самолету.

— Привет! — кричит он летчикам, когда те спрыгивают на снег. — Обедать будете?

— За тем и прилетели. А ты думаешь, за тобой? Сдался ты нам...

— Заразы, — Казаков хлопает одного из пилотов по плечу. — Ну, что в Тарко-Сале?

Экипаж направляется к Лидии Михайловне, чинно обедает, летчики выкуривают по сигарете и только после этого забираются в кабину. Казаков дает последние указания Фариту. Тот слушает как-то рассеянно, не спорит, не возражает, лишь согласно кивает головой. По всему видно: доволен, что Казаков наконец-то уезжает. Гора с плеч.

АН-2, качнувшись крыльями, проплывает над колонной и затем уходит в сторону от профиля. Еще несколько секунд видна на снегу стреловидная прямая, пересекающая редколесье. Потом она исчезает...

В Тарко-Сале метель. Люди по улицам ходят боком. И десять минут ходьбы превращаются в трудную дорогу: приходится забегать то в продмаг, то на почту — отдышаться и погреться.

С утра захожу к Казакову в управление геофизической партии. Он восседает за письменным столом. На нем меховой полушубок, горло повязано шарфом. Стол небольшой, и когда Казаков встает из-за него, то кажется переростком, поднимающимся из-за парты.

— Эх, мало побыл! — искренне сожалеет Володя. — Тут у меня такие люди работают! Артисты. Хочешь, расскажу? Один, например, решил загипнотизировать всех собак в поселке, чтоб раз и навсегда покончить с лаем. Нет, серьезно. Подойдет к собаке и долго смотрит ей в глаза. Потом к следующей. Наутро я его спрашиваю: «Как дела? Собаки-то лают». А он мне деликатно: «Это собаки топиков лают. Они гипнозу не поддаются». Ну не артист? И вот с такими работаю. Ну можно с ними план давать?

Мне жаль расставаться с Казаковым

— Ничего, — успокаивает он, — Сибирь не такая большая, как кажется на первый взгляд. Встретимся.

Прошло несколько лет. Как-то весной по заданию редакции я попал к нефтяникам Западной Сибири. В кузове тяжелого и сильного «Урала» мы мчались по бетонке, опоясывающей Самотлор: вахта возвращалась с буровой в город. Уж и не помню, как я обронил эту фамилию — Казаков.

— Володька? — переспросил бурильщик. — Тут он, на Вахе служит у водозабора.



Возможность новой встречи с давним знакомым была неожиданной и приятной. Наутро на попутной машине отправился незваным гостем.

На 31-м километре машина съехала с бетонного кольца. Пошли рытвины, невероятная хлябь. В колее след грузовика бесновалась вода. Случись сейчас что-нибудь, и так противно будет спрыгивать на эту землю, разбитую весной и колесами.

Наконец по сторонам дороги показались балки. Кричу встречному парню:

— Где сейсморайон?

— Здесь, — отвечает.

— Казаков тут?

Кивает и идет мимо, давая знать: разговор окончен. Стучу водителю по крыше кабины — приехали.

Из аккуратного домика с двумя симпатичными ставенками показывается знакомая фигура. Идет грузно, присматриваясь: кто такой нагрянул?

Теперь Казаков мне показался ниже ростом и гораздо степеннее. Но в общем не изменился. Все тот же заливистый, рассыпчатый голосок.

— Ну, дружище, осматривайся. Чем не благодать?

Вдали разлился Вах, затопив собой пойму. Стойбище геофизиков расположилось на крутом берегу небольшого притока. Застыла чарующая тишина. Только несколько ребят-бородачей возятся возле сруба, завершая постройку.

— Чем же занимается тут твоя партия? — спрашиваю для начала.

— А никакой партии сейчас нет. Всех в отпуска разогнал. Тут и десятка человек не насчитаешь. А всего у меня с полсотни. Чем занимаемся? Популярно говоря, детализацией Самотлорского месторождения. Уточняем запасы, выявляем дополнительные залежи: что там, поглубже?

И смеется:

— Работы хватит лет на сто.

Вскоре появляется Светлана вместе с дочуркой и собачонкой. Смуглая, невысокого роста, складная жена у Казакова. Хозяйка, видно сразу — стоит заглянуть в дом. Чистота, как в гостинице высшего разряда. Две кровати, покрытые пледами. Стол с вазой, в которой веточка хвои. Самодельный стеллаж до самого потолка вагончика отделяет вход от спальни. Детская кровать буквально засыпана игрушками. А еще Казаков умудрился вынести печку в пристройку. Так что в балке стало совсем просто.

— Ну-ка, хозяин и гость, за водой, — весело командует Светлана.

Муж берет ведро и бачок, и мы спускаемся к берегу. Идем осторожно, потому что ни снег, ни земля не держат.

— Вот так и живем, — говорит Казаков, зачерпывая ведром студеную воду. — Знаешь, иногда думаю: а на фига? Не купить ли машину, скажем, «Жигули», а еще лучше фургончик? Да и поселиться где-нибудь в русской деревеньке. Заняться хозяйством... Тянет, ей-богу. Хватит, и грязь помесил и снега потоптал... Посмотри-ка, кажется, полон бачок?

Воду несем с осторожностью: поскользнешься — придется снова к реке топтать.

Я молчу. Уж больно неожиданную тему затронул хозяин. И каким-то обмякшим показался он мне в тот миг.

— Да духу не хватит со всем этим порвать, — продолжает он. — Врос. Жалею, что врос. А взорвать такую жизнь никак не решусь. Страхусь: вдруг потом сниться будет? Так и живем. Помнишь, о романтике говорили? Привычка, она посильней романтики.

Светлана приготовила вкусные блины с зеленым горошком. На десерт поставила фруктовую воду и на тарелке — дольки апельсина.

— Жена, — обратился вдруг Казаков. — Скажи, а если писателя на лето пригласить, застанет он нас тут? — Володя подмигнул мне: мол, сейчас прозвоним общее настроение.

— Приглашай, застанет, — слышалось в ответ горькое и насмешливое. — Разве с тобой куда-нибудь сдвинешься? Только на слова и мастак. Вот и старых дружков созываешь. Так не уезжают.

— Каких дружков? — поинтересовался я.

— Как каких? Фарит возвращается из армии, списались, договорились работать вместе. А чего? Он же женился. На Светкиной подруге. Будет картина «Сердца четырех», — и дробно захихикал. — Тот, лысый, что записывал сейсмограммы...

— Горшков?

— Ну!.. Я и его звал. А водителя трактора, очкарика, помнишь?

— Припоминаю.

— Уехал к себе на Украину, плюнул на «северные». И что ты думаешь? Вернулся, бродяга. Прихватил с собой дружка да два мешка болтов и гвоздей. Тут этого добра не достать. Вот и поди ты, Север... прилипает. Но ваш-то брат может написать благопристойнее: романтика. Нет, в самом деле, это слово как-то привычнее уху... В общем, зову к себе тракториста. Вроде он обещал.

Я слушал его и понимал: это сам с собой Казаков спорит, себя спрашивает, себя ломает, свой завтрашний день отыскивает. И не пытался ни в чем его укорять. Такие ребята не терпят советов со стороны.

Мы вышли на улицу.

— Дровец не нарубить, Свет? — как-то нервно крикнул Володя.

— Наруби, — спокойно ответила жена из балка. — Не видишь, что кончаются?

Казаков причмокнул: вот, мол, стал геофизиком-бытовиком. Прощай, кипятик из снежника, прощай, стывшая луна. Здравствуй, теплый дом, отделанный сверкающим заводским пластиком. Но надолго ли? Потому и нервничает Казаков, «выясняет отношения» сам с собой.

...Сигнал машины застал нас на опушке.

— Уже зовут? — с тревогой спросил Казаков.

— Да, пора. Может, и еще когда-нибудь свидимся.

— А почему нет? В Сибири трудно затеряться, — задумчиво сказал Казаков.

И мы обнялись.

РУБЕН БОШЯН,

кандидат технических наук,
руководитель группы
автоматизированных
систем обучения
Ереванского отделения
Охтинского
Научно-производственного
объединения
«Пластполимер».



1. Отвечаю на вопрос сразу, не задумываясь, — конечно же, самый счастливый и запоминающийся день в этом году был день, когда мне сообщили, что моя диссертация утверждена в Москве Всесоюзной аттестационной комиссией.

В этот день я делал ремонт своей квартиры. Сам все работы вел. Я люблю все делать своими руками, ведь никто лучше меня самого не знает, как устроить все кругом, чтобы было приятно жить в своем доме, чтобы все кругом радовало тебя и твоих близких. Вот я и решил все именно так устроить. Клею обои, вдруг — телефон. Я чуть со стремянки не упал. Понял, что из Москвы звонят. Подбегаю к аппарату, слышу голос своего московского друга по институту, где я защищался: «Старик, все в порядке!» Ну, я обрадовался, как ребенок! Первая ступень взята, еще одно дерево посажено.

Через несколько дней я поехал в Новосибирск, в Академгородок, на международный симпозиум по применению ЭВМ в области химии. Заехал в Москву в родной Менделеевский институт и получил там на руки свой диплом. Когда вернулся в Ереван, первым делом скопировал его и эту фотокопию с теплыми словами благодарности за все подарил маме. Она приняла мой дар сдержанно, как и принято у горцев — сдержанно, но с большой радостью. Жена и сын тоже были очень довольны. У меня сыншка, четыре года. Раньше, когда его спрашивали «Где папа?» — он отвечал: «Папа пишет диссертацию». Это слово очень рано выучил, почти сразу за словом «папа».

2. Что касается моих жизненных устремлений — я очень хотел бы быть хозяином своей жизни, чтобы всегда все в моей жизни зависело от меня, а не от внешних обстоятельств. До сих пор, в общем, у меня это получалось. Школу окончил с золотой медалью, в институте был Ленинским стипендиатом, вот в двадцать восемь лет диссертацию защитил...

Стараюсь всегда быть на гребне. Иногда тех, кто на гребне, бросает на волнорез и больно бьет, но как-то я до сих пор обошелся без синяков...

Я думаю, человек счастлив, когда все, что он задумывает, получается. А для того, чтобы так было, надо свои стремления соизмерять со своими возможностями. В науке я стараюсь ставить перед собой такие задачи, которые я могу решить. Я сказал и подумал: а ведь это не совсем так... Часто задача кажется невыполнимой и именно поэтому привлекательной. Взять хотя бы то, чем я сейчас занимаюсь.

Я руковожу группой в несколько человек, мы разрабатываем специальные тренажеры — автоматические системы, обучающие операторов химического производства на электронно-вычислительных машинах. Это очень прогрессивный метод обучения и перспективная отрасль кибернетики. По этому вопросу я много узнал в Академгородке на международном симпозиуме.

А недавно и у нас состоялся первый семинар, где мы подвели некоторые итоги нашей работы. Вы знаете, неплохие итоги! Вопреки пессимистам, которые не верили в нашу работу. Да и мы, чего греха таить, вначале сомневались... В моей группе всего четыре человека, а проблема такова, что ею порой занимаются целые институты. Первое время осторожно карабкались, но потом дело пошло, и сегодня у нас уже есть первые результаты. Все-таки надо рисковать! Конечно, возможности свои надо оценивать трезво, но сами эти возможности надо все время расширять, самосовершенствоваться, тогда и за фантастические задачи можно будет браться. Конечно, в жизни всякое бывает, и я не удивлюсь, если споткнусь на чем-нибудь, но, по моим расчетам, этого вроде бы быть не должно...



БОРИС ГОРБАТОВ И ЕГО ДРУЗЬЯ



Борис Горбатов всегда был верен своим друзьям-комсомольцам: и в юношеских стихах, и в повести «Ячейка» о рудничной молодежи, и в романе «Мое поколение» о детях гражданской войны, рано ставших взрослыми. Вспомним Настю и Павлика из «Непокоренных», Наталью Логинову и ее дочь Елену из «Юности отцов», Андрея и Виктора из романа «Донбасс», по комсомольскому призыву приехавших в угольный край.

И сам Горбатов был одним из первых пионеров в школе, первых комсомольцев на Краматорском заводе, где работал учеником строгалящика.

С детских лет Борис Горбатов связал свою судьбу с газетой. «Какой ты, оказывается, маленький», — сказал ему редактор «Всероссийской кочегарки», вызвав к себе автора сердитого рассказа «Сытые и голодные» с намерением предложить ему штатную работу в редакции. С тех пор, скрыв, что он еще учится в школе, Борис Горбатов по утрам правил рабкоровские заметки во «Всероссийской кочегарке», а затем, сломя голову, мчался в вечернюю школу. Вызванный из Краматорской по комсомольской мобилизации в родной Артемовск, он редактировал «Молодой шахтер», был в числе самых молодых делегатов на Первом Всероссийском съезде пролетарских писателей.

Неизменно занимала Бориса Горбатова мысль о духовном возмужании его сверстников, о новых, выросших вслед за ними, поколениях.

— Я рано старею внешне, но никогда не буду взрослым всерьез, — слегка, по свойственной ему привычке, посмеиваясь над собой, говорил он.

Первые я услышала от него эти слова, когда ему еще не исполнилось сорока лет. В 1947 году была выдвинута от трех районов Брянской области кандидатура Б. Л. Горбатова в депутаты Верховного Совета РСФСР.

В то время я работала над книгой о творчестве Бориса Горбатова. Мое намерение взяться за нее писатель встретил сурово.

— Еще рано! — буркнул он и перевел разговор на другое.

Я не сдалась. Исподволь собирала материал. Постепенно Горбатов стал рассказывать о себе...

Во время выступлений Горбатова перед избирателями я обычно присутствовала с блокнотом в руках. Как сейчас вижу его в сером драповом пальто, широкополой фетровой шляпе. Он шагает своей быстрой походкой, не замечая ветра и мороза, не поднимая воротника.

Мы проезжали мимо развалин, оставленных войной, мимо вновь отстроенных деревень. Любовались бревенчатыми стенами новых домов, слушали рассказы о подвигах брянских партизан.

В Жуковке просторный зал клуба не вместил всех, кто хотел увидеть и услышать кандидата в депутаты. Люди теснились у входа, заглядывали в окна. Митинг транслировался по радио. У репродуктора стояла толпа.

На трибуну выходили пожилые женщины, перенесшие ужасы фашистской оккупации, приветствовали писателя от имени непокоренных. Бывшие воины благодарили его за «Письма к товарищу», «Рассказы о солдатской душе».

Не однажды пришлось кандидату в депутаты выступать на морозе. Не раз приходилось мне видеть застывшие слезы на глазах избирателей при воспоминании о пережитом во время Великой Отечественной войны.

...Впервые увидела я Бориса Горбатова в редакции журнала «Октябрь». Шел 1932 год. Редакция поме-

щалась на верхотуре большого по тем временам казенного дома на углу улицы 25 Октября и Большого Черкасского переулка. У нас было странное помещение, похожее на отдельную квартиру. Одна дверь открывалась в кабинет Ф. И. Панферова, другая — в комнату для остальных сотрудников.

В редакции было тихо. Журчала пишущая машинка под музыкальными пальцами «души нашей редакции» Веры Ивановны Голицыной. Я углубилась в свежую верстку.

Вдруг словно дунул сильный ветер. Я подняла глаза. Передо мной стоял плотный молодой человек с коротко подстриженными темными волосами, смуглым лицом и ярким румянцем во всю щеку. Протягивая мне рукопись, он словно отрапортовал: «Прошу передать Панферову!» И тут же исчез. Я прочитала: «Борис Горбатов «Горный поход».

Вера Ивановна, поступившая в редакцию раньше меня, объяснила, что Панферов давно ждет эту рукопись. Борис Горбатов только что демобилизовался из армии, стал корреспондентом «Правды», всю жизнь проводит на колесах и всегда спешит.

«Горный поход» можно бы назвать записками редактора полковой газеты, записками о той поре, когда юнцы, призванные в армию, постигая военное дело, учились мужеству, выносливости, стойкости, становились надежными солдатами.

В 1933 году в журнале «Октябрь» печатался его новый роман «Мое поколение». Горбатов по-прежнему стремительно врывается в редакцию. Произносит своей характерной скороговоркой несколько слов. Задерживался лишь для того, чтобы разрешить вопросы, возникшие у редактора или корректора. Решал их на ходу.

Готовя к печати рукопись, перечитывая гранки и верстку, пахнувшие типографской краской листы, я узнавала автора и его друзей. Та же горячая «жажда» — все увидеть, «везде быть», прощупать «собственными руками», как у нас принято было говорить в редакции. «Делать! Делать, что-то немедленно, сейчас, сию минуту...» Найти применения быющей через край энергии. Лучше всего выражено в романе мироощущение автора и его героев при изображении душевного состояния Алеша Гайдаша. Его можно, по словам автора, поставить вместо паровоза, и он потянет состав с криворожской рудой. Алеше кажется, что слишком медленно движется время. В самом ритме горбатовской прозы выражается стремление передать движение времени, устремление страны.

«Ветер швыряет в лицо Алеше пригоршню колючей пыли, ветер нетерпеливо хлопает о стенки вагонов, ветер рвет в клочья пар. «Ходу! Ходу!» — трясет вагоны, трясется фонарь в руках стрелочника, дрожат рельсы под колесами. Алеша наклоняется, смотрит вниз. Его тоже трясет. «Ходу! Ходу!..» Вот так бы мчаться сквозь всю жизнь, как сквозь степь. «Ходу! — кричат. — Ходу! Дай ходу!..»

Этот стремительный темп и доверительный тон романа «Мое поколение» покорили читателя. Особой интимности повествования способствует введение в роман «двойника» писателя — молодого журналиста Сергея Бажанова. Он, охваченный подъемом, присутствующим строителям тридцатых годов, вспоминает свое детство, сражения в железном батальоне, столкновения в школе рабочей братвы с сыновьями обеспеченных родителей, «безбожный» карнавал, скитания в поисках заработка, неумную радость от участия в сознательном труде...

Но «Мое поколение» не автобиографический роман и не исповедь Сергея Бажанова. Это автобиография поколения первых строителей социализма. Главная его заповедь «В жизни пропасть нельзя. Даже если бы Алеша прыгнул сейчас с поезда в глухую

степь — все равно не пропад бы. Он поднялся бы на ноги, отряхнулся и пошел, ломая сухой ковыль, сквозь степь искать дорогу. Скоро он заметил бы дымок на горизонте. Где дымок — там люди. Где люди — там работа. Где работа — там хлеб. В жизнь пропасть нельзя!»

Настроения автора «Моего поколения» на редкость были созвучны сверстникам Горбатову. Он стал одним из первых советчиков и друзей молодежи.

По правде говоря, он сам не ожидал такого успеха. Чувствовал некоторую разбросанность композиции, недоработанность отдельных образов. Скромно просил у читателя снисхождения.

«Но что же делать, ребята, — обращался он к своим героям и, несомненно, и к читателям, — о нас не пишут! И вы не ругайтесь уж, что взялся я! В свое оправдание... могу сказать, что сделал все, что умел. Я вложил сюда все, что у меня было... Вот я весь — больше у меня ничего нет, я все отдал».

Увлеченная общим порывом, я отвечала Горбатову в статье «Герои нашего времени», опубликованной в журнале «Молодая гвардия» в 1934 году. «Нет, товарищ Горбатов, у тебя еще очень много времени впереди...

Это ведь ты написал про себя: «Я хочу переделать все дела, сработать все работы. Я хочу искать нефть в Стерлитамаке и рыть канал на Белом море, рубить уголь в Донбассе и мчаться на автомобиле по гудрому Крыма, валить лес под Архангельском и класть рельсы Донецкой магистрали, разносить почту по мордовским селениям, водить трактор, ладить сплавные плоты, бить щебень, трамбовать бетон, мерзнуть на пограничной заставе, — я хочу стать мастером всех профессий, какие есть на земле... Ты раскрыл тончайшие оттенки в отношении к труду, которые заставляют мастера любить свое дело. Ты очень хорошо изложил свое писательское кредо. «Мне кажется, что писатель живет, радуется и печалится всеми профессиями... делает все, то делают его герои, и я очень хочу научиться писать книги».

Ты, безусловно, будешь писать хорошие книги, Горбатов, ты уже написал хорошую книгу. Но она могла быть лучше. Ты еще не все в нее вложил, что мог...»

Я боялась, что подобная дерзость критика покажется неуместной. Но автор мои слова воспринял доброжелательно. Поделится со мной планами второй книги романа.

Через несколько лет после окончания Великой Отечественной войны я подготовила по роману «Мое поколение» цикл передач для детского радиовещания и принесла Горбатову первую из них. Узнав, что впереди еще семь передач, которые ему предстоит визуировать, Горбатов вырвал из своего блокнота страничку и написал:

«В детский отдел Радиокomiteта.

Целиком согласен с монтажом, сделанным по моей книге «Мое поколение» Г. Колесниковой.

Поручаю Галине Колесниковой во всех вопросах представлять автора, так как она знает эту книгу лучше, чем я (она печатала ее в «Октябре», писала о ней большую статью и проч.).

Бор. Горбатов».

Наш разговор о будущем героев «Моего поколения» пригodiлся, когда после смерти писателя была обнаружена неопубликованная рукопись — начало второй книги романа.

Вернувшись к своим героям, Горбатов вернулся и к былым проблемам. Они усложнились, когда юноши стали взрослыми, а страна перешагнула в новое пятилетие. К сожалению, вторая книга осталась незавершенной. (Главы из нее опубликованы в «Новом мире» в 1955 году под названием «Алексей Гайдаш».)



Борис Горбатов. 1925 год. Артемовск.

Дружным одобрением критики и читателей была встречена скромная книга северных рассказов Бориса Горбатова с полемическим названием «Обыкновенная Арктика». Опубликованию этой книги предшествовали зимовка писателя на Диксоне и участие его в перелете над Северным морским путем.

В марте 1935 года Борис Горбатов как корреспондент «Правды» вылетел вместе с полярным летчиком Молоковым на Диксон. Выполнив задание редакции, собиравший вернуться обратно. На соседней зимовке заболел человек, которого нужно было вывезти на материк. В самолете было только одно место для пассажира.

— Вези больного, — сказал Горбатов Молокову.

Так решился вопрос о зимовке на Диксоне, которая продолжалась долгую полярную ночь.

Горбатов был полезным человеком на зимовке. Руководил кружками политпросвещения. Выпускал стенную газету и юмористический бюллетень. Помогал строить баню. Пилил и возил на нартах снег для приготовления пищи. Ездил на промысел, ходил на охоту. Когда началась навигация, помогал разгружать суда, участвовал в спасении затонувшего у берега «Белушатника».

А попутно вел дневник, посылал корреспонденции в «Правду», писал рассказы, подробно на несколько лет разработал план своей писательской работы, который почти целиком осуществил по возвращении на «большую землю».

Перелет над Северным морским путем летом 1936 года углубил и расширил представление Горбатова об Арктике.

В своих северных рассказах писатель доказал, что появилась новая Арктика, согретая человеческим дыханием. С полным правом можно сказать, что Горбатов положил на новый курс литературу о Севере.

Дружеская близость автора со своими героями сохранилась и в «Обыкновенной Арктике».

«Если вы попадете когда-нибудь на Тихий мыс, спросите у начальника тетрадку в черном коленчовом переплете — летопись зимовки», — говорит Горбатов, начиная рассказ «Мы и радист Вовнин» — о мужской дружбе и бережном отношении к девушке шести одиноких мужчин. «Где плаваешь теперь, чудесный боцман?» — заканчивается рассказ «Боцман с «Громобоя». По-прежнему любит Горбатов запросто обращаться к читателю: «Давайте закурим, ребята. Вам слушать-то не надоело?»

Почти через двадцать пять лет после зимовки Бориса Горбатова на Диксоне и мне удалось побывать в тех краях. Времена изменились. Для путешествия на комфортабельном теплоходе «Чкалов», открывшем пассажирско-туристскую линию Красноярск—Диксон, не требовалось мужества и выдержки.

...Мы подходили к Диксону. Слышались знакомые названия: мыс Ефремов камень, мыс Челюскина, мыс Лемберова... Именно здесь проходил дядя Терень, герой рассказов Горбатова «Большая вода», разнося почту зимовщикам во время весеннего бездорожья. Где-то поблизости пробирался Борис Горбатов на занятия по политпросвещению, на охоту, к знакомым зимовщикам.

В дороге мы познакомились с охотником Емельяновым. Когда-то он с Борисом Леонтьевичем ходил на охоту, участвовал в спасении «Белушатника», вспоминал, как забрались они все в ледяную воду, испачкались в мазуте.

На вечере самодеятельности в светлом просторном клубе подошла ко мне смуглая молодая женщина с суженными углами глаз и гладкими блестящими волосами. Оказалось, что это радистка Тамара Таян, племянница начальника острова Врагеля, которому посвящен очерк Бориса Горбатова «Таян-начальник». Она была совсем маленькой, когда Горбатов приезжал на остров, запомнила его легкую походку, быстрый говорок, особое ласковое внимание к детям. Никто не предполагал тогда, что к ним приезжал писатель.

От деревянного дома, где зимовал он, не осталось следов. Нам показали бухточку — там приземлился самолет Молокова. Не было при Горбатове ни нынешних огромных подъемных кранов в порту, ни похожего на морской корабль здания Севморпути.

...Как ни богата была впечатлениями жизнь корреспондента «Правды» в тридцатых годах, все это померкло перед пережитым Борисом Горбатовым в годы Великой Отечественной войны.

Друзья Горбатова утверждают, что он был военным человеком по призванию. Пожалуй, они правы. Горбатов был хорошим солдатом в Ахалцихе, достойным офицером во время освободительного похода по Западной Белоруссии, смелым командиром в снегах Финляндии. Славным защитником Родины и в тяжелые дни отступления на Южном фронте, и в дни оборонительных боев у подножия Кавказских гор, и в наступлении наших войск на Запад. На наблюдательном пункте Неустроева и Давыдова в блокноте Бориса Горбатова записано: «Или

рейхстаг наш, или нас не будет. Мы не уйдем, пока не будем в рейхстаге».

В окно из наблюдательного пункта он увидел, как дымил рейхстаг. А чтобы добраться туда, прополз по-пластунски двести метров через площадь, которая простреливалась насквозь. Ему кричали товарищи: «Возвращайся!». Он же полз не оборачиваясь. Достигнув наблюдательного пункта дивизии, так же по-пластунски направился к Неустрову и Давыдову.

Я слышала рассказ Бориса Горбатова о том, как водружали знамя Победы над рейхстагом Егоров и Кантария. Он первым беседовал с ними. Вспомнил Б. Горбатов и о том, как бродили журналисты и писатели по просторным подземельям в развороченном чреве фашистской империи, опознавая группы деятелей рейха.

На историческом снимке у развалин рейхстага Борис Горбатов стоит в группе писателей, достигших Берлина, вторым слева в первом ряду.

Был он и среди тех, кто присутствовал при подписании капитуляции гитлеровской Германии.

Фронтные корреспонденции Бориса Горбатова — своеобразный дневник журналиста от первых дней войны до торжественного часа Победы. Он воочию видел, как люди становятся героями. И сверстники его, с которыми он вместе начинал военную службу. И комсомольцы, ставшие воинами, едва расставшись со школой. Он всегда был рядом с солдатами, знал цену солдатского труда.

Корреспонденции Б. Горбатова отличались особой оперативностью. «Лагерь на Майданеке» был написан непосредственно после посещения этой страшной фашистской фабрики смерти. Всю ночь писатель строил страницу за страницей. Не сомкнул глаз, пока не поставил последнюю точку. На вопрос бывшего с ним Евгения Долматовского, как у Горбатова хватило духу сразу написать о Майданеке, Горбатов ответил: «Мы, журналисты, обязаны писать обо всем. Наши переживания только на бумаге приобретают силу. Солдат, увидев то, что мы увидели там, должен схватить автомат и идти мстить. А я должен передать свое ощущение... тем, кто этого не видел. И сделать это немедленно. Иначе мое существование теряет смысл». И для того, чтобы увидеть самое важное, самое трудное, Борис Горбатов не жалел себя.

Переполюнявшие писателя чувства гнева, любви, ненависти, сострадания заставили его перешагнуть границы жаиров. «Непокоренные» можно назвать и повестью, и романом, и поэмой. Рассказы — очерками, очерки — рассказами. Проникиовенные «Письма товарищу» — мысли вслух, переключки друзей, воспоминания о пережитом, слово другу. Гневные публицистические выступления-памфлеты.

И всему написанному Борисом Горбатовым соответствует то ритм созидания тридцатых годов, то раздумчивое проникновение в душу тех, кто одухотворял снежную пустыню, то поступь солдат, гул орудий, стоны, горечь отступлений и восторг победителей. Все чувства писателя обострены до предела.

Подъем, охвативший весь советский народ после победы над фашизмом, звучит во всем написанном Борисом Горбатовым в последние годы.

На редкость много сделал, поведал людям этот беспокойный, до предела искренний, открытый, честный человек за короткую сорокапятилетнюю жизнь. Ему в этом году исполнилось бы 70 лет...



НИКОЛАЙ ГЛАЗКОВ

Месяц октябрь

1

Сентябрь, тот Деву уважает —
Октябрь привык служить Весам¹,
Когда он взвешивает сам
Обширнейшие урожаи.
Листвы лирической знаток,
Он смысл осенний разумеет,
Ведет подсчеты и умеет
Успехам подвести итог!

2

Ревет и стонет буйный ветер,
Октябрь шагает по стране.
Соседний лес осенне светел,
И синий сумрак леденей.
Не очень радует прохлада,
Однако есть и в ней отрада,
Чудесницы-природы дар:
Купаться в синей речке надо,
Еще я молод, а не стар!

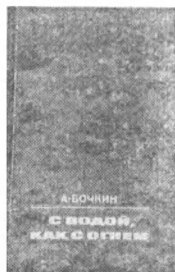
3

Октябрь —осенний оптимист
Легко летит навстречу стуже.
Его увядший желтый лист
Чуть слышно упадет в лужи.
Когда печален ветра свист,
Ему не грустно, он не тужит!

4

Такой пушистый, белый снег
Октябрьским утром выпал,
Махровые уремы рек
Узорчато усыпал.
Лежит и знает, что нужна
Ему зима, а мне весна!

¹ Дева и Весы — в данном случае сентябрьский и октябрьский знаки Зодиака.



Л. БАХНОВ

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Разное приходилось выслушивать этому человеку. Ходил он в «новаторах» и в «консерваторах», в «перестраховщиках» и «самовольщиках», шагал «в ногу со временем» и «не в ногу». Им восхищались. Его обвиняли в инженерной неграмотности. Ему доверяли. Его допекали бесчисленными комиссиями. «Если бы я узнал, что в то время моим именем путают детей, я бы не удивился», — вспоминает Андрей Ефимович Бочкин один из нелегких эпизодов своей биографии.

Да, было и такое. Всякое было. Но дело его жизни признано. Ленинская премия, звание Героя Социалистического Труда. Об этом, правда, мы узнаем не из самих мемуаров гидростроителя, а из аннотации к книге (А. Бочкин. С водой, как с огнем. Рассказ гидростроителя. Литературная запись Ю. Капусто. М., «Советская Россия», 1978). Была трудная, долгая, напряженная и — не побоимся патетики — в конце концов счастливая жизнь человека.

Свое дело — отсюда, наверное, та удивительная несуетность, с которой автор рассказывает о том, чему участником и свидетелем довелось ему быть. Хотя чего-чего, а уж повседневной, будничной суеты и невротичности начальнику строительства Иркутской и Красноярской ГЭС хватало через край. Эта несуетность, уверенная твердость взгляда на мир покоряют с первых же страниц.

Вот Бочкина — совсем еще юношей — посылают в Сибирь, начальником политотдела МТС. Вскоре он становится секретарем райкома партии. Крестьянская жизнь ему знакома не понаслышке, сам рос в селе. Пришли годы коллективизации. «Словом и только словом» пытался он убедить людей. Бочкин ругали, обвиняли в либерализме, оппортунизме. И все-таки «словом и только словом. Ничего диктаторского ни разу себе не позволил».

Здесь, в Сибири, и позже, на строительстве Бузулукской и Кутулукской оросительных систем, и еще позже — в годы войны, которые он провел на Карельском фронте, — выковывались те качества, которые определяли Бочкина и как личность и как руководителя строительства крупнейших в мире гидроэлектростанций. Нет, не профессиональный опыт составляет главную ценность этой книги. Не опыт гидростроителя и не опыт руководителя. А тот человеческий, нравственный опыт, который нужен любому, где бы и кем бы он ни работал.

С болью вспоминает автор ту жестокую задачу, которую ставила война перед каждым командиром: выполнить приказ и сберечь солдат. Ты в ответе за выполнение приказа, но ты же в ответе и за людей. Случалось, посылал и на верную смерть. И сам чуть не погиб. «И вот тебе кажется, что ты достиг уже того, чего должен, что ты уже камень. А вдруг откуда-то опять вылезает, что ты человек...» Не тот, не военный ли опыт заставил начать строительство Иркутской ГЭС с заботы об удобном жилье для рабочих?

Там, на войне, наравне со своими солдатами роя подкоп под гору Гангашвара, он по-настоящему понял, на что способен человек, когда он не один. Не отсюда ли крепкое убеждение, что строительству необходим в первую очередь спаянный коллектив? «Мы далеко ушли от времени «Дубинушки», но это вечное начало в нашей душе. «Эх, дубинушка, ухнем!» С азартом и на миру легче работать», — говорит Бочкин.

Не раз и не два приходилось руководству строительства обращаться к рабочим не только за помощью, но и за советом. Так уж было заведено: решать трудные вопросы сообща. И рабочие порой находили такие блестящие решения, до которых не додумывались опытные инженеры. Впрочем, автор очень далек от того, чтобы приволастывать рабочих инженерам или наоборот. В настоящем коллективе все сообща делают одно дело.

А. Бочкин принадлежит к первому поколению советских специалистов. И, как многим в ту пору, ему приходилось овладевать своей специальностью не столько в институтских аудиториях, сколько сразу же на практике, на строительстве каналов. Гидротехнический факультет Водного института он окончил, будучи уже специалистом высокого класса, руководителем строительства Бузулукской оросительной системы. Руководителю необходимо досконально знать все те работы, которыми он руководит, — таково его глубокое убеждение. «Ты подожди, — говорит он, обращаясь к молодому инженеру, — не инженер ты еще, пока элементарному труду не научишься. Нужно суметь и опалубку своими руками сработать и арматуру собрать». Вот почему автор так настойчиво убеждает молодых специалистов: учитесь у рабочего класса!

«У нас иногда говорят: рабочая сила... Сейчас это выражение никак не пригодно. Рабочий человек не рабочая сила, это именно рабочий человек, и по-другому не скажешь. Он еще и за шкуру тебя возьмет и выставит тебя за порог, если ты ему мешаешь работать».

Рабочий человек для Бочкина — это всякий человек, кто по-настоящему занят делом.

...Сейчас много говорят на тему «дело и нравственность». Автору книги «С водой, как с огнем» приходилось бороться не только с водной стихией, но и с непродуманными проектами, с нечестными распоряжениями, с устаревшими параграфами инструкций. Случалось так, что спокойно можно было сказать: обстоятельства сильнее меня, я умываю руки.

«Нередко,— говорят Бочкин,— в работе возникают ситуации, когда за неуспех ты можешь не отвечать: от тебя ничего не зависело, тебе помешали. И наоборот, если на свой риск и страх ты вступишь в борьбу с обстоятельствами, тебя обвинят в партизанщине. Но— еще раз— это не партизанщина! Это только чувство ответственности. На самом же деле, если тебе помешали, и ты, понимая то, что не понимали другие, дал себе помешать, ты виноват больше других!»

Да, конечно, такая постановка вопроса продиктована в первую очередь интересами дела. Но только ли? Вглядимся поглубже, и мы увидим, что за ней стоит неколебимое чувство собственного достоинства. Не только профессионального — человеческого достоинства. Так «деловое» переплетается с «нравственным», и в этом сплаве совести и долга, может быть, и заключен самый мощный заряд этой книги.

...Шумят Красноярская и Иркутская ГЭС, течет вода по Невинномысскому каналу. И, может быть, главный итог прочитанного: обстоятельства приходят и уходят. Дело остается.

М. ГРИГОРЬЕВ



СУРОВАЯ ПРАВДА ВОЙНЫ

Не знаю, есть ли такая статистика, которая вела бы счет книгам о минувшей войне. Но и без этого можно с уверенностью сказать, что счет этот идет сегодня на тысячи. Романы и повести, рассказы и пьесы, мемуары, дневники, письма — каждый из этих тысяч томов при всем различии форм, стилей и степени талантливости их авторов — бесценный документ, новая строка в летописи Великой Отечественной. Однако вдвойне приятно, когда общаешься с книгой, не просто исторически точно воспроизводящей тот или иной военный эпизод, боевую ситуацию, но поднимающую в то же время и «вечные» проблемы жизни

и смерти, совести и долга, с книгой, насыщенной философскими раздумьями, соотносящей минувшее с днем сегодняшним.

Такая встреча ожидает, на мой взгляд, читателя сборника повестей Владимира Еременко «Свой хлеб» («Московский рабочий», 1977 г.), книги суровой, трагической и в то же время светлой и жизнеутверждающей. И хотя каждую повесть сборника читаешь с неослабевающим вниманием от первой до последней страницы, назвать книгу увлекательной или занимательной язык не поворачивается. Так же, как нельзя, по-моему, назвать увлекательными «проглатываемые» за один присест книги «Сотников» Василия Быкова или «Главы из Блокадной книги» Алеся Адамовича и Даниила Гранина. Слишком много горь, картин человеческого страдания сходит с этих страниц в читательское сердце, отзывается в нем болью. Так много, что порой хочется на минутку закрыть книгу, глотнуть свежего воздуха сегодняшней мирной жизни, кинуть взгляд на уютные, освещенные электричеством окна квартир, чтобы убедиться: нет светомаскировки, нет щелей, рвов и надолб, нет аэростатов и зениток... И задуматься о том, всегда ли удастся тебе быть личностью в мирной жизни. И подивиться силе духа тех солдат, стариков, женщин, подростков, которые пожертвовали собой ради нас.

В повести «Дождаться утра», открывающей сборник, автор проследживает судьбу подростка с рабочей окраины Сталинграда. Действие начинается в августе сорок первого, когда бои еще были далеко. Во двор дома Чупровых «вошла маленькая, худенькая женщина в темном платье, чем-то напоминающая галку». Это почтальон, которая принесла в семью горькую весть: немолодого уже отца забирают в армию. Но, несмотря на галочью внешность почтальонши, пугающей всех на улице своим появлением — беду накаркает, несмотря на слезы матерей и причитания соседок «Берут стариков!» — главный герой повести Андрей по-ребячьи испытывает чувство гордости — вот, мол, и мой отец теперь на фронте бьет фашистов. И даже несколько разочарован, когда узнает, что отец строит оборонительные сооружения на дальних подступах к городу.

Постепенно линия фронта приближается к Сталинграду. Уже введена карточная система, опустели полки магазинов, на окраины упали первые бомбы. Но Андрей и два его товарища, «наша троица», как они себя называют, совершают увлекательные путешествия на площадь, в центр города, где выставлены останки сбитого «юнкерса», чтобы унести с собой кусочек самолета. Для мальчишек война — все еще большая игра. Да и взрослые жители города пока не могут, просто не в состоянии представить, в каком аду они окажутся через несколько недель. Заготавливают впрок дрова, продукты. Рокот укрытия. Жизнь идет пока нормальным, хоть и сильно измененным войной, порядком: работают предприятия

тия, действуют радио, водопровод, электричество. «Троица» даже бегают в кино. И сообщения о победах Красной Армии на отдельных участках воспринимаются восторженно: «Вон как турнули фашистов! Скоро войне конец...» А впереди еще три года жесточайших боев.

Сжимается фронт вокруг Сталинграда. И вот уже город бомбят ежедневно, вот уже припелая артиллерийская стрельба загоняет под землю все живое. Нет света, нет пищи, нет воды. Смерть выкашивает близких и знакомых. Буквально на глазах взрослеет Андрей, вместе с дымом пожарниц уходят его романтические представления о войне.

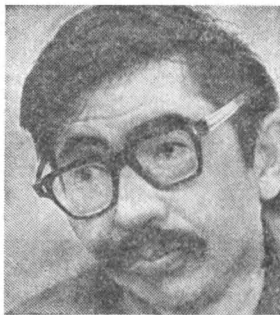
Сталинградская эпопея описана многократно. Сколько выпущено книг, где мы видели ее и глазами окопного солдата, и участника уличных боев, и генерала на командном пункте, и даже маршала в ставке Верховного Главнокомандующего. Но Владимир Еременко рассказывает о «своей» войне, которую он видит глазами четырнадцатилетнего подростка. И это обнажает перед нами новые грани бесчеловечной сущности фашизма. Уже спустя много лет автор — а история Андрея Чупрова автобиографична — услышит от друга-фронтовика, что тот больше любит «слушать других о войне, читать книги и смотреть фильмы...

— Там та война, с которой я разминусь. Солдаты умирают на глазах у своих товарищей. На их могилах звучат залпы, друзья клянутся отомстить, и наши побеждают... А у меня, брат...»

«Свой хлеб» — повесть о взаимоотношениях отцов и детей, молодого человека семидесятых годов со своим отцом, ровесником Андрея Чупрова. Какое место в жизни настоящей занимает прошлое? — вот чем озабочен автор. Как строить отношения отцу, пережившему войну, с сыном, войны не знавшим, чтоб, не впадая в риторику, не будучи навязчивым, научить чтить и помнить подвиг поколения тех героических лет?

Завершается сборник повестью «Завещание сыну», в главах которой рассказывается о подвигах советских людей на фронте и в тылу.

В предисловии к своей книге Владимир Еременко признается: «Всякий раз, когда я «трогал пером» «свою войну», она отзывалась болью». Обращая внимание читателей «Юности» на эту фразу. Если вы хотите развлечься, отложите чтение этой книги до другого раза. Но если вы готовы разделить авторскую боль, то ценность сегодняшних дней станет для вас ощутимей.



ОМИРБАЙ САУРБАЕВ

Когда я ступаю на землю России

Когда я ступаю на землю России,
будь это тайга или степь по весне,
в душе пробуждаются свежие силы,
и жить и мечтать интересней вдвойне.
Земля, на которой родился Ульянов!
Неповторимый пушкинский край!
Тянулся к России Чокан Валиханов,
душой устремлялся к ней мудрый Абай!
Казахские степи — бескрайние шири,
но столь необъятна Россия одна.
Я тем уже счастлив, что мне в этом мире
такая Отчизна с рожденья дана.
Когда я ступаю на землю России,
повсюду — друзья, и улыбки, и смех.
Мы трудности вместе всегда выносили,
а значит, и радости хватит на всех!
Люблю эту землю. Беспомощно слово,
чтоб выразить все, — только сердце звучит.
На землю России ступаю я снова,
на землю, с которой лишь смерть разлучит.

Памяти матери

Всех привечала лаской и любовью.
Прикрывши плечи стареньким платком,
всегда радела о чужом здоровье
и думать не желала о своем.

Ах, мама, мама!.. В дни моей болезни
все горести мне скрашивала ты.
Так и не смог я стать тебе полезным —
и вот они, могильные цветы...

И я не смог, как подобает сыну,
прикованный к постели, я не смог
в прощальный час на гроб твой бедный кинуть
сырой земли, твоей земли комоч.

Но, верно, вспомню при последнем вздохе
из прошлого плывущий голосок:
«Когда бы кто тебе ни сделал плохо,
а все-таки ответь добром, сынок!»

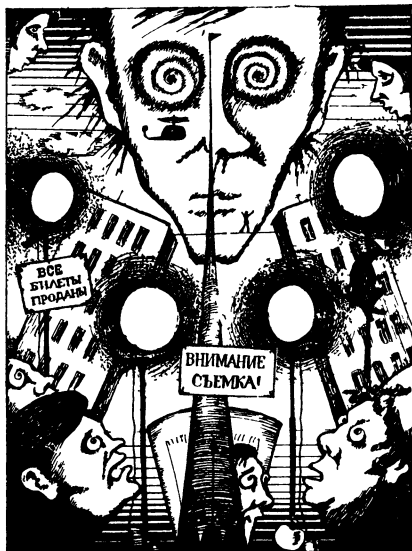
Перевел с казахского
В. ПЛАТОНОВ



БОРИС
АМСТИСЛАВСКИЙ



Рисунок автора.



ИСПОВЕДЬ ТРУСА

Я всего боялся. Вряд ли можно было сыскать второго такого труса, как я. Я боялся жары и боялся холода. Я боялся собак и боялся кошек. Но больше всего я боялся начальства. Я боялся, когда на меня кричат, и боялся кричать сам. Не было самой элементарной мелочи, которой я не боялся. В общем, я боялся жить. Кстати, умереть я тоже боялся. А сколько мучений и страхов я претерпел, выбирая профессию! В каждой специальности я видел какой-нибудь подвох. Но наконец фортуна мне улыбнулась — я нашел.

А дело было так. Однажды я проходил по мосту и вдруг услышал крик: «Держите этого болвана!» Я оглянулся и понял, что попал в зону киносъемок. Ко мне бежали трое: двое в комбинезонах, а впереди толстячок в замшевой куртке. Я затрясся от страха. Толстячок был совсем близко и рычал: «Я тебе покажу кузькину мать!» Мне стало так страшно, что я, зажмурившись, прыгнул с моста и попал прямо в пролетающий по реке глассер. Но когда я высадился на берег, меня все-таки поймали и... предложили работать на киностудии каскадером. Толстячок, оказавшийся режиссером, сказал мне, что прыжок с моста в глассер никто до меня выполнить не мог.

И жизнь моя покатилась по новым рельсам. Как в калейдоскопе, менялись города, фильмы, времена года... Не менялся только режис-

сер. Потому что я мог работать только у него. Когда я, трясущийся от страха, стоял перед горящим домом, только крик моего начальника-режиссера «Я тебе покажу кузькину мать!» мог навести на меня такой ужас, что я влетал в бушующее пламя, прыгал на подножку мчащегося поезда и вообще делал все, чего от меня хотели. Вот такой я трус.

В один прекрасный день, когда я отдыхал в теньке после того, как прошел по канату, натянутому между двумя домами, я задремал. И вдруг почувствовал, что кто-то дышит мне в ухо. Я испугался и открыл глаза, хотя по своему опыту знал, что, если зажмуриться, меньше боишься.

Прямо перед собой я увидел незнакомую девушку.

— Вы... Вы такой... Вы настоящий герой! — зашептала девушка и схватила меня за руку.

— Что вы, что вы... — стал отползать я.

— Я хочу, — продолжала шептать девушка, — чтобы вы со мной дружили.

После этих ее слов меня прошиб холодный пот.

— Зачем же так?... — еле промямляя я.

Но девушка заявила, что в случае отказа у нее может разорваться сердце. Тут я по-настоящему испугался и согласился с ней дружить. Хотя совершенно не представлял, как это делается. Вечером мы договорились встретиться у кинотеатра, где шел фильм с

моим участием. Я там делаю такую мелочь, что о ней просто говорить не хочется.

Тщательно одевшись, я вышел из дому за час до назначенной встречи, но, подойдя к автобусной остановке, вдруг со страхом подумал, что могу опоздать. Я сел в такси и был на месте через десять минут. В запасе у меня оказалась уйма времени. «Может, уйти? — подумал я. — Вон и автобус подошел...»

Я сделал шаг, и тут же дорогу мне перебежала кошка. Я в ужасе отпрянул.

Она, конечно, опоздала, и, когда мы подошли к кассе, там билетов уже не было. Идти к администратору в качестве исполнителя почти главной роли я наотрез отказался. Я боялся людей, обремененных мелкой властью. Кстати, людей, обремененных крупной властью, я тоже боялся.

— Ну, что ж, если ты такой упрямый, идем гулять, — решила она, и мы пошли в парк.

Гуляли мы примерно два часа. Она рассказывала мне, как за ней бегал то один, то другой знаменитый актер, и какие из этого выходили драмы. Потом она замолчала, и я понял, что пришла пора мне рассказывать о себе. Кое-как я поборол страх перед решительным признанием и сказал:

— Я трус!

Она удивленно подняла на меня глаза.

— Я трус и выронок! Я всего боюсь. Заяц храбрее меня в миллион раз, даже больше. Я недо估ою твоей дружбы.

В ее глазах сверкнул веселый огонек, и она крепко прижалась ко мне.

— И я ужасная трусиха, — прошептала она.

Мне стало совсем не по себе. Я обмяк, но, как дятел, упорно продолжал долбить:

— Я трус, я трус, я трус...

— А тебе не приходило в голову, милый, — сказала она вдруг, — что трус, который говорит, что он трус, — уже не трус! И теперь, когда ты мне во всем признался, рубеж преодолен, ты переборол себя!

Я смотрел на нее и думал: «А ведь она права... К черту, к дьяволу свою трусость. Хватит страхов, хватит дрожи! У меня теперь есть настоящий друг!»

Она сказала:

— Немедленно надо проверить свои силы. Победить! И мы начнем новую жизнь.

— Веди, веди меня в самое опасное место! Я ничего не боюсь.

— Вперед! В магазин! В овощ-

ной отдел! — воскликнула она и потащила меня за собой.

Я уже издали приметил нужную мне продавщицу. Она, словно айсберг, возвышалась над прилавком. Продавщица тоже издали увидела меня, и в ее глазах промелькнул сладостный огонек садиста. Знакомая робость подступила мне к горлу, и я тихо попрощался:

— Взвесьте мне, пожалуйста, килограмм этих яблок. — И, указав на мелкие зелененькие плоды, жалко улынулся.

Продавщица швырнула на весы горсть яблок.

— Рупь двадцать! — бросила она до того, как стрелка весов остановилась.

И вдруг я почувствовал, как

в меня вошла неведомая сила, мои мышцы напряжились, голос окреп.

— Какие такие рупь двадцать?! — рявкнул я и сверкнул глазами.

— Семьдесят копеек, — сказала быстро продавщица и посмотрела на меня глазами дрессированной рыси.

Окрыленный, можно сказать, обновленный, вернулся домой.

Сегодня утром я, как всегда, приехал на студию. Мне предстояло сигануть с телевизионной башни в пролетающий мимо вертолет. На меня напялили парик и, надев женское платье, подвели к карнизу. Вертолет приближался. Щелкнула хлопущка, и режиссер заорал свое:

— Прыгай!
Я стою.

Он опять орет:

— Прыгай! Не то я покажу тебе кузькину мать!

Но я и не шелохнулся.

Вертолет, сделав круг, снова пошел к башне.

Режиссер бесился рядом со мной, топая своими ножками и изрыгая страшные угрозы в мою сторону. Но я не двигался с места. Ведь я избавился от своего комплекса, ведь теперь я нормальный человек — я не боюсь своего начальства и жутко боюсь прыгать с высоты.

И тут я окончательно понял, что я уже не трус.

МИХАИЛ ДЫМОВ

роковой ножик

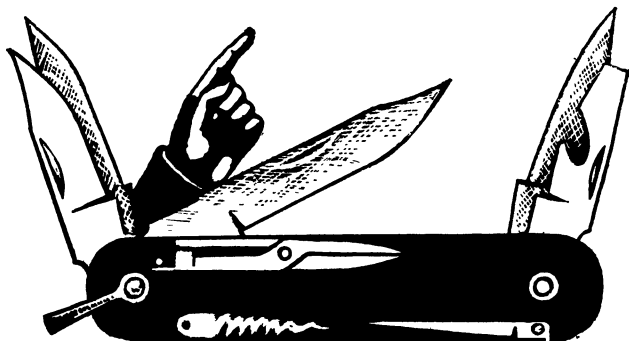


Рисунок
В. ИВАНОВА.

Семен Игнатьевич уселся обедать. Жена поставила перед ним тарелку горячей ухи. Семен Игнатьевич поперчил, добавил соли, зачерпнул ложку, подул на нее и...

Со двора в открытое окно ворвался истошный крик:

— Па-а-па!

Семен Игнатьевич узнал голос родного сына Кольки. Родитель кинулся к двери.

— Ты куда? Уха остынет, — крикнула ему вслед жена.

— Сына бьют!!!

Действительно, во дворе трое мальчишек лупили его сына. Лупили по всем хулиганским правилам.

— Вы что, бандиты, делаете? — взревел Семен Игнатьевич, подбегая к хулиганам.

Вопреки логике они не брызнули в разные стороны, а остались

стоять вокруг Кольки, спокойно глядя Семену Игнатьевичу прямо в глаза. Необычное поведение хулиганов несколько озадачило Семена Игнатьевича. Тем не менее он схватил двух ребят за плечи и сильно потряс:

— Как вы смеете? Вы за что его, а?

— За то, что он предатель! — солидно сказал первый парнишка в берете.

— И трус! — добавил второй.

— Дает слово и не держит его! — вставил третий.

— Что? Как это? — не понял Семен Игнатьевич.

Первый мальчишка сердито объяснил:

— Мы вызвали третий «Б» на соревнование. Мы шли голова в голову. Оставалось всего два дня до конца! А вчера ваш Колька получил решающую двойку...

— И за это вы его били? — возмутился отец. — Ничего себе, товарищи! Там, где надо помочь, они кулаками...

— Помочь? — переспросил зло второй мальчишка. — Помочь можно слабому ученику! А ваш Колька все прекрасно знал. Он нарочно получил двойку! За ножичек!

— Что-о-о-о?

— Они ему пообещали ножичек с двенадцатью лезвиями, если он получит двойку. Вот он и не ответил стихотворение! Нам Генка из третьего «Б» похвастался!

Семен Игнатьевич покраснел.

— Это правда? — обратился он к сыну.

Колька стоял, опустив голову.

— Отвечай, это правда?! — прикрикнул отец.

— Да, — тихо выдал сын.

— Понятно, — задумчиво произнес Семен Игнатьевич и виновато посмотрел на мальчишек. — Вот что, ребята... вы, значит, ну...

Он слегка подтолкнул сына к мальчишкам, а сам, сторбившись, направился в свой подъезд. За спиной снова раздался вой сына.

— Ну, что там? — спросила жена.

— Показалось, — сказал Семен Игнатьевич и закрыл окно.

— Ну все! — сказал в это время Колька своим истязателям. — Хватит. Я выиграл пари. Теперь вы убедились, что мой папа — самый принципиальный из родителей нашего класса.

И мальчик в берете покорно протянул Кольке честно заработанный перочинный ножик с двенадцатью лезвиями.

г Рига.



А. ДАНИЛОВ
(Ленинград)
Мир
детства.

М. ГУРВИЧ
(Москва).
Праздник
молодежи.





Цена 50 коп.
Индекс
71120

